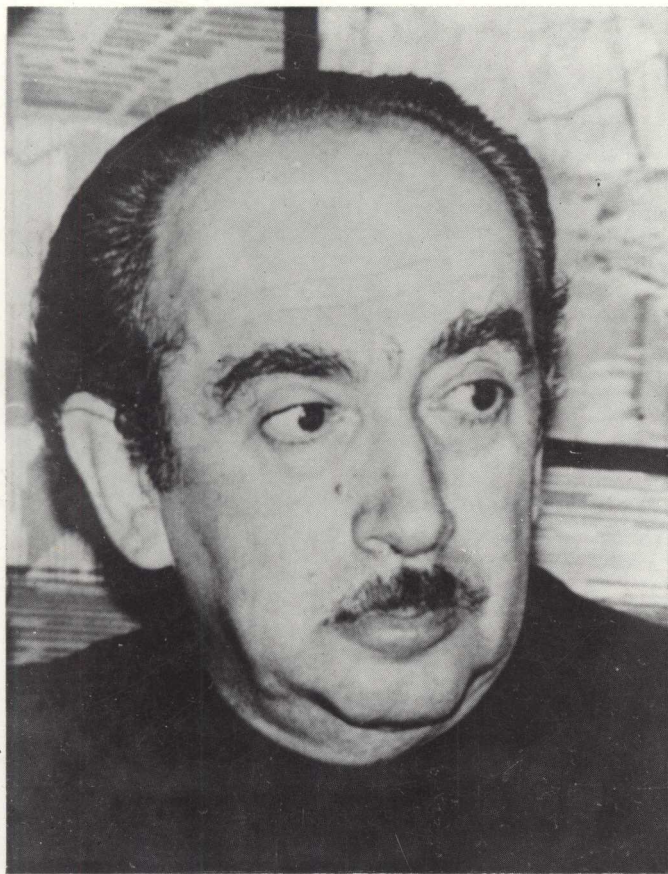


КОНТИНЕНТ15

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ



Александр Галич

* 19.10.1919 † 15.12.1977

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Николаус Лобковиц · Михайло Михайлов
Эрнст Неизвестный · Андрей Сахаров · Игнацио Силоне
Виктор Спарре · Странник · Александра Толстая
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём · Пьер Эмманюэль

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd London W 11
Израиль	Михаил Агурский Michael Agoursky, P O B 7433, Jerusalem, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W. Washington D. C. 200 16, USA
Япония	Госуке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

15

Издательство «Континент»

1978

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Галич — С последней ленты.	
Два стихотворения	7
Александр Суконик — Романс в прозе. Рассказ	10
Зоя Афанасьева — Царскосельские строфы	44
Яцек Березин — Поезд	48
Димитрий Бобышев — Зияния	56
Софья Мотовилова — Предсмертное письмо	67
Рышард Криницкий — Стихи	85
Гелий Снегирев — Мама моя, мама... Окончание	90
СТИХИ	
Иван Елагин — Личное дело	123
Василий Бетаки — Три стихотворения	128
Антанас Шкема — Лифт	133
МАСТЕРСКАЯ	
Э. Лимонов — Стихи. С предисловием Иосифа Бродского	153
РОССИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	
Анатолий Федосеев — Почему вы не должны быть социалистом	159
Наум Мейман — Монумент у Бабьего Яра	179
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Василий Михальчук — Сила наших дней	185
Тончо Карабулков — Последний надежный сателлит?	203
ЗАПАД — ВОСТОК	
Милован Джилас — Идеология пишет историю	217
РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ	
Два письма о Высшей Цели и Великой Эволюции. Н. В. Гоманьков — В. Ф. Турчин	237

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

- Владимир Чернявский — Москва — Мехико (эпизод из времен Террора)** 257

ИСТОКИ

- Два документа (Из материалов сборника «Память»: Кочмес, 1937. Русская эмиграция и германский национал-социализм)** 283

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

- Виолетта Иверни — Смертью — о жизни** 291
Александр Пятигорский — Чуть-чуть о философии Владимира Набокова 313

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Переписка Бориса Пастернака с Томасом Мертоном** 323

НАША ПОЧТА 343

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 349

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

- В. Аллой — Память** 353
В. Волков — В поисках зеленых цветов 357
В. Рыбаков — Итоги ленинизма 361
В. П. — Изменчивость и постоянство 364
Василий Бетаки — Дуэль с Каином 368
Н. Горбаневская — В четырех стенах 371

КОРОТКО О КНИГАХ 377

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ 389

НАША АНКЕТА 401

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

С ПОСЛЕДНЕЙ ЛЕНТЫ

Для этого номера он обещал нам три новые песни — о Климе Петровиче Коломийцеве. Обретая на Западе свою новую аудиторию, не только русскую, но итальянскую, французскую, он начал отходить от своей первоначальной ностальгии, чувствовать себя нужным и — вернулся к одному из своих старых героев. Может быть, в тот момент, когда он ступил на порог своего дома и, не раздеваясь, сделал свой последний — нелепый и роковой — шаг, — может быть, он думал, наладив магнитофон, в перерывах между записями для радио, записать и эти песни. Мы их никогда не услышим, никогда даже текста не прочитаем: он не записывал текстов нередко даже после того, как песня окончательно складывалась. Две песни, которые мы здесь публикуем, были записаны только на магнитофонной ленте, причем вторая — буквально за несколько дней до смерти. Заглавия песен даны нами.

Ред.

ЧИТАЯ «ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ»

Играет ветер пеною
на Сене на реке,
а я над этой Сеною,
над этой самой Сеною,
сiju себе над Сеною
с газетою в руке.

Ах, до чего ж фантазирует
эта газета буйно,

ах, до чего же охотно
на всё напускает дым,
и если на клетке слона
вы увидите надпись «Буйвол»,
не верьте, друзья, пожалуйста,
не верьте, друзья, пожалуйста,
не верьте, очень прошу вас,
не верьте глазам своим.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

За чужую печаль
и-за чье-то незваное детство
нам воздастся огнем и мечом
и позором вранья,
возвращается боль,
потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер
на круги своя.

Мы со сцены ушли,
но еще продолжается детство,
наши роли суфлер дочитает,
ухмылку тая,
возвращается вечером ветер
на круги своя,
возвращается боль,
потому что ей некуда деться.

Мы проспали беду,
промотали чужое наследство,
жизнь подходит к концу,
и опять начинается детство,
пахнет мокрой травой
и махорочным дымом жилья,
продолжается детство без нас,

продолжается детство,
возвращается боль,
потому что ей некуда деться,
возвращается вечером ветер
на круги своя.

РОМАНС В ПРОЗЕ

Рассказ

«Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел...»

Русская народная сказка

Мне кажется, я с детства не любил сказку о Колобке. Быть может, постарел и подтасовываю детские воспоминания, и все-таки не могу избавиться от твердого ощущения: чего-то мне в этой сказке всегда не хватало, что-то не было понятно. Действие мчалось слишком быстро, и я не успевал вовлечься. Слишком быстро убегал от всех Колобок; равнодушный и веселый, он мчался навстречу судьбе, розовощекий эгоцентрист, и... и что же? Вот он уже сидел, распевая свою песенку, на носу у хитрой лисы, но этим только усугублял неясность происходящего. Неужели все дело было в плоской морали всем родителям на потребу? Неужели не было тайны в бегстве Колобка? Неужели он так ничего не ощутил, не понял, когда сваливался в лисий рот? В таком случае: ах, такой-сякой интеллигент, оторвавшийся от народа! Поделом, поделом ему, зачем не дал себя сразу съесть?

Ночь, я иду по улице, позади бредет Лешка, мой новый друг.

— Слушай, — говорит Лешка. — Знаешь, как я дерусь? Меня лучше не трогать.

— А? — спрашиваю я.

— Страшно дерусь, кости ломаю, — говорит Лешка.

Уже два дня мы гуляем, и столько же — друзья.

— Да? — спрашиваю я.

На всякий случай я оборачиваюсь. Чёрт его знает, может, он меня избить хочет? Хотя вроде не похож на силача, да и пьян сильно.

— Вот как я дерусь, ты, здоровый, хочешь дать мне в морду? Пожалуйста, вот я весь стою перед тобой, бей меня...

Леша спотыкается.

— Бей меня, — бормочет он. — Но перед тем как ударить, ты обязательно выставишь ногу вперед... Давай попробуем! — восклицает он, осененный мыслью. — Ну, давай, что тебе стоит, не бойся... Я немножко...

— Не хочу, покалечишь, сука, — говорю я.

Это такой человек, что он ни плетет, как-то веришь ему!

— ...выставишь ногу... — (он показывает) — а я тебе р-а-зззз! — Неожиданно быстрым движением он бьет воображаемого противника носком туфли под коленку. — А-а-а! Ой, ой, ой! Всё, нога сломана! Другой подбегает, что, в чем дело, ах, ты!.. Я опять спокоен, жду, пусть бьет первый, ладно, пусть бьет!

Вот каков он, Лешка. Позавчера мы начали пить, сначала у меня, потом — кругом-бегом по Москватушке.

— Ты интеллигент, — настаивал Лешка. — А я потомственный крестьянин.

Я уязвленно соглашался. Нет, я со страхом соглашался: уж больно далека дистанция. Нет, я с ощущением незащитности соглашался.

Часа в три ночи он выкинул номер, явно рассчитанный не на меня. То есть потом так и оказалось: номер был рассчитан на отсутствующий женский пол. Изрядно пьяный, Лешка перевалился через балконную решетку и исчез туловищем в небытии. В нижнем углу балкона виднелось только красное от напряжения его лицо. Моему трусливому воображению немедленно представилось пространство между пятым этажом

и асфальтом. Стоя в дверях балкона, я испытал странное состояние. Попытаться тащить его было бессмысленно: действительно мог тогда сорваться. Уходить в комнату было стыдно. А смотреть — страх разбирал.

Минут через пять он благополучно выбрался.

— Железная воля, — напирал Леша. — Сколько угодно могу висеть. А вообще-то и двух раз на турнике не подтянусь.

Но что он был за человек, Леша? То есть — как он вторгся в мою жизнь, что свело нас? И вот ночь, из открытой балконной двери — свежий ветерок, стол, на котором пустые бутылки, и — как прохладно, тихо! и мы сидим друг против друга, потягивая остатки кислотерпкого болгарского вина. Бог знает, как называется это вино, я пытаюсь вспомнить, но не могу, и это — странное дело! — не трогает меня, а Леша, — тот спокойно сидеть не может, нет, он пытается обыграть ситуацию подмигиванием, многозначительными гримасами, но ничего, ничего, пусть его... Теперь я твердо знаю, что всё, что было, прошло и не вернется более. Будущее же... Вот оно сидит передо мной, мое будущее. А и что же, Леша нужный человек! Куда мне без него, у нас с ним деловые отношения. (Ха, ха, ну не смешно: нужный человек — Леша!) А между тем это так, Леша служит редактором на киностудии, изготавливающей научно-популярные фильмы, и у него в редакции можно получить заказ на сценарий под названием «Передовая технология в действии», или «Для вас, диспетчеры!», или «Вперед, друзья, по пути прогресса!», или еще что-нибудь в таком роде. Как же, как же, а что сулят подобные названия, о, они сулят призрачную свободу, независимость, отъединенность, вот только зажмуриться, проскочить какой-то отрезок времени, начинающийся первым разговором с редактором и заканчивающийся отзывом уже консультанта, проглотить ложку горького лекарства: ведь всегда,

если полагаешь, что находишься в моменте «до», все надежды возлагаешь на момент «после».

Закрыв глаза, я погружаюсь в уже свершившееся, отсутствовавшее «до», погружаюсь в бессвязные воспоминания, связанные, однако, одним — яркостью ощущений. Что-то вроде перебирания четок, и первая костяшка — почему-то диалог с Бэром Пинским, Большим Бэром, как я его сразу безотчетно окрестил, известным нашим поэтом и либеральным деятелем.

— Вообще-то я человек занятой, — говорит, хмурясь, Бэр. — Сегодня у меня в Ленинке семинар с молодыми поэтами, а вечером читаю в Доме литераторов.

— Да, да, — торопливо не даю ему кончить. — Конечно, извините... Я, собственно... Я и не хотел вас беспокоить...

И я извинительно улыбаюсь, мнусь, развожу руками. Я испытываю неловкость: как же так, у человека нет времени, а я влез со своими рассказами, и как он вообще терпит подобное вторжение, да я бы на его месте!..

— Нет, нет, ничего. Раз мы начали разговор, надо кончить, — бросает на меня косой, как бы удивленный взгляд Бэр. — Если бы я не мог, не говорил бы с вами.

И ситуация вдруг оборачивается неожиданной стороной. Значит, своей нерешительностью и неловкостью я как будто превысил какие-то права, которые по рангу разговора полагалось соблюдать?

— Суммируя, что я хотел сказать, особенных претензий к вам — нет, — между тем говорит Бэр. — Вы поступаете правильно: пишете, что вам хочется, о рынке не заботитесь. Принимая во внимание недоказанную теорему, что талант склонен к развитию, вы вполне можете стать со временем писателем уровня, скажем, Трифонова, перворазрядным представителем нового поколения славной эры соцреализма.

— Соцреализма? — бормочу я, прекрасно понимая, насколько неуместна моя претензия на серьезность: ведь Бэр иронизирует.

— А вы как думали? — вопрошает Бэр, прищуриваясь. — Время Гоголей и Прустов давно прошло, не знали разве? Фантазией не проживешь больше, нам, средним соцреалистическим писателям, работать нужно. Кстати, вы где служите? На телевидении, если не ошибаюсь?

— Не служу... служил... Это невозможно... — бормочу я. — Телевидение, если бы вы знали их уровень...

— Да, телевидение не то место, — усмехается Бэр. — Только разве чтобы написать сатирический роман... Но вот газета, даже районная. Вот где превосходная школа для начинающего. Когда напишете десятка два крепких очерков...

— Мг... газета?... Очерки? Да, да, — бормочу я потерянно. Ах, только бы он не узнал, что я уже работал в газете и оттуда тоже ушел. Но вот, неужели амплитуда, которая меня ожидает, — амплитуда между советом оставаться на телевидении и советом идти в газету?

— Конечно, такой свободы, которую имел пожарный хроникер Хемингуэй, у вас не будет, — говорит насмешливо, как будто угадывая мои мысли, Бэр. — Но все-таки кое-что узнать будет можно...

— Да, да, конечно, можно... — вторю я ему покорно. Я почти уверен сейчас, что можно узнать что-то такое о жизни, беря интервью у председателя колхоза «Красная Заря» Авдюшенко или слесаря-монтажника Ивана Колесова, заранее объясняющихся языком моего будущего очерка...

— И еще кое-чем придется поступиться, — продолжает Бэр в той же ироничной манере. — Небось, не знаете фамилии вашего секретаря обкома партии?

— Действительно не... то есть, знал, но забыл, запоматывал... — подтверждаю я, захваченный врасплох.

— А совершенно напрасно. Есть вещи, которые нужно знать.

— Да, да, конечно...

(А ведь и это неправда, то есть неправда, что я смогу когда-нибудь в жизни не запомнить, нет, а рассчитывать на то, что запомню фамилию секретаря нашего или какого другого обкома.)

— А также инфантильной сутью вашей натуры придется поступиться, — продолжает Бэр. — Заставить себя уважать, обращаться к себе по имени-отчеству... Ведь вот вам это трудно, как я замечаю.

— Ну что вы, что вы... — бормочу я.

— Кроме того, придется поступиться выбором тем, — говорит Бэр, и тут он вдруг замолкает. Наступает странная пауза, Бэр уже не насмешлив, он выглядит человеком, пытающимся собраться с мыслями. Он глядит на меня, я гляжу на него. Он как будто потерял нить рассуждений, как будто проверяет себя: это я сказал, то не упустил, но что же осталось после всех уступок, ради чего уступки были сделаны?

Впрочем, пауза длится мгновение.

— М-да, — говорит Бэр с явным неудовольствием. — Нужно быть мужчиной, нужно уметь кое-чем поступиться, чтобы сделать свое дело. Ведь борьба идет! Читаете журнал «Октябрь»? Если не бороться с ними, они нас съедят со всеми нашими инфантильностями и индивидуальностями.

Он перебирает листки моих рукописей.

— Кстати, там у вас есть одно место... с евреем, как его фамилия... — Прищурясь, Бэр смотрит на меня. — Вы не находите, что это запрещенный прием?

— Так ведь всё равно это непечатаемо... — пытаюсь я отшутиться.

— Неизвестно...

— Но ведь это то, что я считаю правдой. И образ вышел у меня, не так ли?

— Вышел, вышел, может быть, может быть. Правда? Ну что ж, может быть, и правда, — играет словом Бэр, и его иронический тон досказывает мне, что есть еще кое-что, чем нужно поступиться, потому что, видимо, существуют более значительные вещи, чем «правда» эта самая. И тут я осознаю до конца, как выгляжу в глазах Бэра, в глазах этого бойца, — ну, чего я стою со своим эстетским снобизмом и пустым словом «правда»! А ведь он терпит меня, более того, симпатизирует мне. И я знаю, почему: потому что надеется, что и из меня выйдет боец, — о терпение истинно взрослого человека!

— Оставим в стороне политику, — говорит Бэр насмешливо. — Вы в ней не сильны. Поговорим лучше о вашем родном городе, знаменитой Одессе. За жизнь поговорим. Жив этот ее знаменитый дух, как это там, белая акация, биндюжники и базар «Привоз»?

— Как сказать... Что-то, вероятно, еще есть...

— В самом деле, — равнодушно роняет Бэр. — Погодите... кстати, а как поживают знаменитый художник-абстракционист Колокольников и не менее знаменитый апологет современной живописи Женя Гололедский?

Тут Бэр оживился и смотрит на меня вопрошающе. Я в свою очередь бросаю взгляд на книжную полку, целиком уставленную редкими скировскими альбомами Брака, Пикассо, Шагала, Кандинского, я вспоминаю, что Бэр считается любителем изобразительного искусства и покровителем неофициальных художников и скульпторов. В Одессе и днем с огнем подобной коллекции не сыщешь. Вот что заставляет меня на несколько секунд промедлить с ответом: всерьез спрашивает меня Бэр об этих людях или опять шутит? Колокольников всего только гротескно-провинциаль-

ная пародия на абстракциониста, до смешного непрофессиональная к тому же.

— Н-не знаю... давно не виделся с ними... — мнусь я.

Бэр смотрит на меня и ухмыляется:

— Ну что ж, если увидите, передайте от меня привет.

И добавляет, согнав улыбку, нарочито-веско:

— Колокольников — талантливый человек.

Вот как? Нет, я не верю Бэру. Точней верю и не верю. Я убежден, что в глубине души Бэр весьма презирает Колокольникова, смеется над Колокольниковым. Но в то же время он вполне может повесить Колокольникова у себя дома: ведь не сделал ли Колокольников много полезного, устраивая скандал за скандалом со своими нелегальными выставками? Мне почему-то кажется — и это уязвляет меня, — что тех чувств, которые Бэр испытывает к Колокольникову или тому же Гололедскому, ко мне он никогда не будет испытывать. Гололедский благополучно служит редактором идеологического отдела газеты «Комсомольская искра» и пишет заметки согласно социальному заказу. Но все-таки он свой, и если вчера дрянь написал, то сегодня может напечатать что-то между строк, играющее нам на руку, — ну чем не мужчина?

— Послушайте, вы тут посидите, посмотрите альбомы, а я позвоню одному человеку, — говорит между тем Бэр.

Он снимает трубку, набирает номер. Вот оно. Я не сомневаюсь, что насчет меня он звонит. Ну что, разве не этого я хотел?

— Иван Демьянович? Добрый день, — Бэров голос слышен из другой комнаты. — Ну, как дела?... А, вот видите, я вам так и предсказывал... Они теперь будут действовать через моссоветовских деятелей, учитите. Так что, будьте готовы... У меня? Всё то же, пока без перемен... Послушайте, между прочим, тут

вот сидит в моем кабинете, перелистывает Брака молодой человек, который по совпадению пишет рассказы не окончательно безнадежные...

Да, я был прав. Меня передают по цепочке, Бэр говорит с редактором известного журнала, и... мне бы следовало радоваться. Но я не радуюсь. Я пришел к Бэру с тайной практической целью заручиться его поддержкой в трудных попытках напечататься, мое желание вполне объяснимо и не так уж тайно, по крайней мере, для Бэра: старая история среди людей искусства. Но другая вещь тяготит меня, мертвит чувства, темнит мысль: если я не могу найти в себе симпатии к Бэру, если осознаю, что нет между нами общего интереса, как могу я пользоваться его протекцией? И он — должен ли мне помогать? О, он уверенный политик, не сомневается, что я «свой», потому что к какому еще разряду причислить интеллигента в очках, пишущего непечатаемые рассказы? Может быть, это правда, точнее, должно было бы быть правдой — ах, какое это принесло бы тогда облегчение! Ведь и вправду мне деваться некуда, если не в компанию к Бэру, то к кому еще?

И вот — следующая бусинка воспоминаний: я в редакции некоего литературного журнала разговариваю с человеком, которого зовут Иваном Демьяновичем. То есть я в редакции некоего якобы литературного журнала и разговариваю с человеком, которого вроде бы зовут Иваном Демьяновичем Афанасьевым. Нет, нет, журнал действительно называется литературным (на двери табличка висит), а крупному улыбочато окающему из-за широкого письменного стола мужчине никогда, я уверен, не приходило в голову менять имя-отчество (вот с фамилией дело другое, фамилию он менял, из Афанасьева превращаясь в Афа, из Афа — в Иванова, из Иванова в Железнова и так далее и так далее... так ведь это дело объяснимое, профессиональное, брать псевдонимы, не так ли?).

Насчет журнала же: едва толкнув входную дверь и увидев устремленный на меня поверх очков в металлической оправе взгляд пожилой женщины с вязанием в руках (высокий класс: Арина Родионовна в роли глазка-индикатора), я сразу ощутил атмосферу особенности. Всё здесь говорило: «Знаешь, куда ты попал? Думаешь, здесь просто литературный журнал, как мы вынуждены писать, какая-нибудь пошлая «Москва» или «Звезда»? Как бы не так, друг дорогой!» И стук машинки, пробивающийся сквозь стеклянную дверь, говорил о том же. И мягкий тон, которым мне объяснили, как пройти к Ивану Демьяновичу, говорил о том же. И кресла, что барственно расположились в конце коридора (в них сиживали, небось, лучшие люди нашего времени), и вазочка, сработанная руками какого-нибудь подпольно знаменитого московского керамиста, и толстые ковры, покрывающие коридор, и спокойствие, значительность, разлитые в воздухе, — всё, всё говорило, небрежно давало понять: нет, нет, здесь не просто литературный журнал, здесь нечто, к чему в тысячу раз больше подходят, сами собой напрашиваются, десятки определений, вроде «Наша опора», «Луч света в темном царстве», «Наш символ», «Остров надежды» и так далее, и так далее.

— Ну что ж, — улыбочато окает мужчина, снимая и снова надевая роговые очки. — Теперь, когда я прочитал несколько ваших рассказов, мое мнение оформлено, так сказать, и запротоколировано.

Откидываясь в кресле, окаяющий мужчина весьма артистично демонстрирует небрежную свободу в обращении.

— ...Человек вы способный, это ясно, — (один бросок невидимых костяшек на счетах). — У вас есть свое мнение по-настоящему о том, что пишете. — (Еще бросок). — Более того, должен сказать, у вас есть мастерство!

Нет, но и его улыбка, и артистизм, и оканье — всё одно к одному, всё только усиливает во мне ощущение нереальности происходящего. Как будто с неба опустился стеклянный колпак, внутри которого разыгрывается действие, наподобие театрального. Человек в очках — великолепный актер, у него накладная лысина, накладная улыбка, фальшивое оканье, ловкие фразы.

— М-да, — говорит между тем мужчина и протягивает мне рукописи. — Если бы с таким мастерством на общественные темы!

В сущности, окающий мужчина не кривит душой. Он не сомневается, что делает одолжение, разговаривая со мной, и не сомневается, что я ценю это.

— Кстати, сколько вам лет?

— Лет?... Двадцать шесть... — произношу я запинаясь.

— Ну-у, двадцать шесть, совсем нестрашный возраст! Вот когда 36 будет, к тому времени!..

Но я запинаясь не потому, что забыл свой возраст. Нет, просто вопрос только усугубил искусственность происходящего. Как легко он относится к возрасту! Может ли возраст быть нестрашным? Я гляжу на окающего мужчину, и страх прокрадывается в мое сердце: какое число было произнесено: двадцать шесть? Шестнадцать? Сто шесть? Ведь это всё равно: резкая остановка во времени, слова звучат, как заклинание: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою! — И остановилось солнце, и луна стояла», — момент зафиксирован, выхвачен из неопределенной текучести жизни, как лучи прожекторов выхватывают в ночном небе искорку самолета... Пригвожден, распят.

— Нет, нет, не думайте, что я шокирован вашими персонажами, всеми этими хануриками, проститутками, пьяницами, — говорит, доверительно перегнув-

шись через стол, окающий мужчина. — Более того, я вас отлично понимаю.

«Вот как», — хочу сказать я, но удерживаюсь. «Вы понимаете меня?» — с таким вопросом хотел бы я броситься на шею собеседнику, но в последний момент решаю не слишком обольщаться.

— Отлично понимаю, не возражайте. Знаю, как эта литература винтиков-гаек сидит у вас в печенках, и ваша реакция на нее вполне естественна.

Он сказал «не возражайте» для красного словца, или у меня действительно такой вид, будто я хочу возразить? Быть может, я позволю себе оказаться настолько претенциозным, что начну утверждать, что толком никогда не читал эту литературу винтиков-и-гаек? Какая бестактность!

— Смелость — хорошая вещь, в особенности в искусстве, — говорит окающий мужчина, одобрительно кивает и подмигивает мне: мол, понимаю, нечего прикидываться, написал свои рассказы для эпатажа, ну и молодец, а теперь пора и за дело браться.

— Уж нам-то, старым волкам, прошедшим через всё это время... уж мы-то знаем, почем фунт лиха... — значительно произносит окающий мужчина. — Уж кому-кому должна была приесться эта литература, уж кто должен был бы бунтовать... Но видите, мы не сдались, мы работаем...

Тут я вспоминаю, что он имеет в виду под словом «работа». Что правда, то правда: последнее время то тут, то там появились язвительные статейки, цитирующие окающего мужчину во всех его прежних ипостасях: Аф говорил то, что позднее яростно оспаривал Иванов, и Железнов в свою очередь на сто восемьдесят градусов отворачивался от утверждений Иванова. Но глубоко, глубоко неправы поверхностные юмористы — авторы статей. В главном окающий мужчина оставался самим собой, он работал, понимаете? — работал, конечно же, стиснув зубы, через

не могу, потому что ведь не эпатирующий юноша он был, но мужчина-боец, и вот, наконец, достиг сегодняшнего дня и сегодняшнего положения, и... и, чёрт побери, может, наконец, шагать в ногу с современной молодежью и симпатизировать ее несомненной пресыщенности этой самой, как ее, литературой винтиков-и-гаек!

— А-а, Коля! Заходи, заходи! — машет рукой мой собеседник в сторону приоткрывшейся осторожно двери. — Смотрел гранки?

— Мг, — означает Коля, сухощавый молодой человек.

— Вот, кстати, познакомьтесь, — жестом приглашает Иван Демьянович. — Николай Грошев. В следующем номере идут два его рассказа.

Что сразу поражает меня в молодом человеке, это его манера держаться. Как громом на месте: вот как, оказывается, выглядит настоящий писатель! Со своей улыбочкой суетой, я чувствую, как далеко мне до такой тихой усталости лица.

— Ну что, всё нормально?

Коля еле заметно кивает. Странное дело: на фоне почти-молчания, которое распространяет вокруг себя Коля, даже великолепие окающего мужчины начинает выглядеть провинциальным.

— Ну, тогда вроде бы всё?

Снова кивок. И вправду: ну, чему особенно радоваться? Ну, напечатали тебя в «Нашей надежде», ну, прославили на всю культурную страну, так разве разрешило это истинные человеческие (неразрешимые) проблемы, которыми мучим писатель? Разве стоит этот факт проявления радости или даже одной улыбки? И если даже — еще одна странность — твои рассказы вовсе не о неразрешимых проблемах, но, куда скорей, всего только о каких-нибудь негодных председателях колхозов, то твой вид внушает тем большее почтение, потому что пахнет тайной: откуда же такая

мúка (а мúка — вот она, налицо)? Откуда такая взрослость? Чёрт побери, значит, есть откуда, и мы в почтении шапки долой...

— Да, кстати, ты не забыл? К Карлинскому съездил? — вдруг спохватившись, взглянув поверх очков, быстро спрашивает Иван Демьянович.

Возникает маленькая неловкая пауза, и на этот раз Коля даже не удосуживается до кивка. По его лицу только проскальзывает легкая судорога... просто-таки откровенно презрительная судорога! Мол, что за бестактность, ну, конечно, съездил, а вообще, нельзя ли без напоминаний обойтись, есть вещи, о которые даже не стоит мараться разговором... Вот, вот она, мúка!

Я инстинктивно оборачиваюсь к Ивану Демьяновичу — какова будет его реакция, и с удивлением нахожу, что он не только не рассержен, но даже смущен, как будто признает свою ошибку.

— А? М-да... Ха, ха, ну, значит, всё в порядке... — разóкивается он, откидываясь в кресле, и актерский акцент еще слышней. Несомненно, он чувствует себя не слишком уверенно с Колей, как ни старается держаться покровительственно. Он признает вместе со мной превосходство Колиного стиля поведения, он чувствует в Коле победителя, своего успешного заместителя, и потому так жадно, снизу вверх в него вглядывается. Но и вправду: чего еще так хочется окающему мужчине, как не шагать в ногу с современной молодежью?

Коля исчезает, Иван Демьянович прощается со мной:

— Когда напишете что-нибудь, присылайте, — напутствует он меня, благожелательно поднимая полные руки. — И Москва не сразу строилась...

— Да, да, разумеется... Большое спасибо...

— Думаете, с Грошевым как было дело? Тоже год прошел, пока подобрали... и у него уже со-олидный багаж написанного ведь был, а тем не менее... И

еще поработать ему изрядно пришлось над публикуемыми вещами!

— Да, я понимаю, конечно...

— Так что не унывайте и — появляйтесь.

— Обязательно, непременно... — бормочу я и тоже исчезаю за дверью, и...

*
*
*

...И вот я действительно снова в кабинете... принес-таки рукописи? Но позвольте, ведь это совсем не тот кабинет... Другой, совсем другой! И какая между ними разница! Вместо огромной прохладной комнаты — маленькая душная клетушка, открыта форточка (лето, жара). Вместо письменного стола... Впрочем, письменный стол есть и здесь и тоже внушительных размеров, но... Но тоже совсем не то, совсем не то! Письменный стол окающего мужчины покоился на пузатых витых ножках и нес на зеленом суконном поле бронзовый письменный прибор. Между тем стол в кабинете-клетушке — современный ширпотреб, близкий и не слишком чистый. Он густо уставлен пластиковыми стаканчиками, из которых торчат разнообразнейшие шариковые ручки, сбоку лежит внешпосылторговый календарь с полуголой девицей на обложке (не удержался хозяин кабинета, ну что бы ему положить календарь с какой-нибудь улыбающейся Извицкой? Ведь вот с таких мелочей и начинается потеря неуязвимой позиции, ведь сколько врагов вокруг, ай, ай, ай, им дай только ниточку, и пошли косые взгляды, шепотки, — кому это нужно, спрашивается?), а под стеклом, покрывающим стол, — неожиданно! — фотоснимки разной степени давности и достоверности: хозяин кабинета с министром путей сообщения, с композитором Дунаевским, а следом — с писателем Алексеем Толстым. Чудеса да и только! Кто же он такой, этот человек? Директор цирка, пред-

седатель грузинского представительства, заведующий банно-прачечным трестом, директор Дворца Пионеров или просто персональный пенсионер? Я поднимаю глаза и вижу восседающего напротив меня пожилого полненького человека, поигрывающего одной из шариковых ручек. Несмотря на летнюю духоту, человек облачен в костюм, нейлоновую рубашку, туго стянутую галстуком. Очень аккуратно пошит костюм, облегает полненького человека, как перчатка, и грудь и живот облегает. Весьма респектабельный вид, одним словом. А в лацкане пиджака — значок. Три или четыре раза я уже был в этом кабинете, и каждый раз в лацкане пиджака — новый значок.

— Ах, да, простите, — говорю я респектабельному человеку. — Как же я забыл! Я принес значок, о котором говорил. Вот, пожалуйста...

Неловким движением я вынимаю теплый от долгого лежания в кулаке кусочек металла и протягиваю моему собеседнику. Одновременно я почему-то кошусь на дверь кабинета — странное дело, взятку, что ли, даю? Самое любопытное, что и респектабельный человек тоже косится на дверь — такое совпадение!

— А-а... — небрежно улыбается респектабельный человек, мол, не забыли такую мелочь, есть о чем говорить!

Я кладу значок на стол, потому что мой собеседник даже не удосуживается протянуть за ним руку. Значок довольно редкий, английский, но его ценность уже совершенно уничтожена действиями респектабельного человека. Свершилось маленькое чудо из разряда тех, которые случаются довольно часто: отдав значок, я получил взамен чувство неловкости.

— Да, так вот, всё в порядке, — говорит между тем респектабельный человек, значительно поднимая брови и улыбаясь: мол, не о значках речь. — Полная договоренность насчет вас. Только хочу предупредить, как вести себя там...

— Да, да, — киваю я поспешно головой и одновременно ловя себя на мысли, что совершаю обычную свою ошибку, не давая собеседнику кончить мысль. Но — неважно, всё равно — да, да! Конечно же, я слушаю, затаив дыхание: это и есть самое главное — как же, в самом деле, вести себя там?

— Вы знаете, с каким трудом я добился, чтобы с вами заключили договор. Вообще уж очень они там держатся за своих авторов.

Я не верю ни одному слову моего собеседника (в том смысле, что ему ничего не стоит добиться заключения договора), хотя, с другой стороны, — откуда я знаю? Что он сказал? — «дёржатся за своих авторов?» Конечно, держатся, держатся! Какое я имею право подозревать моего благодетеля? Кто, как не мой визави, дает мне возможность продлить (или начать?) легальное существование на ниве советского искусства? — да, да, ведь он устраивает договор на какой-то сценарий какого-то фильма, где речь идет не то о механизации дойки коров, не то о прогрессивной технологии сортировочных горок — так как же, как же не поклониться ему за это в ножки?!

— Держатся? Ну это, в общем, понятно? — не то спрашиваю, не то льстиво подыгрываю я собеседнику, но тут же понимаю, что сказал совсем не то, что нужно. Респектабельным мужчиной было произнесено «уж очень держатся они там за своих авторов»? — да ведь это обыкновеннейший прием деловой демагогии намекнуть на свое могущество, активность, а кроме того, четко определить границы между «мы» и «они». О, интимнейшее наслаждение двух деловых мужчин, составивших партию «мы», первым делом обсудить, что есть «они». Как я мог нарушить самые основы подобной игры!?

— М-да, — говорит мой собеседник и делает паузу. Он строго и терпеливо глядит на меня. Он пропускает мою реплику, как будто ее не было, выдер-

живает ровно столько времени, сколько нужно, чтобы я осознал нелепость и бестактность сказанного, и одновременно дает реплике возможность раствориться в воздухе.

— М-да, так вот, — наклоняется он вперед, переходя на полупшепот. — Я полагаю, они там делятся...

— Что? Кхм... А!..

Вот оно что! Вот каков был конец фразы, которая начиналась с «уж очень они там держатся...» Значит, я опять поспешил, вклинился посреди неоконченной мысли... Впрочем, я не потому как будто даже поперхнулся, не потому чувствую себя совершенно идиотски: ведь совсем недавно респектабельный человек весьма виртуозно оговорил себе солиднейший процент от суммы моего гонорара, и потому меня, как обухом по голове... Но я не против, не против! Наоборот! Я считаю в глубине души, что он имеет полное право на этот процент. Да какое там в глубине души! Я в этом совершенно уверен и в глубине души и снаружи ее. Подумать только, где еще я смог бы заработать столько денег за такой короткий срок? Но — побоку рассуждения — я должен немедленно реагировать на произнесенное, и вот я ищущу гордые, полные достоинства слова... Нет, здесь, пожалуй, будет уместней один только жест!..

— Мг, — делаю я жест, который должен означать, что я понял не только то, что сказал респектабельный человек, но и что он хотел сказать, и вот я показываю свое отношение к тем, кто делится, — брезгливость, удивление, презрение одновременно. Но при этом в моем жесте есть некоторая тонкость, некоторая сдержанность. Мой жест как будто все-таки не совсем уж искренен, он как будто носит условный, светский характер: ведь всем нам известны вещи, которые следует осуждать перед лицом правил морали, но про себя мы оставим кое-что другое, м-да...

— Несомненно делятся, — еще раз подтверждает мой собеседник. — Но ведь я за руку их не поймал, так что ничего не докажешь.

И он с сожалением разводит широко своими руками. Вот кто актер, вот у кого нужно учиться виртуозности действия на виду этих самых правил. Чёрт побери, как это он умудряется всё время быть начеку, никогда не оступится, не сфальшивит, не расслабится, не переступит границу!

— Что поделать, — со строгим, почти скорбным лицом говорит respectable человек. — Сознательность не каждому привьешь, много еще надо работать над человеком.

По сути дела он наслаждается своей игрой. Странная мысль приходит мне в голову. Всякому актеру присуще конкретное мышление, и вот respectable человек ни за что не смог бы так успешно действовать, если бы не сообщался внутренне с некоей аудиторией, — но какая же аудитория органичней и конкретней для него, как не некое вышестоящее начальство? Я даже оглядываюсь невольно, настолько ощутил присутствие незримого вышестоящего лица, понял, что нас здесь не двое, а трое (по крайней мере трое), — твой секрет разгадан, любитель иностранных значков!

— Кстати, хочу вас предупредить: там, на студии, с ними — никакой фамильярности, потому что в противном случае они подумают, что и мы с вами...

Брезгливому возмущению моего собеседника нет предела. Он выиграл: мне крыть нечем.

— Да, да, понимаю, что вы! — бормочу я. Действительно, я потерялся. Grimаса на лице моего собеседника так неподдельна, что низменная реальность наших отношений становится призрачной. А был ли, собственно, между нами сговор? Теперь, даже расплачиваясь с ним, я не буду уверен, что действительно даю ему деньги.

— Это такая братия, им только дай ниточку, живьем съедят, — говорит респектабельный мужчина, презрительно кривя губы и откидываясь в кресле брюшком наружу. — Они бы меня с потрохами в ту же секунду, м-да... Если бы не знали, что вот где у меня сидят!

Он показывает кулак. Даже не кулак, а так, кулачок, сложенный из маленьких пухленьких пальчиков. Только ли они в этом кулачке? А меня разве там нет? Ну и прекрасно, ну и замечательно! Я сижу в кулачке тихо-спокойно, огражденный от всех треволнений, от посягательств других кулачков и кулаков, — какая благодарная жизнь!

— Между прочим, будьте особенно бдительны с этим, как его, Чернаковым, — говорит собеседник. — По-видимому, он будет редактором фильма, он...

Отрицательное покачивание головой, поджатые губы.

— ...Это пьяница и вообще... какой-то тип... Как он попал туда, непонятно!

...Разумеется, благодатная в кулачке жизнь! Денег, которые я получу, хватит на несколько месяцев свободной жизни после того, как я окончу сценарий о механизированной прогрессивной дойке. А потом замаячит что-нибудь еще... Я похож на больного, перед которым ложка горчайшего лекарства, но ведь больной всегда успокаивается призрачной надеждой, что после приема должно стать легче... О чем мой собеседник, ведь я не ответил ему? Ах, да, о каком-то Чернакове. «Действительно, откуда они выкопали его, алкоголика такого!» или «Ай, ай, ай, подумать только, неужели могут посадить на такое место такого алкоголика?!» — стараюсь показать наморщенным лбом, поднятыми плечами, многозначительной улыбкой. Для моей благодарности есть еще одна причина, быть может, самая безотказная по действию: ведь то, что выпало на мою долю, абсолютно случайно и не

зависит ни от каких моих способностей. Это с Бэром Пинским, известным поэтом, я мог выкобениваться, там отношения все-таки строились на другой основе (как давно это было!), и с окающим Иваном Демьяновичем — хотя уже в меньшей степени — тоже мог эдак почувствовать себя хоть немного, а человеком, здесь же всё иначе. Здесь всё зависит от странных, непонятных случайностей, и я покорно склоняю перед ними голову. Здесь я раб, ну и что? Да, если здесь фортуна повернет ко мне благосклонное лицо, даже если это будет физиономия респектабельного мужчины, я испытаю к нему безмерное рабское чувство благодарности, а кроме того, безмерное чувство вины: ведь получил-то я не по заслугам? Получил-то я по случайности? ...Но сейчас: ах, как я страшусь предстоящей работы, опасаясь своих предстоящих ошибок! Я боюсь оказаться недостойным моего благодетеля и боюсь, как бы следующая работа не уплыла в другие руки. Хотя, если работа достанется в другие руки, найду ли основания для того, чтобы считать себя обойденным? Никогда. Да, да, вот истинная позиция: ни в каком варианте не смогу считать себя непонятым, обойденным, никакой опоры для тайной гордости самим собой, ни малейшего шанса для спасительного уединения в грот уязвленности.

— Мда... Так вот... — неопределенно произносит респектабельный человек. — Так как будто я вам всё сказал.

Он замолкает, вертит в руках карандаш. Я смотрю на него, а сам в это время напряженно думаю: всё ли я делаю, как положено? Ведь тут главная трудность в том, чтобы оказаться достойным беседы респектабельного мужчины и оказаться достойным присутствия незримого вышестоящего лица, и оказаться достойным одновременно того и другого, ведь, может быть, когда я выйду из кабинета, они станут обсуждать, стоит ли иметь со мной дело. Они близки между

собой, несомненно, несомненно. И, надо думать, вышестоящее лицо настолько хорошо относится к respectable мужчине, что не оставляет его одного ни в каких, даже самых интимных обстоятельствах... Слушайте, а ведь они даже наверное *делятся*? Ну да, конечно, как же может быть иначе! И как же я до сих пор не догадался!

— Ну, хорошо... — откидывается в кресле respectable человек и ловко забрасывает в пластмассовый стаканчик шариковую ручку, которую всё крутил в пальцах. — Скажи мне теперь, как вообще дела?

— У меня? — переспрашиваю. — Как дела?

— Ну да, — удосуживает он меня ласкового интима. — Пишешь вообще что-нибудь, старик?

— То есть... что именно?

— Ну, какую-нибудь рецензию, очерк... Знаешь, старик, время от времени нужно появиться в печати. Соображаешь?

Он подмигивает мне.

— А то, если меня спросят, кто ваш автор? А вот, пожалуйста, он творческий человек, вот статья в «Литературной России», а вот рецензии в «Московском комсомольце». Кстати, тут один материал был...

— Да? — пытаюсь я изобразить заинтересованность. — И... что же именно?

— Должно было произойти крушение поезда. Какой-то мудак-диспетчер проспал, вовремя что-то не включили, какую-то автоматику, — ты ведь знаешь, для чего автоматика существует?

— А... для-я...

— Для того, чтобы мы о ней фильмы делали, чудак.

— Хе, хе, хе.

(Хи, хихи, — беззвучный смех незримого лица).

— Ну вот, — (он становится серьезным). — В об-

щем, должны были погибнуть люди. Большое крушение. И вот машинист не подкачал, спас положение. Сам пожертвовал жизнью, молодой парень, представляешь, комсомолец!

Респектабельный человек округляет глаза, в неподдельном сочувствии качает головой. Для него смерть кажется таким непостижимым и нелепым ужасом, и кто-то вдруг идет на такое дело — и ради чего??

— Погиб парень. Да, наш советский человек, знаешь, в последний момент...

Респектабельный человек делает жест рукой, который означает, что наш советский человек... Что наш советский человек, знаете, не подкачает в последний момент, как это ни удивительно... Все-таки, в нем есть что-то, что ни говори... как ни удивительно после стольких лет... В общем, воспитала все-таки советская власть нашего человека!

— Да, да, интересно. И что же...

— Нет, старик, уже написали об этом, — веско заканчивает респектабельный мужчина. — Но, понимаешь, тебе бы такой материальчик.

— Да, да...

Я соглашаюсь, я раскланиваюсь, бормочу какие-то слова... и вот... и вот следующее звено воспоминаний, и я уже не прощаюсь, а наоборот — здороваюсь.

* * *

— Добрый день, — сказал я, запинаясь и заранее извинительно улыбаясь.

— Добрый день, — ответил хмурясь Леша Чернаков, мой будущий редактор, собутыльник и мучитель. Он только покосился на меня и с отвращением отвернулся. У него было круглое лицо, редкие белесые волосы, открывающие крутой лоб. Но наглые и беспокойные глаза и толстые губы, что безвольно прыгали

то в улыбку, то в гримасы, выдавали лицо подонка, лицо последней мрази, — а с какой стати оно должно было быть другим? Но почему-то я почувствовал себя выбитым из колеи. Утомился, наверное, на долгом пути к Леше Чернакову.

— Присаживайтесь... Да, да, знаю. Матлин звонил. Ну и что же? — уставился он на меня.

— Что?.. Да ничего... Собственно... — забормотал я, как будто оправдываясь. Первая ошибка моя была — тон. Совсем не тот тон нужно было взять, ведь козыри-то были на моих руках. Но какое значение могли иметь козыри, если мы сидели друг против друга: он, такой, какой он есть, и я — такой, как есть я?

— Видите ли, — сказал Леша, снова отворачиваясь, начиная искать какую-то несуществующую бумажку в столе. — Не знаю, зачем Матлин прислал вас. У нас ничего нет... Сейчас по крайней мере...

— Нет? Но как же так? — поразился я, хотя и понимал, что меня ждет. — Ведь Матлин...

Это была вторая ошибка: я не должен был подтверждать фамилию уважаемого человека, Леша только этого и ждал.

— При чем тут Матлин? — начал он, вскакивая и краснея лицом. — Кто такой Матлин? Он заказчик, не хватало, чтобы заказчик диктовал нам свои условия! О, это оччень хорошо и здорово-таки, что вы прямо сказали! Кто такой Матлин, я вас спрашиваю, чтобы позволять себе вмешиваться в творческий процесс? У нас творческие планы, мы стараемся, мы ищем!

О, великое племя подонков, только дай тебе повод, и ты зайдешься в благородном гневе и закончишь, размазывая слезы по лицу.

— Да, да, конечно... — забормотал я. — Нет, он просто сказал, что есть тема, не помню точно название... но, разумеется, мы обсуждали эту проблему абстрактно, понимая, что решать вам...

— Да, есть тема, — садясь, сказал сухо Леша. Перемена тона была мгновенна и разительна. Он постукивал костяшками пальцев по столу, глядя в окно. — Кстати, вы даже не знаете, как она называется... А хотите писать...

— Конечно, конечно... то есть, я хотел сказать, я знаю, как называется, и даже материалы просматривал... Просто...

...Конечно, конечно, дело был еще в том, что я слишком долго ощущал себя человеком, затаившим дыхание, — нырнувшим под воду или, скажем, пытающимся проскочить зловонное место на мясобойне, — и вот человек вынырнул, что же вокруг себя он видит? Какова награда за терпение, не награда, ладно, но хоть: чего он достиг, человек? Не нырнуть ли ему обратно да, пожалуй, больше и не возвращаться? Впрочем, не то чтобы нырнуть, — ведь и на это нужно усилие, — а так, просто расслабиться, устало закрыть глаза, а там будь что будет?..

— Послушайте, ну зачем вам братья за учебный фильм? — начал атаку Леша с другой стороны. — Да знаете ли вы, что такое учебный фильм?! Огого! Никто не знает, что такое учебный фильм, вот это что такое! Вы инженер? Преподаватель? Ха, ха, ну и что? У нас опытные сценаристы не берутся за учебные фильмы! Более того, я вам скажу: я с а м не возьмусь за учебный фильм!

...Но он все-таки не знал, в чем дело. Он не знал, что я прекрасно знаю, что положено говорить в таких случаях, как использовать свои карты. Можно было бы, например, в свою очередь краснея лицом, начать распространяться о своем увлечении именно этой темой, о том, что есть задумка... То есть это-то он знал, но он не знал, какова цена подобных речей и какова цена усталости. И вы, многоуважаемый респектабельный человечек, не качайте осуждающе головой, мол, ка-ак этот мудака проваливает дело, — не

волнуйтесь, я еще не решил, да, да, не решился провалить дело, я еще не испытал, видимо, до конца цену усталости... но кое-что о ней знаю.

— Для начала вам хорошо бы сделать небольшой технико-пропагандистский фильм на простенькую тему, ну вот например... Вот например, — ну, конечно! Вы обязательно должны сказать Матлину! Технико-пропагандистский фильм о советском труженике, о человеке. Вот, скажем, об этих самых хуях — пенсионерах-общественниках! У него есть, есть в загашнике такая тема, я знаю. Ведь это проблема со стариками, ведь их или надо всех перестрелять, или каждому в зубы минимум обком партии. Никак не меньше. Вот тут-то они себя покажут — орлы! И вот эти старики что-то там у них на железной дороге делают, общественный контроль осуществляют. Огого, только попадись к ним в руки!.. Так вот, я и говорю...

Да, да, конечно, он совсем обнаглел, но он полагал, что совсем может не принимать меня во внимание, — и был прав. Разве до сих пор я сопротивлялся ему? Он разговаривал со мной, как с идиотом, — потому что даже идиоты знают разницу между темой, внесенной в план студии на такой-то год, и темой, болтающейся на благородных началах заявки. Но не в этом было дело, а в том, что — еще мгновение, еще одно... Пусть говорит, да, да... Может быть, еще не поздно вступить в борьбу... И вот:

— Разумеется, — сказал я, э д а к мягко улыбаясь. — Ну, понятное дело... Говорите, о человеке-труженике? Это прекрасно, но, может быть, потом... Во всяком случае я поговорю с Матлиным...

...— Ну что вы, — сказал я едва ли не горячо. — Только так редактор и должен поступать, он ведь творческий человек! Что касается меня, то, видимо, вы меня не так поняли!..

...— Вот, вот, разумеется, — сказал кто-то, кого зовут моим именем. — Конечно, мы должны были

встретиться с вами, как творческие люди, но так уж получилось с Матлиным! Что поделаться!

...Я начал почти с нуля, с того места, когда, казалось, отступать было дальше некуда, — и все-таки спас положение, хотя каким-то весьма странным и малопочтенным — во всяком случае, с точки зрения респектабельного человека — образом. Респектабельный человек с брезгливым недоумением пожал бы только плечами недостойному моему поведению, но, как бы то ни было, я спас игру... и надо думать, Леша так тоже полагал. С их точки зрения, можно было обсуждать, как я с м о г сделать то-то и то-то, но никто не догадался бы из них, в том числе и невидимое вышестоящее лицо, о, оно, я думаю, в последнюю очередь, что я именно что-то не смог как раз! Откуда им было знать, что наш с Лешей диалог скрывал в себе огромную возможность, сладостную возможность освобождения, только стоило сделать еще один шаг, пол, четверть шага — и, улыбаясь, позволить Леше закончить дело так, как ему хотелось... А потом... Что ж, что потом...

...И вот ночь, и из открытой балконной двери свежий ветерок, и мы сидим, как было сказано вначале, с Лешей за столом, уставленным пустыми бутылками, потягиваем терпкое болгарское вино.

— Слушай, знаешь что? — наклоняется ко мне Леша. — Мы с тобой повесть напишем. Точно! Я один никогда не смогу... То есть, гм, я, конечно, могу, огого, еще бы! Я такое могу! Только терпения не хватает, а ты, видно, парень с терпением. Слушай меня: как только напишем, в каком угодно журнале возьмут! Потому что материал есть, огого! Ведь главное — героя найти. Попасть в струю. В самую жилу ударить. Аксенов и Войнович какие-нибудь — чем взяли? Нашли за что ухватиться, о, умные ребята. И вот на коне. Я ничего, я ведь о них ничего не говорю, молодцы. Нашупали героя.

Лицо Леша нахмурено, напряжено.

— И я своего героя нащупал, ей, ей. Понял, в чем дело?

Леша делает энергичный жест рукой. Что означает этот жест: свержение ли героев Аксенова и Войновича или воздвижение Лешиноного героя? Я машинально киваю: надо что-нибудь сказать же...

— Да, да, герой... конечно...

— Ну вот, слушай. Мы вот что сделаем. Кончай сценарий, тебе на эту ерунду и месяца хватит, на халтуру эдакую! — Он делает пренебрежительный жест, мол, есть о чем говорить, и фантастичность ситуации заключается в том, что договор вовсе еще не подписан со мной, потому и пью с Лешей, и он это прекрасно знает и неделю уже качает из меня выпивку, а вполне может оказаться, что в один прекрасный день приду к нему на студию, а он не узнает меня. — Кончай всё это, получай гонорар и махнем... знаешь куда? В Сибирь, к моему брату. И денег не нужно, только на дорогу, а там — огого! Знаешь, кто мой брат? Бо-ольшой начальник! Не веришь?

— Почему же?... Верю...

— Как сыр в масле будешь кататься, вот как нас примут. Но не в этом дело...

Леша наклоняется к самому моему уху.

— Брат мой и есть тот самый герой, понял? Я это давно разгадал. С него только и писать!

И Леша начинает трогательный рассказ о некоем Большом начальнике, который вовсе не пользуется персональной машиной, на работу ходит пешком, и простой народ его любит, дворники ближайших кварталов знают его, здороваются по имени-отчеству, а по вечерам Большой начальник поет с сыновьями русские песни, жена, правда, у него стерва, оперная певица, ебется, наверное, с каждым вторым... (И то, что Леша соскальзывает столь нелогично со стези разработанной схемы в объятия случайностей натурализма, тоже

характерно, даже в этом он всего только пародирует сегодняшнюю официальную литературу, которая почувствовала усталость и нет да нет, а выдаст эдакий пессимистический, а то и ущербный образ с деталями)...

—...Ну что, понял теперь? Говорю, как приехали, сразу так и садимся писать! Ну, пусть сначала очерк, а повесть потом. Да, да, очерк, чтобы продать сразу... Не веришь? Опять не веришь?

— Не верю? С чего ты взял?

Как бы я ни был устал, как бы я ни был безразличен под действием выпитого вина, ощущение безвыходности не оставляет меня. Я четко понимаю: скука, невыразимая скука, вот что такое Леша. Какая-то нереальная уже квинтэссенция скуки. Но ведь не выбраться теперь из ее капкана? Хотя, с другой стороны, разве человек когда-нибудь способен согласиться с мыслью, что из капкана жизни ему не выбраться? В самой последней ситуации, когда кажется, что ты сдался, потихоньку начинает работать мысль в новом направлении, то есть в направлении новой иллюзии. Если, положим, капкан рассчитан на то, что ты будешь тащить из него ногу, то почему бы не попытаться действовать противоположно, то есть не стараться всунуть ногу поглубже? Коль скоро Лешино присутствие реальней всякой реальности, неизбежной всякой неизбежности, то почему бы не пойти неожиданно и нагло ему навстречу, дать противнику бой на его территории? Он тошнотворно-бездарно описывает своего брата, голубого советского начальника? Что ж, вместо того, чтобы бежать, заткнув уши, я совершу путешествие из Москвы в Сибирь — и попытаюсь вообразить всё, что могло действительно случиться со мной в такой ситуации... Ну, вот, например, встреча на вокзале, объятия братьев, вещи несут в машину. Я бы мог вообразить Лешиного брата заевшимся советским мурлом, что не удосужится посмотреть в

твою сторону. Но это было бы слишком легко, и поэтому с замиранием сердца вижу другого человека: крупного мужчину с открытым русским лицом, что протягивает руку для знакомства. Конечно, и таким он может оказаться... и вот готов повод почувствовать себя неловко. Ну да, ведь улыбка, которую предлагает мне Большой начальник, не может быть возвращена с той же степенью открытости — какая уж тут открытость. Мы враги, то есть я знаю, что мы враги, а он ничуть не подозревает — что́ ему. Какое коварство с моей стороны, какая заведомая нечистота духа, иными словами, какая обреченность. Нас везут в просторный дом, угощают превосходным обедом, на столе всевозможные напитки со столичной-экспортной во главе, но неловкость только возрастает. Я стараюсь улыбаться и отвечать в тон, но мелкие опасения мучают меня. Вот например, щекотливый вопрос национальности. Ну ладно, добрo, я не похож на еврея, значит, легче сойти за своего, но с другой стороны: а как он затронет болезную тему? Притвориться, будто не слышал? Подыграть ухмылкой будет слишком, — после всего, я же еврей, то есть Леша-то знает, что я еврей, да и насчет Большого начальника нельзя поручиться. Опять же, не такой уж я хороший актер... С другой стороны, если решительный жест, так чемодан ведь не станешь собирать — глупо, да и не отпустят, начнем выяснять отношения, что обернется еще большим унижением... Осложнения, осложнения...

Между тем я вслушиваюсь в диалог, который с самого начала возник между двумя братьями. Состоит он из взаимных подначек, похлопываний по плечу, спине, полулюбовных-полувраждебных ухмылок: состязание, которое началось не сегодня. Леша играет нападающую, провоцирующую сторону, брат — благодушно обороняется. Вот Леша, подмигивая, спрашивает Большого начальника, что за урожай он ожидает в этом году. «Что, брат, опять у Америки закупать

зерно будем? А если не продадут, бросим на них атомную бомбу? — кричит он. — Или по старому русскому способу, протянем руку да на коленках поползем?» На что брат подхмыкивает и спрашивает, не собираются ли Лешу выселять из Москвы как тунеядца и если так, то, может, работку подыскать какую. «А и вправду — га! — кричит Леша. — Что я там потерял, в Москве? Москва — что может быть хуже для такого человека, как я? Жульё на жулье, писатели, сценаристы одни только в каком числе?» Он затягивает несколько монолог, перечисляя свои повести и пьесы, которые никто не хочет печатать, но в конечном счете снова находит нужный тон: «Работку? Небось, непыльную, по знакомству? В отдел кадров, например?» — «Можно и в отдел кадров: парень молодой, с подходом, инженер человеческих душ в конце концов», — благодушно подтверждает брат. — «Ага! Так я и знал! Я к людям с человеческим подходом, а ты мне звонишь — не брать пятаю графу?»

Наступает момент, которого я боялся. Однако все обходится, Большой начальник ограничивается словами вроде: «Бывает, что и так надо» (может, он все-таки сообразил насчет меня, не знаю) и, в свою очередь, напоминает Леше о каких-то его прежних неудачных любовных похождениях, рассказывает к случаю не слишком остроумный похабный анекдот. «Га, га, тоже раскопал! Живешь в прошлом веке, — ухмыляется Леша. — У нас теперь другие анекдоты в моде, про Чапаева, например. Вот приходит славный командир к пулеметчице Анке и...» — «Смотри, до Чапаева уже добрались, ничего святого для вас нету, — качает головой Большой начальник. — Цинизм...» — «Не цинизм, брат, а художественная правда! — кричит Леша. — Хотя, конечно, цинизм. А вы вот что: или всех анекдотчиков к стенке, или автору — Ленинскую премию, а?» — «Ну ты, трепло, — из лука не мы, из пицали не мы, а зубы поскалить, язык по-

чесать — против нас не сыскать», — находит выход в пословице Большой начальник, и так они продолжают до бесконечности.

По сути дела они затрагивают темы, которые неприлично и даже страшновато было бы им затрагивать, но делают это беззлобно, как будто не замечая даже, о чем говорится. Чем больше вслушиваешься в их разговор, тем с большим удивлением понимаешь: да ведь, пожалуй, оба они согласно проводят шутовское представление себе на потеху, разыгрывают скomorоший сюжет, где главное — форма, стереотип, главное не в том, что за словечко вымолвлено, а — как. Чёрт побери, но почему моя фантазия сработала вдруг в таком направлении, ведь вот сидит перед моим мысленным взором Большой начальник, на лице его неопределенная рассеянная улыбка, туфель снял, чтобы удобней ногам, шевелит пальцами ног — ну что за безоблачная уверенность движет им? Я понимаю теперь импульс, который толкнул Лешу к мысли «писать повесть»: тут сыграло роль обаяние беззаботности и красоты, что когда-то свело с ума в Ставрогине Петра Верховенского. Мой Большой начальник и логика? Мой Большой начальник и закономерность событий? Да ничего более далекого и придумать нельзя, конечно же, ему нет дела до таких вещей, но зато как близок он к Случаю и Удаче! Ну вот, как ни в сказке сказать, ни пером описать... И право же, какой-то таинственный случай, превратившийся в закономерность, управляет благополучием его судьбы, и тут бессильны все остальные силы... Ни дать ни взять современный Иванушка-дурачок мой Большой начальник, вот он, право, кто... Обокрали меня, обокрали, то есть обыграли и в этом: лишили чистоты образ, что с детства тянется, предательство, караул... Оказывается, вот каким может быть советский начальник!

—...предательство, караул, — бормочу я и открываю глаза. Всё та же картина, только за окном начало светлеть. Леша наливает, и мы выпиваем еще по бокалу вина. Я помню, что после часу дня нужно быть на студии, подписывать договор. Я говорю об этом Леше.

— Ха, ха, какая там студия, — отмахивается он. — Слушай, друг, как ты можешь о каких-то студиях говорить. Мы с тобой...

Он наклоняется ко мне, шепчет с жаром:

— Мы день завихрим-закрутим! Будет, что вспомнить!

...Будет, что вспомнить?..

Мы мчимся по Садовому кольцу в такси. У Леша в руках адрес каких-то девиц. Сегодня особенная жара, пыль, душная бензинная вонь. Садовое кольцо чудовищно безобразно, дома как казармы или склады. Вот за этими слепыми окнами люди читают «Правду», пьют пиво, смотрят телевизор? Брр...

Между тем Леша продолжает представление. С каждым он должен переброситься словом, беспокойство будоражит его. Одному таксисту, унылому и тощему, он вдалбливает что-то о дочке, которая, небось, с таксиста деньги на экспортные шмутки качает, кричит, что так и так его мать, жизнь давно нужно было по другому руслу пустить, когда маршал Жуков хотел дальше по союзникам ударить и всю Европу забрать! — и таксист, бывший солдат, уныло соглашается. С другим, веселым таксистом — разговор другой: о сертификатах, богатых туристах, о ловком и успешном Израиле, что на успешные американские денежки ловко бил и будет бить союзничков наших арабов, так нам и надо, нечего не в свое дело лезть.

Разумеется, никаких девиц (как и никакого договора). Но зато — дальше, дальше в одуряющем вихре пустословия. «Эй, любезный, что уставился, в коман-

дировке, небось? Ха, ха, удивил, мы все в командировке, талон на еду получен, постель в номере постелена. Великая вещь социализм... Папаша, а ты не бунтуй, никто твои кальсоны не брал, в лотерею их разыграли в центральной прачечной, не знаешь разве? Ну, ну, чего усы раздуваешь, будто дух покойного Семена Михайловича? Не испугаешь, прошло твое время. И вообще, ты не кальсоны в стирку сдавал, а ту самую нижнюю рубашку, которую еще в семнадцатом году снял с порубанной тобой же барыни. А с тех пор, как дело к вечеру, ты раздеваешься, эту самую рубашечку натягиваешь на себя, а как натянешь да потрешь руками старорежимный шелк, так сразу и кончаешь, га, га... Бабка, куда прешь? погоди, дай помогу тебе с мешком. Вы, бабки с мешками, теперь вместо монашек, право. Я тебя знаю, ты с Белорусского приехала. Я в электричке рядом сидел, когда вы обсуждали насчет тещи, что порешила пьяницу-зятя. Ты та самая теща и есть, бабка, а в мешке у тебя не московская-полукопченая, не апельсины, не торт «Прага», а голова любимого зятка. Посторонись, народ, дайте пройти с трупом в мешке!..»

...Ну хорошо, он, Леша, мучим своим бесом. А я-то тут при чем? Мне-то почему при нем пропадать?

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ СТРОФЫ

* * *

Тлетворен воздух Царского Села.
Тяжеловесной стала Каллипига.
Несет меня та самая квадрага,
Что Чаадаева с ума свела
Под грохот маршей Царского Села.

Как скользко и тоскливо собирать
Цветы на камероновом паркете,
В лощеном, лицемерном менюэте
Не стоит о подножке забывать
(и светские улыбки собирать!)

Забыто Богом Царское Село,
Преступен лик распутного мессии:
Над тронном николаевской России
Потешно петушиное крыло...

До шуток ли нам, Царское Село?

* * *

Бога Феба вязальные спицы,
Паутина над заревом лет,
Золотой европейской столицы
С горьким привкусом диалект,
Диалектики вольные воды,
Смертоносной цикуты вино,
В тонкой капсуле семя свободы
От рожденья мне было дано.

Этой нити теперь не порваться,
И дрожит на конце узелок,
В жгучем сумраке трех реформаций,
В изголовье горит Козерог.

* * *

Почтовые тракты центральной России,
Центральные тюрьмы, хоромы вприсядку,
Хорьковые шубы и ливни косые,
Да изредка трезвый товарищ десятник.

Что делать мне с этим наследьем отчизны?
Ни в землю втоптать, ни развеять по ветру,
Гудят стопудово славянские тризны,
И стаями носятся злые поверья.

Пустынен мой путь. Колея дилижанса
У ног расстилается черной каймою...
И сотою долей последнего шанса
Возносится город, пропахший чумою...

МОНОЛОГИ

* * *

Не быть мне больше Лотовой женой,
Которая вослед тебе посмотрит,
Брось камнем в мифотворцев — я поспорю
С той бабою, которая живой
Из поединка горького не вышла.
И пусть грозит мне каторга иль вышка
И гóлоса презренье твоего... Остолбененья
Еще не пробил час на тех курантах,
Которые отсчитывают время
И степень продвиженья за тобой.

«Не оглянусь!» На все века однажды
Кочевное, стоустое проклятье
Произнесу, чтоб было неповадно
Всем девочкам, стоявшим по парадным,
Вослед глядеть отторгнутым мужьям.

* * *

Давай, Рахиль, станцуем танго,
Рисунок наших выкрутасов
Так нервно четок на полу.
Пляши, Рахиль, покуда танки
Встречают наши горожане,
Покрутим черный патефончик,
Станцуем танго на балу...
Увенчан лаврами, въезжает
Твой победитель на ослиати,
С червонным пятнышком на брюхе,
В том месте, где рисуют звезды.
А ты, Рахиль, не отвлекайся,
Выстраивай свои узоры,
Скрижали патефонных дисков
Сейчас дороже всех пророчеств.
Смотри, как музыка седеет
На головах твоих высочеств.

* * *

А что, если нас не минует
Его крутолобая чаша?
Так выпьем до самого днища...
Мария! Он сын Человечий, он — нищий,
А чаша — не каша,
Питьем этим сыты не будем,
Остудим,
остудим бредовые мысли,
Под кровлею Божьего лба.

Мария! Нам логово б только почище,
И в манную кашу не дегтю, а ложечку масла.
Зачем нам твой сын —
Печальный пришелец, филолог,
Бездельник, застывший на краешке чуда.
На каждого Бога найдется свой верный Иуда...
А что, если б кончилось всё пораженьем,
Крушеньем, фиаско
Восставшего рыжего из Кариота?
И сын Человечий
Бродяга увечный
Владыкою стал?
Холмистое Лобное Место
Он отдал бы нам под трибуны?
Смотри! Над Голгофой, над нами
Не зарево — алое знамя...

АФАНАСЬЕВА Зоя Михайловна — род. в 1938 г. в Киеве, в детстве несколько лет прожила в Польше, последние 15 лет живет в г. Пушкине (Царском Селе), по профессии — искусствовед и журналист, опубликовала ряд статей об изобразительном искусстве, стихи печатала только в местной газете г. Пушкина.

ПОЕЗД

Виктору Ворошильскому

Со смешанными чувствами я сел в этот поезд. Это должна была быть моя первая подлинная езда в незнаемое. В незнаемое, потому что никто из нас не знал, куда едет. Некоторые считали, что это поездка на некий необитаемый материк, на котором можно основать колонию; другие говорили, что мы едем навстречу новым временам. Одни составляли проекты конституции, другие рассуждали о социально-бытовых условиях в будущих тюрьмах. В некоторых купе господствовало необычайное оживление. Мужчины таскали сундуки и чемоданы, вешали на стены любимые картины, в спешке захваченные из дому, прибывали полки для цветов; женщины кормили детей или помогали мужчинам. Тем, кто взял из дому только Библию, как раз протрубил пятый ангел, и они видели, как звезда скатилась с неба на землю.

Мои соседи по купе мало чем отличались от других пассажиров поезда. Одна старая дама с попугаем (откуда этот попугай? — совершенный анахронизм) и с дочкой. Толстый посапывающий господин — вроде бы антрополог культуры — страдающий астмой, а через несколько дней еще и ностальгией. Экзальтированный юнец, студент рабочего происхождения. Рядом со мной мерно покачивалась коротко стриженная голова какого-то офицера (командира? диктатора?). Хоть офицер, а ехавшая с ним женщина откровенно скучала и всё поглядывала вызывающе на студента, который на всякий случай не обращал на нее внимания. Сидящий напротив священник (это уж точно как в плохих романах, но что поделать, когда так было),

с очень тощим лицом и пергаментной кожей, глядел на эту сцену с очевидной горестью. С первого взгляда можно было понять, что де Сада он не читал. Его пальцы непрерывно передвигали зерна четок, теряющихся в безднах бесконечности и тайны. О двух молчаливых у окна мало что можно сказать. Они были грустные и без особых примет. Обменивались неизобретательными шутками, хотя на головах у них были лоснящиеся черные цилиндры, которых они не снимали даже во время еды. Как-то один из них (почему один?) поклонился проходившему коридором ангелу, и тогда я увидел, что он приподнял голову вместе с цилиндром. Я заметил шею, которая сверху выглядела как свежесрубленный пенёк, потом всё вернулось на место.

Все мы хорошо знаем, каким скучным становится путешествие, когда мы созерцаем всё, что поддается созерцанию. Станция за станцией оказывались не целесообразными, не сообразовывались с целью наших подспудных желаний. Мне угрожал бы невроз или алкоголизм, если бы не антрополог Санчо Панса, который оказался человеком удивительно простодушным и разговорчивым, а кроме того, ухитрился доступно разъяснить мне хитрости своей специальности. Как выяснилось, был он специалистом, и незаурядным, в узкой специальности специального назначения. Сжевав два огурца, я ждал, что он выскажется.

— Вот видите, — прямо ко мне обратился он. — У нас человек вылез из предложения, и неизвестно, что с ним делать!

(Сразу виден специалист. Это была настоящая проблема. Ведь так часто в наше время случалось людям выходить за рамки предложения.)

— С предложением или с человеком? — наивно спросил я на всякий случай.

— Поскольку мы являемся антропологами предложения, конкретной — специалистами в области предложений простых изъявительных, мы займемся исключительно человеком и проблемой заключения его в положенном месте в предложении простом изъявительном. Если он не уместится в одном, построим ему клетку из предложений простых изъявительных.

— Собственно, между нами говоря, — наклонился он всем телом и шептал мне в левое ухо, — человек, который не умещается в предложении простом изъявительном, это не человек. Так же точно, как не является человеком человек, который вылез, то есть самовольно покинул предложение простое изъявительное. Конечно, — он уже говорил обычным голосом, — мы отдаем себе отчет в опасности возникновения националистических сообществ предложений простых изъявительных, но эти вопросы находятся вне нашей компетенции. Предложения простые изъявительные мы будем передавать антропологам предложений сложных изъявительных, задачей которых будет построить систему. Прибавим — соответствующую систему, соответствующую массам предложений простых изъявительных.

— Следовало бы задуматься, — сказал я, — возможна ли такая система. Последнее время философы изменяли мир, но это не принесло желаемых результатов.

— На сегодняшнем этапе развития науки, — взглянул он на меня, — антропологи предложений побудительных нам не нужны; мы ведь живем в правозаконной стране. Это не значит, что мы недооцениваем самоотверженности и заслуг в развитии науки профессора Императива.

— Еще проблема, — продолжал он, — с предложениями вопросительными, но когда мы разделаемся и с ними, наступит полная гармония и порядок. Един-

ственным направлением в искусстве будет прагматический сюрреализм. То есть сама жизнь.

— Предложения «человек добр», «общество счастливо» безусловно истинны. Это следует из их синтаксиса, то есть из факта согласования подлежащего и сказуемого. Нам приходится сталкиваться с упреком, что, следовательно, предложения отрицательные тоже истинны. Ничего нет более ошибочного! С точки зрения описательной и исторической диалектики предложений это ложно. Предложения изъявительные не отрицательные, то есть наши (он фамильярно потрепал меня по коленке), являются не тезисом и не анти-тезисом, а синтезом. Нам, правда, не удалось обнаружить тезисы и антитезисы, — в его голосе дрогнула нотка непритворного сожаления, — но наши научные усилия в этом направлении не прекращаются.

— Мы концентрируемся, концентрируем, — повторял он (я подумал, что поступил не наилучшим образом, выбрасывая в окно банку от концентрата). — В нашей социальной ситуации самое важное — это сконцентрироваться на концентрации (ох, как нехорошо, почему я об этом не подумал, прежде чем открывать окно). — Мы различаем предварительную концентрацию, частичную концентрацию, полную концентрацию, чрезвычайную концентрацию и абсолютную концентрацию. Концентрацию, концентрацию, концентрацию... не знаю, когда меня сморил сон.

Сновидения.

Обрывки разговоров.

Один старичок в коридоре говорил:

...так мы шли и шли к этим искусственным небесам, хоть и знали, что нет искусственных небес, более того, знали даже, что нет вообще небес...

...люди не любят невыносимых истин...

...сказал, что только тот заслуживает свободы, кто каждый день идет за нее на бой...

...а счастье?

— Я с теми, кто будет, — говорил мужчина в коридоре.

— Против тех, кто остался во вчерашнем дне.

Не помню, цветные ли были сны.

По прошествии некоторого времени — не могу определить более точно — мы узнали от проводника, что нас ждет долгая стоянка. На вопрос: что же дальше? — он не удосужился ответить, но обещал ходить узнавать чаще, чем прежде. Мой сосед антрополог спал. Я курил сигарету в коридоре (мое купе было для некурящих) и разговаривал со знакомыми (вприглядку знакомыми). Мы как раз говорили о себе, сведенных к двум измерениям, о великих деспотах над нашими умами, как поезд остановился на большой станции, которая показалась мне знакомой, хоть не думаю, чтобы я там когда-нибудь проезжал. Платформа перед нашим поездом была запружена, как и другие, и не было никакой реальной возможности покинуть вагоны. К тому же, у дверей стояли крылатые ангелы с руками в карманах болоньевых плащей. Карманы у них были набиты мелом, и каждому, кто крутился возле выхода, даже кто в туалет выходил, они чертили на спине крест. Здесь, внутри, это ничем особым не грозило, но если бы кому-то удалось сойти... По платформам по двое прохаживались такие же ангелы. Без мела, но с деревянными крестами. Парнишке, который выскочил напиться лимонаду, они уже примеряли эти кресты к меловому на спине. Он выглядел с ним смешно — чуточку как актер, чуточку как мушкетер Людовика XIV. На лице его отпечатался страх. Вообще же ангелы вели себя спокойно и благожелательно улыбались людям, пытающимся сесть в поезд. Кипящая толпа штурмовала все двери. Я видел вблизи

оживленные лица женщин, орущих детей, вспотевших мужчин, волокущих чемоданы и проталкивающих к вагонам. На всем вокзале стоял неопиcуемый гвалт, который еще увеличивался благодаря инструментальному ансамблю Союза союзной молодежи. В наш вагон пробовали влезть несколько длинноволосых парней. Ангелы пытались навести порядок, девушки из Дома Моделей начинали ревю в Честь, мужчина в черном костюме что-то кричал в рупор.

Сотни путей, сотни платформ, сотни станций. Некоторые из них так друг на друга похожи, что, если бы не наша постоянная езда, я поклялся бы, что они повторяются... Когда мы трогались с очередного вокзала, на крышах вагонов и на буферах я заметил новых пассажиров. Пальцы судорожно вцеплялись в металл, на лицах сияла гримаса счастья. Во время стоянки мы им ничего не говорили, хотя, вопреки слухам, рот нам не затыкали. Что ли мы отвечаем за них, новых пассажиров поезда...

Не требуйте ясности и непрерывности ниточек рассказа.

Я еще не рассказал об усталости, о напоре белого света, о пораженных слепотой глазах...

Всё сплетено, и никто не знает, что, медленно в ночь погружаясь,

Всё сплетено...

...и есть только ритм воздуха, ритм земли.

И воплощение ритма — птицы.

И смерть ритма — стаи птиц, распятые на небе.

И бессмертный ритм — ритм колес, наматывающих на себя пространство.

Я еще не рассказал об усталости, а также об этой чудаческой идее. Что делали неудачники всех времен? Этот листок я бросаю в окно. Нашедшего любезнейше

прошу опубликовать его содержание в каком-либо из самых популярных журналов...

Но вернемся к усталости, к этой возвращающейся волне внезапного утомления, к этому приливу отрезвляющего холода... Отрезвляющего? А все-таки это было самое важное, эта струна, этот аккорд, из гаммы звуков этот один высокий звук, выделяющийся, распознаваемый...

Пускай усталость занесет наши дороги
Дождя полоской проскользнет по жарким лицам
Колыбельную сыграет неустанным
А счастливым принесет сомненья легкость
И пускай сон занесет наши ночи
Благодеяния в забвении потопит
Пускай полынь будет горше полыни
А любовь бездомною и немою
А свобода и в будущем опасной
Далекой истина и близкою земля

Так, теперь, тогда, я думал о близости земли не слишком легкой и не слишком дешевой, об извечном стуке колес, о Блэзе Сандраре, перевозящем сокровища Голконды (они ехали транссибирской, чтобы спрятать их на краю света), об искателях золота и об искателях истины, о том, присужденном к поездкам, который сошел и незаметно умер или был расстрелян; его спасла память его жены, Надежды; будем помнить, что земля нам стоила жизни, что десяти небес нам стоила земля...

Пускай же придет к нам наконец сон и усталость, от которой мы пробудимся, и снова не будет ничего обычного и безопасного...

БЕРЕЗИН Яцек — польский поэт, род. в 1947 г. в Лодзи, учился на филологическом факультете Лодзинского университета (полонистика), был исключен в связи с делом группы «Рух», поступил

на этнографический факультет того же университета и с 4-го курса был исключен за участие в акциях протеста. Как поэт дебютировал в 1966 г., печатался в польских журналах, литературных альманахах, получил несколько премий на общепольских фестивалях поэзии, выпустил два сборника стихов в Польше и один в Париже, в Библиотеке «Культуры». Неоднократно подвергался преследованиям (обыски, задержания и т. п.) в связи с оппозиционной деятельностью и в последнее время в связи с близостью к КОРу (Комитет защиты рабочих — ныне Комитет общественной самозащиты). Один из редакторов недавно родившегося ежемесячного самиздатского литературного журнала «Пульс».

ЗИЯНИЯ

ЧТО-ТО ЛЕПЕЧЕТ

Что-то лепечет листва верховая —
это ночной Велимир, колоброд,
так выдыхает свои волхвованья...
Так, что изнанкой навыворот — рот!

Чуешь, и чувству такому не веришь,
но по вершинам идет налегке
наш коренной председатель и дервиш.
Только стихи шевелятся в мешке.

В них разливаются чудью озерной
меря да кривичи с весью лесной.
То неразвернут язык, то разорван —
странно опасный, чудной, озорной.

Вместе — не каждым листком или словом —
общей листвою древлян и деревьев,
ясенной мазью и маслом еловым
скулы черёмит, шалит, куролес.

Как из ручейного бучила — вычур,
свирь саранчевую, птицын чирик —
прямо живьем, целиком закавычил
пращура — в свой белой черновик.

Но не дремуч — лишь юродив и странен;
так и велит повернуть и не ждать
бывший на нашей земле будетлянин:
— В путь — сквозь былое — за будущим —
вспять!

А упредят грановитые зерна
в нужную смерть — через прошлое — зов! —
что ж! И предтече отстать не зазорно
от воскрешателя мертвых отцов.

Общее дело листвы — облетанье...
Страшно сказать, но земля всё родней;
всё обитаемей в ней стала тайна:
труд сокровенных и сладких корней.

Январь 1977

ВОЛНЫ

1

Кто живущий у волн не знал,
как идет приобщение вещи
к ритму? Как начинается вал?
Вот порыв, и полет, и провал...
Сам окрестит, и тут же раскрещет.
Сколько раз он пловца принимал
в эти нежно-могучие клещи!

2

Пока волна не вышла на разрыв,
она тверда.
Но раздвоив себя, распятерив,
разбрызжется вода.
И гладкий перелив
обрушится, в щебенку навсегда
себя зарыв.

3

Темных, древних движений полна,
 то ли слева накатит облава,
 то ли — дикою влагою — справа!
 Время с временем сплавит она,
 и навеки срастаясь двуглаво,
 и на миг мне ломая суставы,
 и отхлынет, в себя влюблена.

4

Порядок не откроет совершенства.
 Но в истовой ритмической работе
 родится нас рождающее женство.
 Пускай порыв морской свободной плоти
 в одном дыханьи с волнами на взлете
 роит соблазн доступного блаженства...
 Зато какую песню вы споете!

5

Гляди: гнездо воды надежное разрыто,
 размётан по миру бадьи, пруда уют,
 и сказочки дырявое корыто
 в корабль, того гляди, перепоят, скуют
 и выпихнут валы на свет мастеровито.
 В волнах полно ячеистых кают,
 в них плаванье для нас без берегов
 раскрыто.

6

Косо крест
 помечен в небесах.
 Камни — с мест,
 и — страх морских невест —

волны — в прах...
Рокочет на басах
чистый Вест.

7

Перепоясан лимбами долгот
и выверен кругами астроябий,
у моряка целенаправлен ход.
Хотя б для нас разверзлись те же хляби,
иная склонность к волнам нас зовет:
в кромешной и качающейся ряби,
бывает, некий очерк промелькнет.

8

Сначала по кругу походит...
Еще не совсем рождена,
а — прочь из пространства — по хорде
и вбок убегает длина.
И — круто от самого дна,
из голых аорт — и на холод...
И — жгучая — чем не волна?

9

Дивно, страшно вскинута нога,
разом здесь агония и роды,
радужная пенится дуга, —
бой с самой собой идет природы.
Жду: он обезводит берега,
либо напрочь обезбрежит воды.
Но дорога к этому долга.

10

Лазурные кристаллы зла
и розовые пятна благодати
подкрашивают рыхлые тела,
подобные разобранной кровати,
по ярусам прохлады и тепла.
И синева кроваво разнесла
свои покровы на закате.

11

От будущего в прошлое — смотри-ка:
изрыт сквозными арками излёт
до беспредельности раздвинутого мига.
Архитектура беглая растёт
от прошлого до будущего сдвига.
А миг уже разрушен и растерт.
И лишь волна волне равновелика.

12

Глянет нагими свободами
на справедливость любовных долей
между греками узкобородами...
Грянет своими же родами
над современным кочевьем полей
пенных, и — в пену скорей! —
рухнет глубинными сводами.

13

И гибели страшась, и с гибелью играя,
все годы краткие — в один безбрежный
миг...
на эти ритмы волн, душа береговая,
свой пульс переложил прилежный ученик.

Пусть кровь его теперь летит,
как Божья стая,
кроятся бездны в ней, края свои смыкая, —
в зыбях забыв себя, себя же он постиг.

14

Чем полнее волна заберет,
разнимая на слабые части,
растворяя, тем наоборот
хочет битва сильнее начаться.
Тщетно счастье, и вот оно — счастье:
победителем павший встает
каждый миг в этот миг возвращаться.

15

Не ведает волна своих глубин —
ее волнует то, что тонко взбито
из полу-слов, из полу-половин...
Красот овалами, обвалами лавин
расколебались тонны монолита;
волной к волне слагается молитва,
где слог божествен, смысл — неуловим.

16

Можно уловить любовный очерк
в переливах женственного зверя,
можно и себя скормить на клочья,
и, чтоб к сердцу путь прошел короче, —
бешеным здоровьем здравея,
становиться поприщем для корчей
творческого темного неверья.

17

Волна то вспыхнет тускло-голубым,
то завернется в неприступный глянец,
а то залется медью из глубин,
и вдруг осмысленно и дико взглянет:
— Готовься, ты угадан и любим!
В груди живой дробятся те же грани,
и празднует соборность нелюдим.

18

Ты ли, как было глаголено,
в гладкой броне наготы
будешь нам явлена голая,
или же, медью для олова,
суть отделённая, ты,
на золотые лады
бронзою вплавишься в головы?

19

Создатель новизны любого дня
и Устроитель вековечной тверди
велел: — По звездам пульсы ваши сверьте!
Сердца раздельны спектрами огня,
но муками единого предсердья
сотворена творящая меня
моими же порывами усердья.

20

Ведома двойная глубина
для любовно-пристального зренья;
зоркость в нем удвоена одна
и морского, и глазного дна;
общий взор возрос до озаренья,

и зарей раскрытая видна
тайна простодушного творенья.

1970-1971

ИЗ ГЛУБИНЫ

1

То ли вишенья, то ли буру
подмешали в чернила:
что ни выпишется перу —
всё — кроваво, червиво.

То ли это калечится мозг,
так буквально язвимый,
словно беса колючего Босх
запустил вдоль извилин;

то ли, — жертва любовных ловитв
под рукой сердцелова, —
растлеваемое, вопит,
вырывается слово.

Нарывает, рыдает о двух
душах, до крови рваных,
весь в буграх, искареженный Дух,
как терзал его Кранах.

2

Что ни час, то неровен...
А в часу нулевом
кротко блеющий Овен
пожирается Львом.

Срок истек человеческий.
В том и прок неземной, —
насыщалась бы вечность,
что ни миг, новизной.

3

Дух со следами огня
наклонялся, и жаждал в меня
углубиться.

Тень по границам лица
и внимательный взгляд пришельца
вспышкой блица,

копотная полумгла
и пронзительный взгляд, как игла,
были близко.

Видно, выискивал брешь.
Двух кровей перейденный рубеж
и расписка

вызвали дух из огня.
Наклонялся, и жаждал в меня...
Я отбился.

4

Куда с паденьем Люцифера
пробита шахтою дыра —
катастрофическая сфера
и центр ядра,

и самый гвоздь существованья,
где боль его, и крепь, и кость
вселенская и мозговая
прошли насквозь,

где заживо ороговела
и одеревенела глуть,
но ржавая в крови каверна
проникла в луб, —

оттуда, из кромешной точки,
где все начала сведены,
забил таинственный источник,
ИЗ ГЛУБИНЫ.

1973

5

Из глубины земной, воздушной, водной,
сребрясь и восклубляясь голубым,
пусть разрастется пульс во мне сегодня
до огненных и духовых глубин.

Пусть он развалит время, раскрывая
у мига — немигающую высь...
Здесь — вечность человечится живая!
Мое мгновенье, здесь остановись,

где нестерпимо радуется рана,
где саднит, мною ставшая на треть,
та жалость о себе, что слишком рано,
а я готов, согласен умереть.

Не раз я был учён, молчу и знаю...
Но хочет за пределы и края
запутанная, всякая, земная,
вот эта жизнь, какая есть, моя.

И в толщах бытия куда мы денем
сей нужный возглас: — Человече, сгинь!
Пусть удами во мне трепещет демон,
но блудный сын свой путь уже проделал
в отцовскую чернеющую синь.

Август 1976

ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО

Предлагая вниманию читателей этот небольшой рассказик Софьи Николаевны Мотовиловой, прошу поверить мне, что толкнули меня на это не только родственные чувства. Младшая сестра моей матери, умершая в 1966 году, она прожила долгую и очень интересную жизнь. С кое-какими событиями этой жизни читатель может познакомиться, прочитав ее воспоминания «Минувшее» в № 12 «Нового мира» за 1963 год. Человек очень нелегкого характера, но редкой прямооты и смелосты, она не могла мириться с малейшими проявлениями несправедливосты и писала гневные письма в ЦК, Н. К. Крупской, В. П. Ногину, А. В. Луначарскому, с которыми была лично знакома, защищая невинно пострадавших людей в самые тяжелые годы. Всю жизнь она вела дневник — с шестнадцати лет, будучи школьницей в Швейцарии, до последнего дня своей жизни. Некоторые тетради во время немецкой оккупации погибли, но оставшееся бесконечно ценно, как свидетельство отнюдь не революционно, но весьма лево настроенной русской интеллигентной женщины, хорошо знавшей дореволюционную эмиграцию и пережившей четыре войны — русско-японскую, мировую, гражданскую и последнюю, с Гитлером, перенеся все ужасы оккупации.

«Предсмертное письмо», рассказ, хотя и вымышленный, во многом автобиографичен, и я не исключаю, что если не такое, то подобное письмо было в свое время послано человеку, которого она в молодости любила и от которого, когда он занял высокое положение, требовала ответа. В этом была вся тетя Соня — прямая, требовательная, бескомпромиссная.

В. Некрасов

Вадим!

Это я пишу тебе. Прочти. Я скоро умру, я это знаю, я слышала, как сказал доктор это соседке, слышала через свою диктовую перегородку.

Теперь важно заранее знать, кто когда умрет, ведь всем нужна жилплощадь.

Пришла девушка в красном платочке, с корзинкой в руках, заглянула ко мне. Ей сказали шепотом:

— Тише, тише. Она еще жива, но скоро умрет. Переждите это время у нас.

И девушка ждет за диктовой перегородкой и прислушивается, не начинается ли предсмертная агония.

Скоро, скоро, милая девушка, я умру и у вас будет жилплощадь. Я уже наполовину труп, я лежу опухшая от голода, вся покрытая вшами.

Это пятнадцатый год революции, той революции, которую мы так ждали с тобой, революции, которая должна была дать счастье всему человечеству...

Дима, милый, мне хочется последние часы, минуты моей жизни провести в беседе с тобой. Прости, ведь это в последний раз. Я любила тебя, Дима, я гордилась тобой.

Мне казалось особенно голубым небо, необычайно прекрасными серебристые облака, когда я думала о тебе. Я уходила в поле, мне хотелось траве, которая колышется в золотистой ржи, кричать: Вадим, Вадим.

Когда я слышала это имя, волна глубокой радости поднималась у меня в душе.

Не за то я любила тебя, что ты был красив, строен, умен и как-то необычайно заразительно весел, не за то... Я любила тебя, потому что считала, что нет никого лучше тебя, что ты герой, отдающий всю свою жизнь за счастье других. И когда из радостной, удачливой твоя жизнь становилась трагичной, я особенно глубоко любила тебя.

Помнишь свою первую ссылку в Сибирь? Я ходила, хлопотала о тебе, всюду мне говорили:

— Важный государственный преступник.

И я гордилась тобой.

Почти не было никаких преступлений у тебя, но что-то сильное, мощное было в тебе, нестигающееся, и каждый чувствовал, что ты «важный государственный преступник».

Твой приговор был: 10 лет Сибири. Мы с Ниной пришли провожать тебя. Был серый осенний день. Мы ждали у входа в пересыльную тюрьму, я с букетом чудных красных роз, Нина с целым снопом ярких хризантем. Тюремный офицер сказал:

— Вы бы лучше провизии принесли на дорогу, а к чему цветы...

Но я и Нина понимали: именно цветы.

Когда стали собирать эшелон, ты вошел первым своей легкой, упругой походкой, с высоко поднятой головой.

Вадим, за эту высоко поднятую голову, за глубокую веру в себя, в свою правоту я тебя любила.

Никакие тундры, тюрьмы не могли тебя сломить.

Это Сталин говорит: «Не всякому дано быть коммунистом». Да, не всякому дано. Тебе это было дано, Вадим.

Но я не люблю тебя, больше не люблю тебя, и это мне больнее всего. Ах, не потому я не люблю тебя, что я умираю, а потому, что так, как я, умирает масса людей, в жутких муках голода. Приезжал один знакомый из деревни, он говорил — вымирают в деревне все, нет сил хоронить, трупы бросают в погреба. Он привез кусок хлеба, который едят в деревне. Это не хлеб, а черный кусок, как лава Везувия. Ты, вы дали народу черный камень, лаву Везувия вместо хлеба, вы превратили людей в жалких ползающих рабов. Во имя счастья человечества вы сделали несчастными 160 миллионов населения нашей страны, неужели до тебя не доходят стоны этих 160-ти миллионов? Ты не слышишь, Вадим... ничего не слышишь?

Человек перестал быть человеком, это какое-то полуголодное, полуозверелое существо. Вот сейчас приоткрылась дверь, и заглянула девушка в красном платочке, а я все еще не умерла, все еще не освободила ей жилплощадь.

У меня путаются мысли. Это, верно, предсмертная агония: встают все образы далекого прошлого.

...Бал в мужской гимназии. Директором там мой отец, он такой важный, с бакенбардами. Вы его ужасно боялись. Не ты, не ты, конечно, ты никого не боялся.

Мы едем к вам на бал, в гимназию, на мне и Нине белые платья из легкого муслина, платья открытые, и у плеча приколоты цветы. Первый раз к нам пригласили парикмахера, он завил нам волосы локонами, у меня темные локоны, перевязанные белой лентой, у Нины золотой обруч.

У меня так ясно встает в памяти возок, в котором мы ехали. Запах духов Нининых и маминых — у Нины был ландыш, у мамы вереск, и их запах смешивался.

Мы подъезжаем к ярко освещенному зданию гимназии, лакей в ливрее с золотом, с бакенбардами, такой же важный на вид, как мой отец, распахивает дверцу возка. Мы быстро пробегаем в ярко освещенный вестибюль, нас раздевают тут.

Лестница наверх устлана мягким ковром и разукрашена пальмами в горшках. И вот среди пальм, на повороте лестницы, выглядываешь ты, в парадном мундире, с белыми перчатками в руках.

Вадим, как я любила тебя тогда, как чудесно было все, что ты говорил, думал, делал.

У меня и Нины полуоткрытые платья, шелковые белые чулки и из белой лайки туфли. У меня веер из слоновой кости, а у Нины из белых перьев.

Какой это был чудесный, яркий, веселый вечер.

Ты представлял нам всех своих товарищей, и все хотели танцевать с нами. Наши маленькие книжечки у пояса все были исписаны приглашениями на танцы.

А через два дня после этого бала вы, гимназисты, прислали мне похвальный лист. Помнишь, Димик? На нем были перечислены все барышни из общества, бывшие в гимназии, и всем им были поставлены отметки.

За красоту, за танцы, за поведение и проч. У Нины всё было круглое 12, но это было не высшее, выше всех была я. Я была провозглашена царицей, и во всех рубриках стояли только золотые черточки. У меня отобрали этот похвальный лист во время одного из обысков. Он показался подозрительным этим полуграмотным людям, которые обыскивали.

Помню, тогда этот лист больше обрадовал маму, чем меня, а мне всю жизнь нужна была даже не твоя любовь, а моя любовь к тебе, таким счастьем и радостью наполняла она меня всю жизнь.

Но я не люблю тебя, больше не люблю тебя.

Вспомним прошлое, далекое, далекое прошлое, чем дальше, тем лучше.

Мама тогда захотела вас отблагодарить за избрание меня царицей, мы поехали в лучший бакалейный магазин и закупили массу конфет, орехов, всяких сладостей, всё это упаковали в кульки из рогожи, и на извозчике приказчик из магазина повез это в ваш гимназический пансион. Я никогда не видала такой уймы сладостей сразу и всё спрашивала маму:

— Неужели они всё съедят?... — И мама смеялась и говорила:

— Это не наше дело, наше дело послать.

О, если бы хоть один из этих пряников, которые мы посылали вам тогда, я могла дать теперь мальчуганам, которые живут с двух сторон моей диктовой перегородки. С одной стороны это украинцы, и целый день ребенок их кричит:

— Мати, я їсти хочу!

С другой стороны это семья рабочего-еврея, и у него сын 6-ти лет, и целый день, я слышу, он поет:

— Я голодный, я голодный...

И иногда прибавляет:

— Я хочу есть то же, что и Рубины.

Рубины — это наши «паны» коммунисты. Он ходит в кожаном пальто, в новых калошах и в белых

перчатках из белой шерсти, она в котиковом пальто, всегда элегантная. Они проходят мимо нас и брезгливо сторонятся. Они презируют нас. На их двери висит два замка. У них много имущества, они боятся, чтобы голодная голытьба, которая окружает их, их не обворовала.

Во имя блага этих Рубиных делалась революция? Чтобы у него было кожаное, а у нее котиковое пальто, чтобы они могли есть каждый день апельсины из Торгсина? Голодный Изя прислушивается, и, когда мадам Рубина идет выкидывать сор в ведро, Изя ждет минутку, потом бежит в кухню, вытаскивает из ведра корки от апельсинов и грызет их. Его за это бранят, но он всегда голоден.

Вадим, отец этого ребенка рабочий, и мать его работница, а что же дала им революция? Обьедки Рубиных?

Знаешь, я видела тебя один раз после революции. Ты приезжал сюда читать какие-то лекции или речи. Ты должен был говорить для работников просвещения. Я пошла, я думала после лекции подойти к тебе. Когда ты вышел на эстраду, мое сердце забилося. Ты очень постарел, и не так уже упруга и легка была твоя походка. Ты говорил о наших достижениях. Тогда еще не было такого страшного голода, как теперь, но все же, Вадим, зачем эта ложь? Разве не достойнее было бы говорить о трудностях?

Тебя встретили аплодисментами. Я знала, эти аплодисменты относились не к тебе, а к твоему высокому посту. Ты — власть, и тебе хлопали рабы, рабы, которые надеются, что за их раболепие им перепадут какие-то крошки от тебя. Те же кожурки от апельсинов Рубиных.

Все находили, что ты говорил хорошо. Хорошо — это внешняя дикция, фразистость, все идет очень гладко, но внутреннее содержание... Его не было, почти не было.

Потом тебе послали записки. Президиум заволновался, один член президиума заявил, что ты очень занят, устал, что ты не можешь отвечать, но ты остановил его, сказав, что ты ответишь. Ты прочитывал для себя, а не вслух, и отвечал. Ведь это хитрость, ты не хотел, чтобы мы знали точно, что тебя спрашивали. Но из ответа на одну записку я поняла, тебя спрашивала одна учительница, что делать безработным. Ты сделал печальный вид и сказал, что знаешь о безработных среди просвещенцев (4000 безработных из Союза* были тогда в городе), знаешь наши муки голода, предвидишь наши муки холода (надвигалась зима), что многим придется уехать, другим переменить профессию, но надо напроць все силы и работать во всю, и в общем всё утрамбуется.

Да, ты сказал это странное слово «утрамбуется», точно мы не живые люди, а камни, которые надо утрамбовывать.

Я утрамбовалась, Вадим, я умираю. Умираю от голода... Но зачем я говорю о том, что было теперь? Мне хочется вспоминать прошлое, далекое, далекое прошлое...

Вот я гимназистка, и ты гимназист. Ты уговорил маму и папу отпустить нас к твоей бабушке в Полтавскую губернию.

Помнишь, милый? Маленькое купе второго класса, чистые чехлы, уютный фонарик, который завешивается синей занавеской. В купе нас четверо: Нина, я, Лелик и ты. Все мы молоды. Старшей, Нине, 16 лет. И нам так весело, что мы одни, без больших. Шутим, дурачимся, поем... Помнишь, ты побежал за кипятком в Курске и чуть не остался. О, Вадим, как я боялась за тебя. Ты бежал по платформе с чайником, а поезд уже ехал, я высунулась и кричала:

— Вадик, скорее, Вадик!

* Из профсоюза работников просвещения. — Прим. р е д.

А ты еще дурачился, делал глупо растерянный вид и будто ты не можешь нас догнать. Мы все на тебя сердились, поезд уходил, наконец, ты перестал дурачиться и легко вспрыгнул в какой-то из задних вагонов. Ну и досталось же тебе от нас, когда ты пришел... Но ты был такой милый, такой веселый... Эта дорога в одном купе нас всех так сблизила.

В час ночи мы приехали на станцию возле имения твоей бабушки. Мягкая, темная, теплая южная ночь. У выхода нас ждал лакей. Он вместе с носильщиком уложили наш багаж в просторный, удобный фазтон твоей бабушки. Помнишь, как ты нас насмешил, ты подошел и пожал руку кучеру. Нам казалось это ужасно. Разве здороваается кто-нибудь с кучером за руку! А ты сердился на нас, говорил, что у нас барские предрассудки и все люди равны. Помнишь, Вадик, любимый?

Ах, я забыла, что не люблю больше тебя и что не равны теперь люди для тебя, а все они разбиты на категории. Человек одной категории может получать два фунта хлеба, другой — фунт, третий — четверть фунта, а масса людей, всё крестьянство, ничего. Они должны умирать с голоду и умирают.

О, Вадим, как мог ты, такой хороший, чистый, стать таким? «Утрамбуется»... Гибнут, гибнут люди без конца, а ты сыт, доволен, говоришь только о достижениях.

Но забудем настоящее, пусть будет только прошлое, милое, светлое прошлое.

Фазтон твоей бабушки был запряжен четвериком лошадей. Это я первый раз видела четверик. У нас ездили парой или тройкой, а у вас, на Полтавщине, четвериком. По пыльной дороге, среди полей, мягко, на прекрасных рессорах, катился экипаж. Пахло ночью, распускающейся зеленью, и ночь была мягкая, теплая, черная и звезды большие.

О, как ты радовался, когда мы стали подъезжать, ты кричал:

— Видите пруд... Здесь ловят карасей, и мы будем кататься на лодке.

Лошади побежали скорее, залаяли собаки, и мы остановились перед каменным домом с колоннами. Нас выбежали встречать много девушек в малороссийских костюмах, босые, они тащили наши вещи, помогали нам вылезти. Ты выскочил первым и повис на шее у своей бабушки с криком:

— Бабушка, мы все приехали и нам так весело, так хорошо. — И твоя бабушка, полная, высокая дама, нежно, долго целовала тебя, а мы стояли в стороне, немного смущенные. Мы в первый раз видели твою бабушку.

Взглянув на нас, ты сейчас же поспешил нас представить своей бабушке. Мы сделали реверанс, как полагалось благовоспитанным барышням, а Лелик шаркнул ногой.

Какие чудесные дни потянулись, и как я любила тебя, как любила тебя!

Я не видела никогда более чуткого, милого, деликатного мальчика, чем ты. Ты был веселым и серьезным вместе. Каждое утро после завтрака ты уходил в кабинет и читал. Ты увлекался тогда Писаревым, страстно увлекался. Ты не умел ничего делать наполовину. И нам ты постоянно рассказывал, что читал у Писарева, и мы негодовали, особенно на его статью о Пушкине. Как ты сердился, когда Нина говорила:

— Твой Писарев такой же мальчишка, как ты сам.

Помнишь наши игры в крокет, в теннис? Ах, какой ты чудесный был, когда играл в теннис. Гибкий, стройный, быстрый, веселый...

Это в аллее из тополей, когда мы вечером шли с тобой, ты сказал, что любишь меня и на всю жизнь. Я сказала:

— И я, Вадик, на всю жизнь.

Но сейчас я не люблю тебя больше, не люблю тебя.

Другое. Вспомним другое. Папа был уже в отставке. Мы купили небольшой дом с садом, на окраине города. Нина была уже замужем. Мне было девятнадцать, Лелику семнадцать лет. Лелик работал в какой-то нелегальной организации, и вот однажды он пришел ко мне и сказал:

— Знаешь, здесь Вадим. Он нелегальный, он хотел бы видеть тебя.

Я покраснела от радости. Я знала, что ты был в Сибири и бежал оттуда, но ты мне не писал.

Ты подъехал как-то в лодке к нашему саду, и мы долго бродили по темным аллеям сада, а Лелик сторожил, чтобы никто не заметил моего отсутствия и чтобы вовремя меня позвать. Ты рассказывал мне о своей жизни, полной опасностей, о тюрьме, ссылке в Сибирь, о том, как бежал, как жил за границей, о работе там, о многом. Ты влюблен был тогда в Ленина, и я немного ревновала тебя к нему. Ты говорил о нем, как будто он был недостижимый идеал, выше всего. Ты как-то всегда слишком увлекался.

Один вечер ты был озабоченный и грустный и, когда я расспрашивала тебя, сказал, что не знаешь, куда спрятать привезенный транспорт. Это была «Заря» и «Искра», ты их привез из-за границы.

— Вадик, дай спрячу я у себя, — предложила я.

Ты улыбнулся.

— Но журналов очень много, и я не хочу без согласия твоей мамы. Ведь это не твой дом.

Я сказала: — Я спрошу маму.

Ты задумался минуту, потом ответил: — Спроси.

Ты ждал меня в тени сада, а я вбежала на балкон и в мамину комнату. Так ярко встает у меня в воспоминании уютная мамина комната, в хрустальной вазе цветы. Мама в светлом капоте с кружевами, мягкая,

ласковая, с блюда, где разложены в соку абрикосы, перекладывает их в банку.

Мама улыбнулась мне и говорит: — Ася, попробуй, какое хорошее вышло варенье, вот оно еще лучше будет — абрикосы нальются соком.

Я говорю: — Мама, мне не до варенья, я что-то важное должна тебе сказать.

И я рассказала, что ты тут, что тебе надо спрятать твой транспорт.

Мама не удивлена, она, оказывается, знает, что ты приходишь ко мне. Она спокойно говорит:

— Пусть Вадим привезет и положит в ларь в беседке, там всегда висит замок.

Я целую маму, такую добрую, ласковую всегда. И мама говорит:

— Возьми в вазочку варенья и коржиков и угости Вадима. Как жаль, что он не может бывать у нас.

Я боялась, что ты рассердишься, что я в такой серьезный момент говорю об абрикосах, но, Вадим, я никогда не видала, чтобы ты сердился. Ты был проникнут радостью, бодростью, веселием, ты был такой особенный, что не мог ты сердиться. Да... мы сидели в аллее, смеялись, шутили, ели абрикосовое варенье...

Через два дня ты привез транспорт, мы его спрятали в беседке, а еще через два дня ты был арестован.

Отец и слушать не хотел, чтобы я ходила к тебе, и тебя скоро увезли в Петербург.

Как я страдала, как горевала о тебе, Вадим, как готова была всё-всё сделать для тебя!

Вадя, милый, я устала. Я так долго писала тебе. Зачем я это делаю, зачем?... У тебя был мой образ тоненькой, хрупкой девочки, потом уже девушкой последний раз ты видел меня, когда мне было 22 года, я была стройной, высокой, красиво одетой, радостной. Зачем же я хочу затемнить для тебя этот образ и показать себя полутрупом, желтой, худой, покрытой

вшами, умирающей от хронического голодания?.. Я делаю это сознательно, ты должен, Вадик, это понять. Вы хотели дать счастье человечеству и, вместо счастья, дали муки, голод, смерть. Вы погасили краски, вы уничтожили праздники, нет ярких елок, вокруг которых пляшут дети, нет масляной с тройками, нет белых домов, утопающих в зелени, старых дворянских гнезд, где так уютно и хорошо жилось, как у твоей бабушки, нет подвига, красивого подвига, как твоя жизнь в подполье, ничего нет. Есть голод, будни и смерть. И люди все стали мелкие, маленькие, все одинаковые, и все они стоят в очередях, вечно в очередях. И здесь они кричат и ругаются, и кто сильнее, отталкивает того, кто слаб. Люди глумятся над старостью, над слабостью и больше всего над честностью, кто честен, тот дурак, сколько раз я это слышала в очереди. Вадик, такими вы сделали людей. Бандиты или персонажи из рассказов Зощенко, мелкие, плоские мещане, и больше никого, никого...

Мне принесла соседка тарелку супа. Это работница, мать того Изи, который вечно голоден.

— А Изя? — спросила я.

Она улыбнулась и сказала:

— Изя уже ел. Он хорошо поел сегодня. Был сильный дождь и, возвращаясь с работы, я нашла в луже во дворе утонувшего цыпленка, я взяла его и дала Изе. А это суп, хватит и вам.

И Изя заглянул в дверь и крикнул:

— Тетя, кушай суп, я уже съел цыпу.

Ну, что же, и людям иногда повезет, цыплята тонут в лужах. Это смешно, и страшно, и если бы ты видел, какая она замученная, Изина мать.

Мне хочется вспомнить нашу последнюю встречу с тобой, Вадик. Ты помнишь ее, помнишь, конечно? Мне хочется пережить ее всю, всю со всеми мело-

чами. Это была моя последняя радость, больше радости не было.

Я жила с папой и мамой в Уши, у самого берега озера, внизу в Лозанне. Мы жили в гостинице Бо Риваж. Это одна из стариннейших и лучших гостиниц в Швейцарии.

Дом стоит в саду, у него нет традиционных колонн, но он все же мне напоминает помещичьи усадьбы. И у самого сада озеро, голубое-голубое, а за ним горы в лиловой дымке.

Папа отдыхал после долгой трудовой жизни, и мама отдыхала, не было ни забот, ни хлопот, как бывало дома, жизнь была такая ровная, тихая, тихая.

Мы занимали три комнаты во втором этаже. Папина, наша с мамой и маленькая гостиная. Сюда мы приходили после табль-д'ота, и тут был рояль, я играла по вечерам и пела, а мама и папа сидели и раскладывали пасьянс. Из окон виднелось озеро и огоньки Эвиана на той стороне.

Иногда вечером заходил к нам балтийский барон Менгден. Длинный, скучный, с глазами, как студень, холодными, неподвижными, синевато-серыми, он был корректен с ног до головы и скучен, ах, как скучен! Но зато он был прекрасный музыкант, он аккомпанировал мне, а я пела, и иногда мы играли в четыре руки.

В тот день мы, как всегда после обеда, шли прогуляться вдоль озера, по набережной Уши. Папа и мама шли сзади, папа, как всегда, такой важный, с распушенными седеющими бакенбардами, с палкой с верхом из слоновой кости и золота. Он вел под руку маму, полную, нарядную, как полагалось в ее возрасте, мама шла легкой и медленной дамской походкой. А я зашла вперед и с любовью и нежностью оборачивалась на моих стариков и думала:

— Какая прекрасная старость!

Они прожили всю жизнь, глубоко любя друг друга, и вся наша семья была такая дружная, точно между всеми нами светилась любовь.

Я шла впереди, я была вся в белом, в белом платье из швейцарских вышивок. Я любила его... платье... В годы голода я его продала, мне было больно его продавать, с ним было связано столько радости, тот день... И маленькую золотую брошку с рубином, которую я так любила, я тоже продала... Продала тогда, когда убили Лелика и надо было ехать узнать об этом. Ты знал, что Лелик убит? Не знал, наверное. И папа убит, расстрелян. Кому это нужно было, зачем расстреливать 76-летнего старика? Зачем убивать юношу Лелика?

Вы жестоки, бессмысленно жестоки, Вадим. И мне казалось иногда, что ты знал про эти два убийства и боялся писать мне. Да, вы создали страшную, жестокую жизнь, Вадим, ты в крови, весь в крови и не замечаешь этого. Я никогда не помню, чтобы ты кого-нибудь обидел, сделал больно, такой бережный, чуткий ты был. Как же ты живешь теперь?

Но забудем, забудем эти годы голода, смерти, ужаса. Их не было, точно их не было!

Я хочу вспомнить прошлое, тот голубой день на берегу озера, дымку, горы. Настоящее бросает на прошлое свою серо-красную тень. Убери, Вадик, убери эту тень, пусть этого не было! Я брежу немного, у меня путаются мысли. Прости меня.

Да, это было тогда в Лозанне, Уши... Я шла по набережной, я несла в руках бумажный мешок с булочками. Мы покупали их у Бильзера, — это булочная на спуске из Лозанны в Уши, мама любила его, — *petits pains au lait*, мы их брали с собой на прогулки, булочки в розовом мешочке и шоколад. Этот мешочек я сохранила до сих пор, как реликвию... Его ведь я продать не могла.

Я крошила булочки и бросала их в озеро, и белые чайки белыми пятнами спускались на них, расправляя свои длинные белые крылья.

Я шла улыбаясь чему-то и думая: и я, как чайка, вся белая. Озеро было такое гладкое, голубое. Когда я была одна, я напевала:

Oh, bleu Léman, toujours le même
Bleu miroir du bleu firmament,
Plus on te voit et plus on t'aime.
Oh, bleu Léman!

Тихо-тихо про себя мурлыкала. Как-то радостно, радостно было на душе. Я глядела внимательно на какую-то лодочку, как вдруг я услышала голос, самый милый, дорогой голос в мире, твой голос, Вадим. Ты сказал:

— Ася, ты здесь?

Я подняла на тебя глаза и вся покраснела от радости. Ты глядел на меня внимательно, твои глаза сияли, только у тебя так сияют глаза. Потом ты взял мои руки, обе руки, и ту, в которой был розовый мешочек с булочками, и поцеловал мои руки. Мне хотелось расплакаться от радости, но, чтобы скрыть это, я улыбнулась и стала бросать крошки чайкам.

— Ася, — сказал ты, — какое счастье, что я тебя встретил. Ты еще похорошела. Но скажи, какими судьбами ты здесь, в Лозанне?

Я сказала:

— Папа и мама здесь со мной, идем к ним.

Ты сказал взволнованно:

— Нет, еще минутку постоим тут вдвоем. Я что-то хочу спросить тебя.

Я подняла на тебя глаза. Ты спросил тихо:

— Ася, ты по-прежнему любишь меня?

Я ответила:

— По-прежнему и навсегда.

Разве я могла думать тогда, что произойдет то, что происходит теперь, что может быть столько горя и жестокости!

Мы шли с тобой рядом. Высокие и стройные оба. Прости, что я про себя говорю. Теперь я такая уродина, такая страшная, что можно мне вспомнить, какой стройной, красивой я была тогда, в 22 года. И я была так счастлива, так счастлива.

— Мама, папа... — кричала я издали. — Кого я вам веду, угадайте. — Ты поздоровался с мамой и папой. Я сразу поняла, что мама испугалась, из-за папы, конечно. Папа не любил революционеров. И папа насторожился, сдержанно поздоровался с тобой и тотчас своим начальническим тоном стал расспрашивать тебя, почему ты в Лозанне, что ты тут делаешь, где служишь. Папа считал, что все мужчины должны служить. Тебе приходилось изворачиваться, Вадик, но ты это делал так весело, шутливо, и так искрились смехом твои глаза, когда ты взглядывал на меня. Я никогда, никогда больше не была так счастлива, как в это время после обеда в Уши. Самые любимые люди были со мной: мама, папа, ты. Я видела, я чувствовала, что ты любишь меня. Поэтому-то я и берегу розовый мешочек в воспоминание о самом радостном дне моей жизни.

Наши звали тебя зайти к нам поужинать. Ты сказал, что ты проездом в Лозанне, и у тебя только горный костюм, и ты никак не можешь прийти за табльд'от фешенебельного отеля. Я посмотрела на тебя. Ты был в горном костюме, в чулках, и костюм был поношенный, но такой стройный, изящный, как всегда ты в нем был. Теперь ты не такой уже, не такой. Когда мы прощались, ты пожал мне руку и сказал мне шепотом:

— Ася, люблю тебя не по-прежнему, а глубже, больше.

На следующее утро день был серый. Мы пошли с

мамой за покупками в Лозанну. Мы выходили из сада Бо Риваж, когда ты встал с лавочки и подошел к нам. У тебя был утомленный вид.

Мама сказала:

— Я зайду в магазин, а вы идите к фуникулеру.

Мы пошли с тобой. Ты рассказывал мне, что всю ночь ты просидел на лавочке, так тебе хотелось видеть меня. Ты говорил, что должен на следующий день ехать в Женеву и просил меня поехать с тобой. Ты рассказывал о партии, о своей работе, о Плеханове, о Ленине — теперь я не помню ничего. Помню, что не было уже радости первой встречи, было почему-то грустно.

Вместо того, чтобы идти за покупками, мы пошли на Монбенон. Мама села на лавочке, а мы бродили с тобой возле маленького прудка, где плавали белые лебеди. Я больше молчала. Ты спросил:

— Ася, ты бросила бы маму и папу, чтобы жить со мной и делить все трудности моей жизни революционера?

Я сказала тихо:

— Нет, Вадик, никогда. Это было бы слишком большое горе для папы.

Ты задумался, мы шли молча по дорожке, хрустел гравий под ногами. Я сознавала, что причиняю тебе боль. По серому небу ползли черные тучи.

Ты поднял голову и сказал:

— Да, так лучше. Революционер должен быть свободен, от самого дорогого надо отказаться во имя революции, и от любви. Счастье не для нас, счастливы будут люди, пришедшие после нас. — Потом ты стал звать меня в Женеву, на два-три дня, до твоего отъезда в Россию. Мы подошли переговорить об этом с мамой. Мама сказала, что постарается уладить все с папой и поедет на два-три дня со мной в Женеву.

Вечером ты читал какой-то реферат и очень просил меня прийти. Папа узнал содержание твоего

реферата, нахмурился, рассердился и меня не пустил. Но в Женеву мы поехали будто бы осмотреть ее и купить какой-то особый бархат маме на платье. Это был предлог. Ехали пароходом. Моросил дождь. Мы кутались в наши накидки и бродили с тобой вдоль палубы. Не было видно гор вокруг, стоял большой туман. Я знала, что на днях ты поедешь на опасную борьбу, что тебя ждет тюрьма, ссылка, может быть, смерть. Во мне было чувство молитвенного восторга перед тобой. Ты был грустен в этот день, вернее задумчив. Дальше, дальше я ничего не помню... Женева, какой-то пансион, где было много русских. По вечерам рефераты, толпа какой-то чужой мне по духу, по всему публики.

Ленин, Плеханов... Ты будешь сердиться, но я их не заметила. Что-то говорили, мне было скучно. Какой Ленин? — не знаю, человек невысокого роста, незначительный. Всё. Не сердись на меня, Вадик, это всё, что я видела.

Через три дня мы ехали назад в Лозанну, ты провожал нас на вокзале. Ни ты, ни я не думали тогда, что расстаемся навсегда.

Прости, Вадик, и это письмо прости.

Твоя Ася

Весна — сентябрь 1933
Киев

СТИХИ

Перевод с польского Н. Горбаневской

ЭТО СЕРДЦЕ МОЕ ТАК КОЛОТИТСЯ

Колочусь в двери моей страны
в двери родины
забитые наглухо

моя родина не хочет стать матерью
хочет вечно остаться беременной

сердце бедняка
закрыто нищему

ТИХО

Тихо, ша, короед-типограф,

цензор пишет
о свободе слова.

РАЗРЯДКА

Ровно тогда, когда передовой рогатый скот
передовой государственной фермы
осматривал экскурсию наших выдающихся творцов
а дружественные облака
нарушали воздушное пространство
нашего нового света,

ровно тогда, когда по всему свету
нашей планеты Фантасмагории начиналась разрядка,
художники трудолюбиво днем и ночью
замазывали старые вывески
и напряженная как щеки Будды кожа нашего старого
света

расслаблялась границы сверхдержав искали
местечка поудобней
полуденные племена пробуждались в полночь
и говорили как во сне новыми наречьями

ровно тогда, когда всё было возможно
огромная глушилка заглушала сигналы
несуществующих цивилизаций
а сирена скорой помощи
на две неприлегающие части разрезала город,
ровно тогда на подоконник моего окна,
мое окно всего лишь литературный образ,
упала дождевая капля
и разлетелась в брызги как неидентифицированный
летающий объект
и понапрасну я силился объяснить ее команде
на чем основано отличие наших органов зрения,
слуха, осязания, вкуса, мышления и обоняния

НАША ЖИЗНЬ ВЫРАСТАЕТ

Наша жизнь вырастает, как тревога, как то, что
не забито, но забыто в любовном объятьи,
наша жизнь вырастает, как очередь за картошкой;

наша жизнь вырастает, как трава, пыль и шашель,
как паучья сеть, как плесень, как иней,
наша жизнь вырастает безжалостно, как смех и
кашель;

ее не остановят войны, перемирия, переговоры,
Лига Наций, разрядка, железный занавес,
перемены климата, ООН, холодная война,
тайное рабство, тотальный прогресс, открытая
тирания,
чванство черных лимузинов и бездушных судей,
ослепление людей, слепота природы,
гонка вооружений, соперничество химер, измена,
гонка поколений, застывшие пейзажи, иссыхающие
родники,
слуги бесчестия, подданные ничтожества,
потерянные вещи, пластмассовые мечты,
ядовитые газеты, пересадки сердца,
тайная дипломатия, открытая ложь,
издевательство над всем, что нам дорого,
загрязнение атмосферы и землетрясения;

наша жизнь вырастает неудержимо, на пепелищах
и сквозь самый глубокий сон,
выше нас, возле нас и сквозь нас, когда каждый из нас
ее блудный сын,
наша жизнь вырастает, как скрытый рост цен,
открытая инфляция и спекуляция,
как кровавое давление, тирания научной фантастики,
надежда,
как боязнь опоздать на работу и опасность взглянуть
в глаза;

наша жизнь вырастает, как голод и холод,
наша жизнь вырастает, как деревья и звери,
но не вырастает, как ненависть и жажда
отмщения или мести,
и даже когда не знает, чего она хочет,
наша жизнь хочет жить,
как человек.

ЧТО ЗА СЧАСТЬЕ

Что за счастье: двое уцелевших из Ниневии,
из Помпеи, из дрогобычского гетто,
мы встречаемся на центральном вокзале,
построенном на прахе, вздохе, пепле мертвых,
убитых, безымянных, без вести пропавших,
и вспоминаем наши мертвые,
убитые, безвестные и безымянные дела,
бессмертье неба и мертвизну пейзажа,
свободу, равенство и братство, сострадание, сочувствие,
терпимость,
в дырявый саван воздуха наскоро закутанный дым,
порханье горелой бумаги, призраки писем и книг,
восходящие с веяньем всё выше и дальше,
пересекающие все границы смертоносные, бесчеловечные
и текучие,
привидения сожженных книг, рассыпающихся только
тронь,
привидения наших прежних и новых, живых палачей
и мертвых,
и вспоминаем наших старых учителей
и девушек, живущих только в нашем сердце,
и немолкнущий цокот их каблучков
за призрачными окнами.

КАЗАЛОСЬ

А уже казалось, что целая Польша
наберет полон рот воды

и снова будет от моря до моря.

КРИНИЦКИЙ Рышард — род. в 1943 г. в Австрии, с 1945 г. живет в Польше, окончил факультет польской филологии Познанского университета, издал в Польше три сборника стихотворений, частично искаленные цензурой; в связи с участием в ряде акций протеста подвергся почти полному цензурному запрету и теперь печатается только в некоторых католических изданиях; опубликовал циклы стихов в 1-м и 2-м выпусках самиздатского литературного сборника «Запис»; живет в Познани, работает библиотекарем.



Издательство «ПОСЕВ»

Александр ГАЛИЧ

ПОКОЛЕНИЕ ОБРЕЧЕННЫХ. Сборник стихов

Карманный формат. 3-е испр. изд. 1975 г. 304 стр. Цена — 17.70 н.м.

КОГДА Я ВЕРНУСЬ. Второй сборник стихов

Карманный формат. 1977 г. 112 стр. Цена — 13 н.м.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ

История запрещения постановки пьесы А. Галича «Матросская тишина».

Карманный формат. 1974 г. 250 стр. Цена — 16.50 н.м.

КРИК ШЕПОТОМ. Долгоиграющая пластинка (стерео) и кассета с 12 песнями А. Галича, исполненными им под аккомпанемент музыкального трио. К пластинке приложен текст песен и их перевод на английский язык.

Цена пластинки (с текстом) или кассеты (без текста) — 25 н.м.

Во всех русских книжных магазинах и непосредственно в издательстве «ПОСЕВ» —

**POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt/ Main-80**

Требуйте наш каталог!

МАМА МОЯ, МАМА...

Лирико-публицистическое исследование

8. 46-Й СТУЛ — ТВОЙ!

И возникли у меня сомнения...

А прав ли я, когда взваливаю вину на вас — на Ефремова, Никовского, старика Дурдуковского, молодого вождя Павлушкова? Ведь героизма требую — не так ли? От кого, от вас, от сорока пяти, отобранных на процесс Горожаниным, — податливых, отделенных от тех, кто оказались потверже? Да, от вас. Ведь могли же вы — Ефремов, Дурдуковский, Никовский — ваши полсотни и больше прожитых лет уже с вами, их уже не отобрать у вас, — могли вы встать против лжи и крикнуть в зал правду? Могли!

А. И. Солженицын пишет в «Архипелаге»:

«Одни еще надеются на благополучный исход и криком своим боятся его нарушить... Другие еще не дозрели до тех понятий, которые слагаются в крик в толпе. Ведь это только у революционера его лозунги на губах и сами рвутся наружу, а откуда они у смиренного, ни в чем не замешанного обывателя? он просто *не знает, что ему кричать*».

Обыватели? Нет, не согласен. Вы — знали, что кричать, у вас, у каждого, была своя идея, своя любовь и ненависть. Не борцы? Да, вы не борцы. Залезли в свои норы — научные, педагогические, медицинские? Пожалуй. И все же — не обыватели, кото-

Окончание. Начало см.: «Континент», №№ 11 — 14.

рые, по выражению того же В. Маяковского, «нас обувайте вы — и мы уже за вашу власть».

Автор «Архипелага» прослеживает, как шли подсудимые к признанию своей несуществующей вины. К коммунисту-подсудимому обращался коммунист-прокурор:

— Я считаю вас коммунистом. Я не сомневаюсь в вашей невиновности. Но наш с вами партийный долг — провести этот процесс... Прошу вас всячески помогать, идти навстречу следствию.

И обещал коммунист. И не смел уже устроить на суде мировой скандал («это будет удар в спину Советской власти») и играл свою обещанную вдохновенную роль.

Так то — коммунист, охваченный «партийной преданностью». От наших же подсудимых таковой преданностью и не пахло, презирали они ее.

Тогда — что же? А вот оно, еще «Архипелаг»:

«Как их обработать? А так: вы жить хотите?

(Кто для себя не хочет, тот для детей, для внуков.) Вы понимаете, что расстрелять вас, не выходя из двора ГПУ, уже ничего не стоит? Но и нам, и вам выгоднее, если вы сыграете некоторый спектакль, текст которого вы сами же и напишете... Выступать вам будет неприятно, позорно — надо перетерпеть! Ведь жить дороже!

...Но уж только выполните все наши условия до последнего!..

...И подсудимые выполняют все условия...»

Но как же назвать после этого подсудимых? Как, читатель? Трусами? Предателями? Да, трусами и предателями.

В другом месте книги, перечислив «некоторые простейшие приемы, которые сламывают волю и личность арестанта» (т. е. пытки и издевательства), Солженицын восклицает:

— Брат мой! Не осуди тех, кто так попал, кто оказался слаб и подписал лишнее... Не кинь в них камень.

Не гоже кинуть, не гоже осудить. И не пускаюсь в рассуждения: если пытали — одно дело, нет — иное. Не в этом суть.

И все-таки...

ЧТО ЖЕ ВЫ НАДЕЛАЛИ, РЕБЯТА? КАК ВЫ МОГЛИ?

Что вы наделали, свидетель Николай Зеров — поэт, ученый, полиглот, выдающийся мозг украинского литературоведения? Зерова привлекли в качестве свидетеля (точнее — эксперта), чтобы дал он *объективную* оценку деятельности «литературного салона» Старицкой-Черняховской и писателя Ивченка (и она, и он сидят на скамье подсудимых). Знает Зеров, какой оценки от него ждут, было ему прямо о том сказано. Но в зале оперы, перед тысячами глаз попытался он остаться честным — стал давать обтекаемые оценки. Тогда прокурор Ахматов прикрикнул на него:

— Говорите прямо: контрреволюционная деятельность или нет? Да — или нет?

— Да.

А обстановка в зале — веселая. И не только в зале, но и за кулисами: прокуроры, подсудимые, защита работают дружно, споро, с полным взаимопониманием и взаимодоверием. На всякий случай каждого подсудимого провожает, конечно, в клозет вохровец при штыке, но атмосфера за кулисами настолько простецкая, что Андрей Никовский, журналист и художник, с помощью близсидящих на скамье коллег даже журналчик выпускает, эдакий самиздатский орган, который ходит по рукам между заключенными, следователями-прокурорами, защитой и членами суда. Объединенный эдакий орган прокуратуры, суда и подсудимых. И вот после выступления свидетеля-эксперта Н. Зерова в очередном номере появляется карикатура. Стоят Зеров и Максим Рыльский, они были большие друзья; позади них — загородка вокруг подсудимых, сидят голубчики, и один стул — сорок шестой (помни-

те? — говорили мы прежде, что всего подсудимых было сорок пять, но зачем-то стоял 46-й стул) — один стул свободен. И подпись под карикатурой поясняет:

— Как же ты мог, Микола? — спрашивает Рыльский у Зерова.

И тот отвечает:

— Понимаешь, Максим, все время лез мне в глаза тот свободный стул, и не мог я отделаться от мысли, что он поставлен для меня...

Николая Константиновича Зерова посадили в 36-м. В лагере в Соловках в день пушкинского юбилея 29 января 1937 года (100-летие смерти громко отмечалось всем нашим любящим Пушкина народом, обретшим воспетую поэтом свободу-вольность) Николай Зеров провел великолепный вечер, посвященный Александру Сергеевичу. Рассказал зекам о жизни поэта, о его мечтах и делах. А потом перед затаившими дыхание политическими и уголовниками наизусть прочитал всего «Онегина»... На волю Н. К. Зеров не вернулся*.

46-й стул... Читатель, представь его себе, этот свободный стул, никем *еще* не занятый, но уже кого-то ждущий... Представь его себе, разгляди его там за загородкой. А? Ведь каждый сидящий в зале харьковской оперы примеривал к нему свой зад! Не правда ли? Ты разве не примерил бы? Уже примерил, не так ли?..

О судьбе участников суда-следствия по делу СВУ мы уже говорили. Намного раньше их подопечных казнены советской властью следователи Бруки, Броне-вые, Грозные, покатались в яму Балицкий, Михайлик и прочие, уничтожены прокуроры Ахматов, Быструков, Якимишин, за малым исключением погублена защита, сгинул председатель суда Приходько. Застре-

* Попутно: первым переводчиком «Евгения Онегина» на украинский язык был Владимир Александрович Щепотьев, подсудимый по делу СВУ, профессор из Полтавы.

лился в 37-м московский дирижер Горожанин, когда потянулась к его горлу лапа коллег-чекистов. Об Одинце мы знаем. Пора сказать и о блистательном общественном обвинителе Панасе Любченко. В ночь на 30 августа 1937 года Панас Петрович вырвался в одной белой рубашке с заседания ЦК компартии Украины. Был он в то время не более и не менее как главой правительства УССР, председателем Совнаркома Украины, знай наших!.. Так вот, вырвался в одной рубашке, вскочил в свою машину и помчался к себе домой якобы за важными какими-то бумажками. Вбежал в дом-особняк на улице Ленина возле велотрека — и ночную тишину прорезали три пистолетных выстрела: жену, сына, себя*.

Общественный обвинитель, писатель Алексей Андреевич Слисаренко («вы судите здесь не интеллигентов, не профессоров и академиков, как об этом кричат фашисты всего мира, а агентов кулака, помещика и попа») — сел и 3.XI.1937 года уничтожен. Один только участник расправы, общественный обвинитель академик Соколовский Алексей Никанорович (призывал «забить окончательно осиновый кол на этом трупе!») — тоже сын священника — дожил до 1959 года и умер в своей нормальной старости кавалером двух орденов Ленина.

Ты думаешь, мой читатель, процесс СВУ — холмик среди равнины ровная, взрыв среди общей тиши-

* Самоубийство Любченка обросло многими легендами. Мне довелось слышать несколько. Будто застрелил старшую дочь и жену, а младшую оставил жить — патронов было, мол, только три. Будто сына не убил, поскольку тот ушел из дому на прогулку, и было это не ночью, а днем, и приехал не с заседания, а просто в перерыв. Что стрелял не дома, а в автомобиле: пригласил жену покататься и пристрелил уж заодно и шофера. Будто стрелял и в сына, но промазал, сын, десятилетний пацан (на самом деле было ему около пятнадцати), попал в Броварский тюрпод (разночтение слова «торпод» — тюремный подотдел), знаменитый своими пытками, и там рыдал: «Папочка, почему ты промахнулся, почему не убил меня!»

глади и могутного роста нашей чудно-прекрасной страны? Редкость — процесс СВУ и нетипичное явление? Ой, не думай так, мой дорогой читатель. Вот тебе только данные газет и только за тот период, когда освещался в них, в газетах, процесс СВУ, за март-апрель 1930 года.

«Правда», 11 марта:

«Органы ГПУ Украины, прошедшие большую школу борьбы с контрреволюцией, еще три года назад нащупали и арестовали... так называемую «мужицкую партию».

На протяжении второй половины апреля центральная пресса изо дня в день освещает «Дело служащих акционерного общества Лена-Гольдфильс» — Колясникова, Муромцева, Рябова — де Рибон и прочих по обвинению в шпионаже и вредительстве. Но Лена — это ж далеко, это Сибирь, Бог с ней.

«Правда», 11 апреля.

На пятой странице сверху — «СВУ», «Украинские революционеры перед Советским судом», речь общественного обвинителя тов. Любченка; а чуть ниже —

ВРЕДИТЕЛИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ УКРАИНЫ

Крупный заговор, страшное вредительство, множество участников — и все в чинах, при званиях. И все — все до единого! — дружно признаются в злом вредительстве, в антисоветской подрывной деятельности! Все — Кричевский, Михлин, Роговский, Травянненко, Касман, Тренев, Шур.

«Известия», 19 марта:

РАСКРЫТИЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА УКРАИНЕ

«В течение ряда лет группа контрреволюционеров вела вредительскую работу в Наркомземе и других учреждениях УССР, всемерно укрепляла позиции кулачества и стремилась направить сельское хозяйство Украины по капиталистическому пути».

Называются имена профессоров, занимавших командные должности: Сябро, Обдула-Абдулевский, Центулович, Степаненко*, Емельяненко, Коваленко, Резников. И все они — из кулаков, из помещиков, из офицеров.

«Они хотели использовать Наркомзем для хозяйственного укрепления кулака...

...курсы Наркомзема были использованы вредительской организацией для подготовки вредительских кадров...

...крепкое фермерское хозяйство должно было оформиться как класс мелких собственников-буржуа...»

И все эти враги — не думайте! — единый фронт, их организации тесно спаяны и взаимосвязаны:

«Вредителей в сельском хозяйстве нельзя брать изолированно от вредителей в промышленности и недавно раскрытой контрреволюционной организации «Спилка вызволения Украины».

Все они являются представителями буржуазной интеллигенции, заклятыми врагами коммунистической партии и социалистического строительства. Если вредители Донбасса были непосредственными агентами русского и иностранного промышленного и финансового капитала, боролись за возврат прежним владельцам рудников и заводов, если «СВУ» является организацией украинского буржуазного шовинизма, петлюровщины и гетманщины, то контрреволюционная организация в сельском хозяйстве была агентурой кулака и помещика... Вредители в сельском хозяйстве искривляли линию советской власти, помогая кулачеству, «СВУ» политически оформляло его требования».

И опять — имена крупных деятелей: Гурский, Колесников, Шустов, Коваленко, Падалка, Марченко, профессор Батыренко, работники киевской опытной

* Степаненко... Не Аркадий ли Степанович Степаненко — отчим моей мамы, второй муж моей бабушки Ольги Григорьевны Собко? Аркадия Степановича судили и сослали году где-то в 1928-м в Архангельск, бабушка Ольга Григорьевна поехала вслед за ним, но потом уже там, в Архангельске, его досудили и закатали куда-то навеки. Нет, это не тот Степаненко. Тот был, насколько я помню, крупным финансистом.

станции — Дибольд и Мациевич. И все — каются, все признают себя врагами народа, антисоветчиками, мерзавцами без чести и совести. Вот «Правда» от 20 марта, статья

ВИНОВНИКИ ГИБЕЛИ ПОСЕВОВ

«Обвиняемые признаются в том, что ими «выведенные сорта озимых не обладали одним из важнейших качеств — зимостойкостью, и, ничем не перестрахованные, погибли в бесснежную зиму 1927-28 года».

А как же их перестраховать? Не могли озимые не вымерзнуть в бесснежную зиму — до сих пор, сколько ни бьются селекционеры, вымерзают: как остынет почва, снегом не укрытая, ниже 18,5 по С — так и умерло проросшее зернышко.

«Самым преступным, заведомо наносящим ущерб сельскому хозяйству явлением я считаю внедрение в сельские массы петкусской ржи... Эта рожь давала меньший урожай, по сравнению с местными крестьянскими сортами ржи, на 82—164 кг на гектар. Однако, зная об этом, я распространял эту рожь. Посевматериалы этой ржи получали бедняки и середняки».

Я не специалист, о петкусской ржи ничего не знаю. Но скажите, что это за аптекарский подсчет — меньше на 82—164 кг? Это привычным языком — от 1 до 1,5 центнеров? При средней положенной урожайности в 20—25 центнеров с га? И это преступление? Ой, опять смех в зале.

Или такое признание:

«Чтобы припрятать ценные частновладельческие (бывшие частновладельческие, что ли? — Г. С.) лесные участки и уберечь их от эксплуатации (т. е. от порубки. — Г. С.), мы всеми способами старались сберечь их под флагом заповедников, добивались этого в Главнауке, Всеукраинской академии наук и т. д.».

Так молодцы же, спасибо, что сохраняли природные богатства! Нет, оказывается, преступление: не рубили лес бывших господ, прятали его под видом за-

поведников на тот случай, если господа вернутся!

И во всей этой чуши профессора Батыренко, Гурский и Обдула-Абдулевский признались и приговоры свои скрепили собственными подписями. Для своего расстрела сами подают патроны.

ДА ЧТО ЖЕ ВЫ, РЕБЯТА? КАК ЖЕ ТАК?

Это — только из газет за март-апрель, дорогой мой читатель, а в газетах далеко не обо всех процессах писали, ох, не обо всех.

Если же спросишь Ты, читатель, почетное ли место занимает дело СВУ в истории советского террора вообще, за все периоды от Великого Октября, то раскрою опять перед Тобой страницы подлинной истории КПСС — книгу «Архипелаг ГУЛаг».

В конце главы II сказано:

«...ПУСТЫХ тюрем у нас не бывало никогда, а бывали либо полные, либо чрезмерно переполненные».

А в начале той же главы —

«По трубам била пульсация — напор то выше проектного, то ниже, но никогда не оставались пустыми тюремные каналы. Кровь, пот и моча — в которые были выжаты мы — хлестали по ним постоянно. История этой канализации есть история непрерывного заглота и течения, только половодья сменялись меженями и опять половодьями, потоки сливались то большие, то меньшие, еще со всех сторон текли ручейки, ручеечки, стоки по желобкам и просто отдельные захваченные капельки».

В главе этой (так она и называется — «История нашей канализации») — 70 убористых страниц, и на них тесно, густо — «повременный перечень, где равно упоминаются и потоки, состоявшие из миллионов арестованных, и ручейки из простых неприметных десятков...» И признает автор: тот перечень — «очень еще не полон, убог, ограничен моей способностью проникнуть в прошлое».

Так вот, в том перечне (70 страниц) течений, потоков, ручейков-ручеечков, стоков по желобкам дело СВУ заняло три строчки:

«Судят в начале 1930 года Союз Вызволения Украины (проф. Ефремов, Чеховский, Никовский и др.), а зная наши пропорции объявляемого и тайного — сколько там еще за их спинами? сколько там негласно?..»

То ли — ручеечек, то ли — сток по желобку...

И позволь, читатель, еще раз из Книги — подпольные читатели у нас на Родине зашифровали ее в разговорах между собой «Учебник географии»:

«Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать-тридцать-сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытаться муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого — пытаться по неделе бессоницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, — ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом.

Да не только чеховские герои, но какой нормальный русский человек в начале века, в том числе любой член РСДРП, мог бы поверить, мог бы вынести такую клевету на светлое будущее?»

Какой — нормальный русский человек...

А не объяснение ли это — не одно ли из объяснений — того, что предали себя Ефремов, Дурдуковский и прочие? Ведь они — из породы чеховских интеллигентов, из нормальных человек начала века XX — конца века XIX, того романтического века, когда жили по законам порядочности, чести и совести, когда борьба непрерываемо велась по правилам сентиментальных добреньких кодексов. Они воспитаны в духе высокой морали — и вот на них навалилась новая эпоха, эпоха пролетарской революции с ее железной кровавой моралью, в основе которой — отсутствие всякой

морали, полное забвение совести с честью. И против напавшего на них бандита они выставили тонкую тросточку на грубый топор. И их пьеса не дошла до конца: на грани потери рассудка, они уничтожили сами себя...

Осталось остановиться всего на двух моментах.

Первый. Место, отведенное в деле СВУ литературе и литераторам.

В «литературную» группу СВУ входили Ивченко, Никовский и Старицкая-Черняховская. На «пятерку» не натянули — СВУ, мы помним, держалась на боевых «пятерках». Вот выдержки из их показаний на предварительном следствии:

М. ИВЧЕНКО: литературная группа «составляла у нас весьма сильную консервативную и идеологическую антисоветскую крепость... Я пользовался той силой (силой печатного слова. — Г. С.) во вред соввласти, организовывая читателя против соввласти».

А. НИКОВСКИЙ: «Я делал несомненно вредительскую работу...»

Л. СТАРИЦКАЯ-ЧЕРНЯХОВСКАЯ: «...признаю свое положение позорным и тяжелым...»

Вывод следствия:

«Таким образом, на предсудебном следствии установлено, что «СВУ» проводило консолидацию своих сил в литературно-издательских учреждениях с целью вредительства на идеологическом фронте».

Из речи прокурора Ахматова:

«СВУ» прежде всего обратила внимание на художественную литературу — один из наилучших способов влияния на массы... В основу «литературных установок» «СВУ» легли четыре принципа: 1) подчеркивать национальную программу в духе программы «СВУ», 2) в завуалированной форме сводить на нет гигантское социалистическое строительство и показывать только неудачи, 3) подчеркивать негативность бытовых явлений переходной эпохи, 4) затемнять творчество масс, выпячивать интеллект специалистов-интеллигентов».

Что вышло из осуществления этой 4-пунктной программы у мощной литературной группы? Если судить хотя бы по приговору — очень немного: Ивченку дали три года условно (позже, в 37-м получил сполна — закатан и погублен), а Старицкой-Черняховской, «учитывая ее преклонный возраст», все-таки 5 лет по оглашенному приговору, но через месяц после окончания процесса выпущена на свободу. Никовский тут не в счет, ему впаяли полную десятку не за литературу.

Ну, былого их трогать не станем. Старицкая-Черняховская, дама с прошлым, приветствовала когда-то там гетмана Скоропадского, была заочно избрана председательшей украинского женского союза за границей, ничем не реагировала на расстрелы коммунистов при Директории — это к нынешней идеологической диверсии не относится.

Вот как красиво пишет в «Правде» Д. Заславский о нынешних делах литераторов-вредителей:

«...в кабинете профессора Черняховского дебатировался строго научный вопрос об отравлении ядом или бактериями коммунистов... а рядом писатели и критики вместе со Старицкой-Черняховской обсуждали вопрос об отравлении националистическим ядом украинской литературы».

Кается старая украинская дворянка, кается вовсю:

«...признаю, что совершила большую историческую ошибку и готова понести наказание. Я была только слепым статистом в политике...»

Со старухой прокуратура проделывает такой финт:

«В заграничной белоэмигрантской прессе пишут, будто ГПУ применяет недозволенные меры и издевается над арестованными по делу «СВУ». Тов. Любченко желает установить, правда ли это. Оглашается признание Старицкой, где она, например, заявляет: «Я назову не один факт необычайно гуманного обращения представителей ГПУ».

Тов. ЛЮБЧЕНКО: — Таким образом, когда пишут, будто издевались *над вами*, они лгут? (выделено мной. — Г. С.)

СТАРИЦКАЯ: — Нарочно ошибаются.

Совсем невинная следовательская уловка: ко мне отнеслись гуманно, «над вами» имеет два значения: надо мной — и над всеми вами, шито-крыто. И ведь в самом деле — не били (и других не били), не загоняли иголок, не защемляли сапогом половые органы, всего лишь — клали наган, водили на расстрел, не давали спать, угрожали морями крови. С ней, со старухой, и этого не допускали, ее привечали, дабы в свое время услышать от нее нужные слова.

Вся вина Людмилы Михайловны Старицкой-Черняховской, наследницы старинного дворянского украинского рода, дочери и помощницы знаменитого украинского драматурга и театрального деятеля Михаила Старицкого, подруги Леси Украинки, состояла в том, что она, сама литератор, переводчица и поэтесса, не могла отвыкнуть от старых дворянских замашек и держала салон, где сходились литераторы. На салоне том она и погорела.

Из допроса писателя Ивченка:

«Ивченко сперва рассказывает некую идиллическую сказку: он видите ли, еще с 23-го года часто бывал в семье Черняховской, где собирались литераторы, читали и обсуждали произведения... Тов. Ахматов несколькими вопросами *при помощи собственных показаний подсудимого на предварительном следствии* (выделено мной, знакомая картина. — Г. С.), вскрывает подлинную суть этого кружка и устанавливает, что это был контрреволюционный клуб. «В литературном кружке, — писал Ивченко, — нас объединял также глубокий скепсис к советской пролетарской литературе, которую мы считали безвкусной, бездарной, неграмотной и неинтересной».

В конце концов, подсудимый признает (выделено мной, знакомая картина. — Г. С.), что литературный кружок Старицкой-Черняховской представлял собой «некое организованное общество, которое ставило своей задачей всякими способами расширять контр-

революционную агитацию, организовывать антисоветские мысли и настроения среди общества».

Привычная история: поюлил и раскололся.

Что представляет собой творчество Ивченка? А шут его знает. Защитник Виноградский говорит так:

«...в произведении «Горелая степь»... Ивченко разделяет революционные настроения некоторых своих героев... пишет сборник «Земли звонят», где есть несколько рассказов, изображающих советскую реальность позитивными красками... в нескольких рассказах отражены контрреволюционные настроения...»

Словом, обычное творчество. Что-то автору нравилось, что-то возмущало, чего-то искал, о чем-то мечталось. Любой следователь любому творчеству пришьет все смертные грехи, если ему велят, и пойдя докажи, что ты не верблюд. Впрочем, произведениями Ивченка следствие и суд занимались скромно, чёрта ли обвинению в творческих тонкостях. Общая установка есть — обвиняемый признался — вина доказана.

«Правда», 22 марта, Д. Заславский:

«Теперь писатель Ивченко стоит перед критикой украинского пролетарского суда. Дюжий, хорошо упитанный мужчина, с черной бородкой на круглом лице, лебезит и сладким голосом кается. Да, это не случайно он разводил русофобство и откровенные кулацкие узоры в своих произведениях. Он писал по литературным директивам специальной пятерки «СВУ», членом которой он сам состоял (у Д. Заславского $3 = 5$, но ладно, к чёрту арифметику. — Г. С.) ...За спиной его стояла муза, которая сейчас сидит за его спиной на скамье подсудимых. Этой музе за 50, но ее седые волосы пышно взбиты, у нее вид «губернской львицы» давних времен и она время от времени подносит к глазам презрительный лорнет. Это писательница Старицкая-Черняховская. В ее «салоне» собирались писатели и критики националисты и отсюда шла обдуманная систематическая прививка петлюровского национализма молодой украинской литературе...

Работа «СВУ» в области литературной была наиболее замаскированной (читай, вовсе не было работы. — Г. С.). Трудно определить здесь границы влияния. Оно заходило довольно далеко,

проникая в ряды коммунистически настроенных писателей... Эти корни еще далеко не выкорчеваны в украинской литературе и критике, и свидетельствует об этом выступление на суде в качестве свидетеля украинского критика Зерова».

Броско, наотмашь разделался мерзавец-журналист с подсудимыми! А как, негодяй, уничтожил Зерова! Не сразу выдавил из себя Николай Константинович те показания, которых потребовала от него прокуратура, загляделся на 46-й стул, насторожился зал.

— Отвечайте прямо! — прикрикнул начальник. — Да — или нет?

Пауза. Никогда еще в жизни своей не опускался до сволочизма поэт и ученый Зеров. Пауза.

— Да, — выдавил из себя.

Выдавил — но пауза была, зал притих. И эту паузу подонок Д. Заславский отметил. Вот и получай. И читай зекам любимого своего «Онегина».

Я уже говорил о том: под корень и с ветвями уничтожала советская власть украинскую интеллигенцию. В 1941 году Л. М. Старицкую-Черняховскую вместе со старейшим, знаменитейшим украинским ученым, академиком Агафангелом Ефимовичем Крымским с почетом усадили у подъезда Академии в автомобиль, чтобы отвезти к эвакуационному составу — к Киеву подходили немцы. Но отвезли почему-то... в арестантский товарняк. И повезли в теплушке с урками и прочими зеками. И выбросили больных где-то на станции. И по одним сведениям, придушили их, а по другим — мирно померли они в больнице.

И была у Людмилы Михайловны и ее супруга, профессора Черняховского, красавица дочь Рона, талантливая детская переводчица с многих языков. И арестовали ее в 1932 году. И коллективно изнасиловали в лагере. И потерявшую рассудок — пристрелили.

Довольно о литературе и литераторах.

Второй момент. Я обещал особо отметить позицию защиты на процессе СВУ.

Уже незадолго до вынесения приговора в зале оперного театра вдруг вспыхнула драчка-кошачка между обвинением и защитой — как мы понимаем, заранее оговоренная и прорепетированная. Вдруг раздалась «реплики сторон»:

Прокурор МИХАЙЛИК отмечает «...неверное социально-политическое освещение отдельными защитниками движущих сил украинской контрреволюции и, в частности, этих недобитков ее, сидящих на скамье подсудимых... Как изображают суть защитники? Украинские интеллигенты, воспитанные в традициях своих отцов и дедов, пропитанные национальной романтикой, жаждали самостоятельной жизни украинскому народу... Не было и не могло быть места национальной романтике как подлинному мотиву создания «СВУ» и акций подсудимых в этом деле!»

На это адвокат Ривлин поспешно ответил:

«Мы все стоим тут на принципах классовой борьбы... каждый защитник заявлял в начале своей речи, что никаких политических принципиальных расхождений между прокуратурой и защитой в этом деле нет и быть не могло... Если кто-нибудь из защитников и сказал такую фразу, что движущей силой этого процесса и преступлений обвиняемых была национальная романтика, — если это было сказано, мы имеем мужество признать, что это ошибочно... Мы вполне ясно заявляем тут, что не национальная романтика есть движущая сила этого дела, а законы и условия классовой борьбы».

Вот так: слегка напали — защитились — соблюли протокол (имеются «реплики сторон», как у взрослых) — все довольны.

Сложна, весьма сложна позиция защиты на процессе СВУ. И надо отдать адвокатам должное — ведут они себя очень и очень отважно. Судите сами.

Профессор Пидгаецкий (помните?) признал себя виновным «приблизительно в 20-ти методах и способах контрреволюционной борьбы». На весь зал назвал

работу СВУ «укусом бешеной собаки». Защитник его Ривлин после этого позволяет себе заявить:

«Пидгаецкий пишет свои книги и научные труды на четырех языках, издает произведения, посвященные организации труда в социалистическом сельском хозяйстве... вредность его малоосознанной деятельности в «СВУ» незначительна...»

Профессор Слабченко (одесский «филиал» СВУ) мечтал «вырезать половину интеллигенции, которая не пошла за СВУ». По словам прокурора, Слабченко «мечтал о фашистской военной диктатуре... был автором проекта похода войск империалистических держав на столицу пролетарской революции Москву... представляет социальную опасность для советского общества». Сам признает: «Расцениваю свою работу как вредительскую, контрреволюционную и антисоветскую». Не шуточки! А адвокат Потапов, храбрая душа, заявляет:

«...большую часть своих поступков он сделал под влиянием горячего темперамента, ...он не владеет своим темпераментом и его заносит то в «СВУ», то он подает заявление о вступлении в коммунистическую партию... к тому же он выдающийся ученый, исследователь истории Украины...»*

Даже об А. Никовском («сами подавали патроны») адвокат Виленский решается заявить:

«За 4 года пребывания на Украине он издал около 30 книжек (а? ведь в самом деле — работники культурного фронта! — Г. С.), посвященных старой и молодой украинской литературе. Нигде, ни в марксистской критике, ни в прессе вы не найдете упрека Никовско-

* По-видимому, интересная и талантливая натура — Михаил Елисеевич Слабченко. Причем, разносторонний талант. Прокурор Быструков о нем говорит: «Он пишет оперы, он художник, профессор ИНО и... капитан царской армии...» Слабченко — историк, филолог, юрист (закончил какие-то особые курсы во Франции в 1911 году), мелиоратор, поэт, композитор. Получил в итоге 6 + 2. Сын его Тарас, учитель, по тому же делу схлопотал 3 года.

му за его попытку между строк всунуть националистические, враждебные революции идеи... В 27 году он фактически порвал с «СВУ»... об этом говорят и записи в дневнике Ефремова...»

И не один пример героизма защитников можно привести еще:

СТРАШКЕВИЧ (редактор, член «ИНАРАКа»): «Я считаю, что фактически принадлежал к «СВУ» и вполне признаю свою вину».

Защитник Обуховский о нем: «Ефремов, очевидно, ошибочно, пересчитывая членов «СВУ», назвал фамилию Страшкевича».

ТУРКАЛО (редактор, член «ИНАРАКа»): «Свою работу в «ИНАРАКе» считаю контрреволюционной, позорной и осуждаю ее».

Защитник Обуховский о нем: «...в институте был вполне советским человеком... Туркало не был членом «СВУ».

Словом, защита вела себя пристойно. Но что она могла, какой вес имело ее слово, когда —

«Защита в этом деле оказалась в положении защитников крепости, которая сдалась до первого штурма, выбросив белый флаг еще до первого грозного залпа из прокурорских батарей?»

Помните? — мы уже любовались этой красивой фразой умницы и златоуста, старого киевского адвоката Марка Виленского.

Ему принадлежит и совершенно гениальная формула поведения советского адвоката на политическом процессе. Вчитайтесь внимательно:

«...самоограничение защиты не есть что-то притянутое или продиктованное извне. Это самоограничение — властное требование голоса нашей гражданской совести. Это *перевес наших гражданских принципов над маленьким заданием профессионалистов* (выделено мной. — Г. С.). Когда за границей говорят, что защита в этом деле только рупор власти, то мы им наперед отвечаем — это не верно. Мы в этом деле вполне свободные защитники этих людей, но вместе с тем мы, как граждане, осуждаем контрреволюцию и, если мы

рупоры, — то рупоры советского общества, органической частью действий которого есть советская адвокатура»*.

Точная формула, вечная — на все времена! Для всех адвокатов на всех прошлых и будущих политических процессах в советской державе — да, собственно, во всякой авторитарной державе. Вдумайся, читатель, запомни и, если Тебе, быть может, суждено стать советским адвокатом, — выпиши в блокнот и возьми на вооружение — пригодится: Твои огромные гражданские принципы пусть берут перевес над маленьким Твоим профессиональным.

А это теоретический принцип не только для адвоката. Ты — учитель, надо поставить лентяю и тупице кол, так велит Тебе Твоя профессия; но существует высший гражданский принцип: не уронить престижа школы, района, страны нашей, где нет лентяев и тупиц, — и Ты ставишь «трояк». Ты — инженер, строишь целлюлозный комбинат; Твое профессиональное маленькое знание говорит: погибнет Байкал с его уникальной фауной; но гражданский высший принцип требует от Тебя наращивать индустриальную мощь, выполнять планы, рапортовать о победах и — гори ты ярким пламенем, уникальный Байкал! И врач ли Ты, председатель ли Ты колхоза — формула точна, помни ее! Не забывай только на всякий случай и того, что это формула предательства...

Так вот, тем не менее, даже вооружившись столь блестящей защитительной формулой, — мы видели, — адвокатура оставалась храброй и почти честной. Почти — поскольку никто из защитников не сказал с трибуны:

— Что, собственно, здесь происходит? Ведь всё — бред собачий!

Но такого даже вообразить себе невозможно, са-

* Напоминаю: не помогло открытие гениальной формулы, посадили Виленского и уничтожили.

моубийцы обычно кончают счеты с жизнью проще и быстрее, не обрекают себя на муки перед смертью. А еще — что же они могли, когда подзащитные сами подавали патроны и крепость сдалась до первого залпа?

ЧТО ЖЕ ВЫ, РЕБЯТА! КАК ЖЕ ВЫ МОГЛИ!

Во всем этом детективе, я подчеркивал уже, — меня не занимает позиция начальства ГПУ, следователей, прокуроров. С ними все ясно. Палачам платят за их работу — они были палачи, и им платили. Сверху спущено — находить и уничтожать врагов. Они находили и уничтожали. Делали это грубо, неумело, в спешке, весь процесс СВУ, как мы видели, шит белыми нитками, расплзается по швам. Да что им до того, прокурорам и следователям, разве они задумывались о том, что пройдут десятилетия и кто-нибудь в поисках правды начнет ворошить их дела? Разве собирались они держать ответ перед будущим, отчитываться перед будущим? Отчитаться бы перед вышестоящим начальством, успеть бы найти и уничтожить сегодня, иначе завтра уничтожат тебя. Они перед историей отвечать не собирались.

Но вы, обвиняемые? Вы, честь и совесть украинской нации? Вы, академики, профессора, ученые, педагоги, врачи — цвет украинской интеллигенции? Вы?

Вы, Сергей Александрович Ефремов, в программной своей книжке сказали:

«...дух живой вдохнуть в усыпленного историей великана, превратить сырую этнографическую массу в сознательную и своей сознательностью могучую нацию — я не знаю большего намерения в мире, размаха шире для работы, лучшей цели для людей».

Как же могли вы бросить под ноги подонкам и вместе с ними топтать эту высокую цель, это святое служение?

Вы предали себя, свой идеал, свою Родину. Лад-

но, это — ваше: ваш идеал, ваша родина, это, в конце концов, ваше прошлое. Но как вы посмели предать будущее? Какое право имели вы так распорядиться нами, будущими поколениями? Кто позволил вам влить в наши жилы и кости, в наши кровь и мозги, и в гены нефилтрующие бактерии предательства, бесчестия?

Сергей Александрович, вы — историк, неужто же несколько месяцев одиночной камеры, бессонница и пистолет на столе заставили вас забыть о суде истории?

Вы, самоуверенный дипломат и литератор Никольский?

А вы, педагог Дурдуковский, внушавший любимым своим цыплятам законы гордости и чести?

Вы, Григорий Холодный, — вы в начале процесса собрали мужество и бросили в зал — «не признаю!» Куда же потом девалось ваше мужество?

Вы, выдавший кровь и смерть врач Барбар, талантливый профессор Слабченко, революционер и царский узник Кривенюк?

Вы же не могли в тишине одиночек не думать о суде истории!

И не бросайте в ответ на мои недоумения разящего контрвопроса:

— А как бы ты повел себя на нашем месте?

Не равняйте меня с собой: вы по своему образу и подобию запрограммировали меня двуличным трусом, я рос и формировался, впитывая в себя ваш жалкий опыт, из-за вас я — моральный калека! Имеете вы право требовать от меня и от моего поколения того, чего мы требуем от вас? Не дано вам этого права. Обучив нас науке предательства и подлости, вы не смеете требовать от нас героизма и самопожертвования!

И звучит, не умолкает во мне тоскливый вопрос:

— Как вы могли, ребята? Что же вы наделали?

И нет на него ответа. Опять — все то же: а бессонница, а выстрелы в ночи, а оговоры друзей, а «зальем кровью...»

А СУД ИСТОРИИ?

Нет ответа...

И я отпускаю Тебя, мой читатель.

Ничего, как видишь, не узнал я о моей маме. Уверен теперь уже: носила она в душе своей трагедию. Было письмо-донос, не было ли его — все едино, мама моя Наталка Собко — жертва процесса СВУ, 46-й незанятый стул — и ее.

Прости меня, мать...

Но сочинил я этот детектив. И вот он лежит передо мной. И я беру его и подсовываю Тебе, мой читатель, — прежде всего, юный читатель, мой сын, мой внук.

И спрашиваю себя: а зачем это Тебе? Развлекательное чтиво? Сименон интереснее. Ворошение прошлого? Зачем — 50 лет спустя?

Простите мне дидактику и назойливые повторы, не сумею без них объяснить...

...Подсовываю вам, дети мои, эти страницы затем, чтобы вы помнили, какой тяжкий грех отцов и дедов тяготеет над вами.

...Вам надлежит грех тот простить или не простить, пожать плечами — «ну и что?» — или ужаснуться и задуматься о том, каков след этого греха предков в ваших душах.

...Знать об этом вам нужно.

...И прошу вас, умоляю, надеюсь: не пожимайте плечами — «ну и что?»

...Задумайтесь, взгляните в себя, взвесьте в себе груз унаследованной лжи, трусости, предательства.

...Вглянитесь, взвесьте — и изживайте, вытравляйте в себе, не передавайте детям своим!

...Как? Как выжигать и не передать детям, когда всё и все вокруг загажены трусостью и ложью?

...Как хотите.

...На открытый бой — не зову, ибо сам на него не шел. Пусть каждый решит сам.

...Но хотя бы думайте об этом, помните, будоражьте в себе и в детях своих! Мы привыкли думать одно, а говорить и делать — противоположное, привыкли так, что даже того и не замечаем. Мы свыклись, срослись с ложью и трусостью, они в нас свои, кровные и родные и незаметные для нас.

...А раз незаметные и родные — то зачем и выжигать? Пусть живут? Ни нам, ни детям нашим они не мешают? Одеты, сыты, есть работа, она и завтра накормит, есть телевизор и пылесос? Чего еще? Иметь право задавать вопросы и получать на них ответы? Подумаешь — лирика, не привыкли мы к этому... Иметь свои гражданские убеждения — и иметь право отстаивать их? Стоит ли труда, есть ли смысл — отучены мы от этого... Иметь право говорить и делать то, что думаем? Да зачем оно...

Не привыкли, отучены, зачем...

...Так давайте заново привыкать. Иначе — где гарантия, что завтра не поставят для Тебя незанятый 46-й стул?

...И где Твоя уверенность, что Ты — или дети Твои — завтра не станете подавать патроны для собственного расстрела?

...И где Твоя уверенность, что Тебе или детям Твоим, растоптанным и уничтоженным, не придется в безысходной муке твердить:

— Простите меня, люди добрые, простите, если сможете...

А после этой риторики с многоточиями хочу я опять обратиться к Тебе простой обычной речью.

Послушай, а что, если повторить нам процесс СВУ? Сегодня, в последней четверти XX столетия? А? Бред, чепуха? Мертвых не воскресишь? А давай воскресим. И ничуть не бред. Проще простого...

Вот идем мы с Тобой сегодня, какого-то там марта 197(?) года по Рымарской улице в городе Харькове и у оперного театра на большом щите читаем:

СЕГОДНЯ ЗАНОВО СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО СВУ, КОТОРОЕ РАЗБИРАЛОСЬ В ЭТОМ ЖЕ ЗДАНИИ ПОЛСТОЛЕТИЯ НАЗАД

Заходим, садимся. Зал полон. Сидит дипломатический корпус — нынешний, сегодняшние послы и разные атташе. Вооружились шариковыми ручками журналисты всех стран. На скамье подсудимых — те же персонажи во главе с академиком С. А. Ефремовым, те же 45 человек. И 46-й стул тут же. Суд, обвинение, защита — все те же, все на месте. Портрет Ленина — и под ним Брук, Правдин, Броневой и К° в спину суду и обвиняемым. И в антракте выйдет на авансцену Горожанин, будет сверлить стервяжьим своим взором зал — и нас с Тобой. Словом, всё, как было в 30-м, полста лет назад.

И появляется в газете «Вісті» убийственный репортаж М. Берлина о том, что все 45 сливаются в единое лицо фашизма. И два дня читается то самое обвинительное заключение. Но вот...

Поднимается Председательствующий Высокого Суда и оглашает:

— Судебное разбирательство происходит при полном соблюдении международных процессуальных норм, которые лежат в основе Социалистической Законности. Довожу это до сведения подсудимых, обвинения и защиты, свидетелей и граждан, посетивших слушание дела.

Замечает Председательствующий следователей на сцене под Лениным и указывает широким жестом вон:

— Представители следствия находятся здесь в нарушение законности. Прошу покинуть сцену.

Растаяли следователи.

— Зачем стоит этот свободный стул? — спрашивает Председательствующий.

И исчезает стул.

— Есть ли заявления у защиты?

Встает главный адвокат Ратнер и оглашает требование обвиняемых о привлечении газеты «Вісті» к судебной ответственности за клевету. Заявление принимается судом.

Начинается опрос обвиняемых.

— Подсудимый Ефремов! Признаете ли себя виновным?

— Нет, не признаю.

— Подсудимый Дурдуковский! Признаете себя виновным?

— Категорически — не признаю!

И 45 раз слышится спокойное — «не признаю!»

Высокий Суд требует от обвинения доказательств вины подсудимых. По очереди выходят на трибуну Михайлик, Ахматов, Быструков и Волков, следом — общественные обвинители Любченко, Соколовский, Слисаренко. И каждый по 5 часов болтают они, болтают, болтают — то же самое, что болтали тогда.

И каждому суд задает вопрос.

— А где доказательства всему этому? Где документы, вещественные доказательства, показания свидетелей?

И появляются свидетели — все десять свидетелей; и мама моя тоже выходит на трибуну и говорит правду — одну только правду!

И тогда точно так, как в 30-м топили друг друга Павлушков, Дурдуковский и Никовский — принимаются теперь прокуроры-обвинители валить вину друг на друга, и на гастролера-дирижера Горожанина, и на Бруков-Правдиных.

И полная перемена на сцене Харьковской оперы!

— Суд постановляет: подсудимых по делу СВУ признать невиновными!

Все сорок пять с гордо поднятыми головами покидают зал под бурную овацию. Профессор Пидгаецкий поправляет в кармашке пиджака белоснежный платочек и идет ночевать к своим друзьям. Настоящий профессор Пидгаецкий — тот, из процесса 1930 года, — вместе с врачом А. А. Барбаром и свидетелем Н. К. Зерóвым в Соловках — утоплены с баржи.

А на скамью подсудимых садятся Горожанин, прокуроры, общественные обвинители, следователи и... и... ох, и прочие, несть им числа, от Стасика с комендантом (7 целковых с головы) до... не знаю, до кого.

И начинается слушанье **НОВОГО ДЕЛА**.

И во всех газетах выходят отчеты об этом **НОВОМ ДЕЛЕ**.

А в фойе оперного театра под стеклом стендов — документы 1930 года. Подлинные документы. И среди них нахожу я мамины письма ее друзьям в Киев. И нет среди них письма в ЦК комсомола...

А в зале громят, развенчивают нарушителей законности. Подписывают приговор черному прошлому нашей Родины. И приговор тот всему миру сообщает, что на Родине нашей, дорогой мой читатель, **СВЕТЛЫЕ НАСТАЛИ ВРЕМЕНА!**..

Так что — чепуха, не воскресишь мертвых? Да проще простого. Техника подготовки такого процесса — как при создании обычного театрального спектакля: от написания пьесы драматургом, который д о п у щ е н к архивам КГБ (ГПУ) и прочим документам, — до репетиций с актерами. Те же этапы, что и при подготовке «оперы СВУ» в 1930-м, только репетиций понадобится много меньше, чем тогда.

Дайте только команду... Кто? Уж это понятно — кто. Самый-самый (самые-самые?) что ни на есть высоко сидящие и вперед далеко смотрящие.

А помочь, Самым-Самым, дать команду, подтолкнуть их, заставить — и жизнь всем ходом своим должна и мы с Тобой, читатель, обязаны. Без нас, без нашего участия — моего, Твоего, Твоих и моих сверстников у нас на родине и во всем мире — не обойдется подготовка нового процесса СВУ. Помнить самому, напоминать друзьям, говорить об этом, требовать, не боясь, ответов — и настанет день, будет дана команда повторить процесс СВУ и сотни других процессов.

Настанет день!

Мама моя, мама...

*Киев
1974-1976*

ПОСЛЕСЛОВИЕ

К концу 1976 года работа над рукописью была закончена. Отдал один экземпляр в надежные руки, на всякий случай распорядившись: что-то со мной неладное случится — переслать на Запад.

А сам все размышлял над дальнейшей судьбой своего творения. Лежать ему в ожидании лучших времен? Но ведь он сам призван ускорить приход этих лучших времен, для того и написан! Отослать издателям на Западе и просить опубликовать как можно скорее? Да, именно так, лишь бы издатели заинтересовались! Но...

Нет, за себя не боялся. Останавливало то, что появление вещи навлечет беду на другого человека, на Бориса Федоровича Матушевского. Его откровенные

повествования приводил я в каждом разделе, на его свидетельствах строил выводы о нечеловеческой сущности советской власти. И хоть успокаивал я Бориса Федоровича (а вернее — себя), где-то там на какой-то странице — мол, спите спокойно, дорогой мой, — а сам отлично понимал, что в случае появления книжки спать спокойно КГБ ему не даст. Так мало ему, бедняге, досталось — еще и я порцию добавлю?

И вот сегодня, 17 января 1977 года, когда сижу я над этим послесловием, Матушевского уже нет. Позавчера звякал телефон и я узнал, что 14 января, в пятницу, Борис Федорович допоздна не вернулся домой, а в полночь постучал в дверь майор милиции по фамилии Лобода и сообщил жене и сыну, что их отец и муж найден два часа назад мертвым на улице Воровского возле угла Обсерваторной.

Только что возвратился я с похорон. Утром перевезли из морга домой, а в четыре на Байковом кладбище мерзлые комья глины глухо ударили в крышку гроба.

Лежал спокойный, красивый, молодой. Густые и длинные, черные без седины волосы оттеняли высокий светлый лоб. Только суровее казался, чем был при жизни, значимее — приветливость, доброта с лица исчезли.

На Байковом кладбище сейчас простых смертных не хоронят: как исключение — по распоряжению горсовета (или за солидную взятку) — именитых деятелей. И то — там уже могила на могиле, сейчас хоронят на новом городском кладбище у Гостомельского шоссе. Но Борис Федорович давно «забронировал» себе место вечного покоя на Байковом. Рядом с бабушкиной могилой насыпал он еще два холмика, поставил оградку, приделал доски с надписями. Вера Александровна Матушевская — мать. Василий Федорович Матушевский — брат. В маминой могиле присыпал горсть земли, привезенной из Мордовии. Моги-

ла брата — просто так. В толстом потрепанном блокноте, лежавшем на рабочем столе покойного, я прочитал вчера:

«Байково кладбище, 9-й участок, моя могила, похоронить в мамину».

Провожало много народу. Говорили теплые, не казенные слова. Искренне плакали. Друг покойного, старый писатель Антоненко-Давидович, тоже отдавший тюрьмам-лагерям свои 18 лет, сказал:

— Ушел от нас последний сознательный потомок одного из последних родов старой честной украинской интеллигенции, которая хотела добра и только добра любимой своей Отчизне... Дорогой друг, хвала Господу — сбылась мечта твоя: покоешься вечно в родной украинской земле. Пусть же будет тебе легка киевская земля!

В морге, когда ждали выдачи тела, друг его Г. Н. сказал мне:

— Нелепость. Пять лет надо еще ему жить.

И рассказал, что вот на днях Борис поведал ему свои планы и убедил, что необходимы ему еще пять лет жизни. Был он человек аккуратный, обязательный, предусмотрительный и точно высчитал, что именно пять и не больше нужны ему, чтобы упорядочить семейные архивы, прокомментировать переписку и документы («того комментария, кроме меня, уже никому не дано сделать!»), завершить переработку отцовского труда о Т. Г. Шевченко, а главное — написать воспоминания о СВУ.

— Мы все, друзья его, — говорил Н., — все подталкивали: садись, записывай СВУ, ведь двое вас осталось, но Ганцов ведь не в силах уже! И вот с неделю назад сказал он мне: начал писать воспоминания. Я обрадовался, но не расспрашивал, ни почитать не попросил тех страничек, кто же думать мог. И не знаю, успелось-таки что-то, то ли только заметки делал...

Услышал — и кольнуло подозрение. Но тут же я его и прогнал. Глупости, кому нужна его смерть, если бы даже и донеслось тем «органам», что пишет он воспоминания, да как могли узнать о том, что существует только в памяти... Впрочем, опять всплыло, когда рассказал далее Н., как получали в следственном отделе городской милиции вещи покойного — портфель, шапку, какие-то рубли (часов не вернули, исчезли). Спросили у следователя — это оказалась женщина по фамилии Москаленко, — можно ли разузнать, где именно нашли покойника, как упал, как лежал, — расспросить тех милиционеров, познакомиться с протоколом.

— Зачем это вам?! — подозрительно спросила следователь.

Объяснили, что родным и друзьям хочется хотя бы догадываться как-то о последних минутах дорогого человека. Тут женщина словно растерялась, а из угла кабинета отозвался уверенный мужчина в штатском, который оказался здесь, в кабинете, будто не случайно.

— Все, что вам положено, вы узнаете, — заявил мужчина.

Больше вопросов не задавали. На другой день из заключения медицинской экспертизы узнали, что смерть наступила от сердечной болезни. Вот и все.

Да нет, не нужна им его смерть, как не нужна была им его жизнь. Зачем слишком размусоливаю? А думаю, потому и размусоливаю...

Возвращался Борис Федорович с работы — это же начало года, а он — пенсионер, имеет право два месяца в году трудиться, подработать сотнягу к 63 рублям пенсии. Вот он и ежегодно сразу же в январе и отправлялся в свой гидрометцентр... И вот возвращался с работы, проведаль друга своего Антоненко-Давидовича, был бодр, весел, прекрасно себя чувствовал, приятно поболтали, тоже и ему намекал, что начал запи-

сывать те воспоминания. В полдесятого попрощался — Антоненко последний, кто видел его живым.

Чтобы попасть домой на Тургеневскую из Дома писателей на улице Ленина, где живет Антоненко, нужно подняться на улицу Воровского, сесть в трамвай на углу Обсерваторной. Там на остановке и упал. Сам упал, никому не нужна была его смерть. Возможно, переутомился на работе, один инфарктный рубец на сердце уже носил. Может, через силу волок ноги домой — в последнее время совсем разладилось с женой, издевалась над его украинским традиционализмом, попрекала, что всю жизнь зарабатывает меньше, чем она.

А он работал — ежедневно, упорно и тщательно, распланировав на пять лет.

В последнюю нашу встречу — в середине декабря 1976 года, принес я экземпляр рукописи, надписал на первой странице:

«Борису Федоровичу Матушевскому — с благодарностью, уважением и надеждой на то, что, Бог даст, — поставлю такое посвящение и не только на рукописи».

Он радовался, благодарил, церемонно кланяясь, жал руку, желал успеха. И пообещал немедленно прочитать. До того я читал ему отдельные разделы, переспрашивал и уточнял, правил по его советам — так что вещь он знал, и я не надеялся, что в самом деле сразу возьмется за нее.

И вот вчера из глубокого шкафа, украшенного украинским резным орнаментом рукой того самого Гаврилы Оди́нца, я добыл зеленую папку — теперь, после смерти хозяина, рукописи нельзя было здесь оставаться. Лежала точно так же, спрятанная на самом дне, заваленная газетами, книжками, пожелтевшими бумагами. Подумал: ясное дело — не дошли руки, как спрятал подальше от чужих глаз — так и лежала. Развязал шнурочки — сверху мелко исписан-

ный листик: «Заметки». Под ним еще один: «Замечания».

Первый листик оказался черновичком, второй — переписанное набело. Сделано старательно, неспешно.

Вот он, этот листик:

Решил я не переносить исправлений в рукопись. Просто помещаю здесь в послесловии замечания Бориса Федоровича:

З а м е ч а н и я

Стр/ряд откуда

- 31/16 — сверху — «стоят милиционеры» — бойцы войск ГПУ
- 46/9 — сверху — «Жена Ганцова». Она заслужила, чтобы ее назвать: Ольга Трофимовна Андриевская (расскажу!)
- 52/53 — Ни разу все шестеро не собирались. Дважды было только четверо: Павл., Боб., Нечит. и я (может, еще Кокот?). С Бовк. поддерживал связь только Боб., с Кок. — только я. Во время след-ва я ни разу не видел его, о нем никогда не слышал и его показаний тоже не видел. Нечитайла несколько дней видел в тюрпode, а позднее не видел и не слышал. Кажется, его через пару месяцев освободили. Осталось сидеть нас четверо: П., Б., Н. и я, но на процесс попали только двое: П. и я.
Варенуха Люся? Откуда такие догадки?
- 56/10 — снизу — панихиды я не организовывал.
- 58/3 — сверху — «было ей 67 лет» — 70!

- 59 — фото родителей Матушевских не 1900 г., а 1904!
- 60/7 — снизу — «служение Петлюре» — нужно УНР.
- 66/30 — сверху — «3 руб. 30 коп. неизвестно где девались. Отдавали их Матуш-му». Нужно — Нечитайло.
- 74/6 — снизу — Барбар... именно здесь нужно сказать, что он был ассистентом Стражеско (далее, впрочем, об этом говорится).

Далее в замечаниях выделен раздел — «Некоторые замеченные опечатки»: после шести указанных ошибок заканчивается словами:

«Осталось немало опечаток, еще не исправленных».

Благодарю Вас, дорогой Борис Федорович! Воспринимаю Ваши замечания как благословение. Слышу голос Ваш:

— Да конечно же — издавайте!

Ну что же, и Ты, Боже, благослови. Пусть не исправленные опечатки правит корректорская рука в типографии.

А посвящение на экземпляре книжки уже сейчас заранее надписываю, как его потом надпишешь? Удастся ли и увидеть тот экземпляр?

Надписываю детям Вашим и внукам, детям и внукам брата Вашего Юрия. Пусть берегут память о Вас, про весь Ваш славный, все-таки не уничтоженный род.

Итак, Борис Федорович, мы — свободны! Вас освободила смерть. Я — сам себя пока что освобождаю.

Так давайте же скажем, наконец, вслух то, что думаем!

Киев
1974—1977

СТИХИ

Иван Елагин

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

1. МЕТРИКА

Свидетельство о рождении,
Справка о первом вздохе,
Дело о пробуждении
Духа, о пригвождении
К телу, земле, эпохе.

Метрическая выпись
О том, что жребию выпасть!

Заверенная подписью,
Каким-то чиновным Пименом,
Что ты не болтаешься попусту,
А ходишь отныне с именем.

Закапан в глаза тебе ляпис,
И есть о том уже запись.

Уроженец владивостоцкий!
Такому не отвертеться
От полуголодного детства
В стране, где Ленин и Троцкий.

Уроженец Владивостока!
Такому с самого детства
От Пушкина и от Блока
Уже никуда не деться!

Родившемуся в Приморье,
Тебе на роду написано
Истинно-русское горе —
Горькая русская истина!

Родившемуся в Приморье,
Тебе на роду начертано
Русское слово прямое,
Вспыхивающее жертвенно.

Метрическое удостоверение.
Подпись секретаря.
Восемнадцатый год рождения.
Дата вторжения
В мир — первое декабря.

2. ОБРАЗОВАНИЕ

Математика и химия,
География, история.
Занимался в школе ими я,
Только то была теория.

А когда пошло подкидывать
По ухабам и колдобинам —
Тут я занялся эвклидовой
Геометрией особенной.

В голубом дыму наварченном
Паровозы шли и фыркали,
А колеса-то начерчены
Будто дьяволовым циркулем.

И составы шли товарные,
И мерцали рельсы инеем...
(Взрывы перпендикулярные
К параллельным этим линиям!)

И дорогою корявою
С пересадками и плаваньем
Изучал я географию
По вокзалам и по гаваням.

И следы свои история
На хребте моем оставила,
Та история, которая
Устанавливает правила,

Что одним-то слава, почести,
Привилегии и премии,
А другим и жить не хочется
В распроклятом этом времени.

И когда вся горечь допита,
И когда вздохнул я с легкостью —
От поставленного опыта
Седина в итоге — окисью.

Иль звездой промелькнувшею
Голова моя побелена?
Без остатка всё минувшее
На добро и зло поделено.

3. ПРОПИСКА

Чиновный какой-нибудь аспид,
Устав кулаками стучать,
Начальственным жестом на паспорт
С размаху прихлопнет печать.

Пустяшное дело — прописка,
Да нет без прописки житья.
А вот на холмах Сан-Франциско
Живу непрописанным я.

Пишу о холмах Сан-Франциско,
Где пальмы качают верхи,
И ходят без всякой прописки
По белому свету стихи.

Сегодня как будто бы лишний
С моею судьбой кочевой,
Я всё ж современникам слышный,
Как слышен в трубе домовой.

Россия, твой сын непутевый
Вовек не вернется домой.
Не надо, чтоб в книге домовой
Записанным был домовой.

Никто не заметит пропажи,
Но знаю: сегодня уже
Прописан я в русском пейзаже,
Прописан я в русской душе.

В Московском университете
Какой-нибудь энтузиаст
Стихи перепишет вот эти
И дальше друзьям передаст.

И тысячу раз повторенный
Мой стих — мне порукою он,
Что я отделенью районной
Милиции не подчинен!

С милицией, с прокуратурой,
С правительством — я не в ладу,
Я в русскую литературу
Без их разрешенья войду.

Не в темном хлеву на соломе,
Не где-нибудь на чердаке, —
Как в отчем наследственном доме
Я в русском живу языке.

ФУГА

Памяти Александра Галича

...А скрипка вопит в переходах метро,
Играет венгерку мальчишка лохматый,
И в шапку — чуть брякнув — то зло, то добро,
То смерть, то любовь, то — взгляд виноватый.
И плачет смычок в лабиринтах подземки,
О чем-то никчемном еще беспокоясь,
Когда по кольцу, пяля желтые зенки,
Забыв остановки — взбесившийся поезд...
И каждые, каждые сорок минут
Вся серия станций опять повторится,
Всё в том же порядке, те самые лица,
И те же стоп-краны бессмысленно рвут...
Кольцо без концов. Сострадание старо.
(Ни улиц, ни смеха, ни ветра, ни горя...)
Есть просто взбесившийся поезд метро,
И вовсе за ним — никаких аллегорий.

И скрипка вопит в переходах метро,
Вопит, как болотные выпы в России.
Не жилы воловьи, а нервы людские
Кричат, как расплавленное серебро!
Тот белый смычок в перекрестках реклам —
Их наглого крика и мельче и тише...
Тебя не раздавят, но и... не услышат,
Хоть руку смычком распили пополам!

А поезд несется всё тем же маршрутом,
И некому стрелку — ну хоть бы в тупик!
И кто-то не хочет, а кто-то привык,
И плечи одеты, и души обуты.

И что-то мелькает — светло ли, темно,
И нет остановок, и нет остано....
Там сверху — дома, магазины, бюро...
Что — сверху? Нет верха! Там тоже подполье!
Ты свылся, ты смялся с навязанной ролью,
А скрипка вопит в переходах метро...

О, нет, не устанут цыганские струны,
Корявые луны и ветер — ничей,
В афишном удушьи бессмысленно юны
Лесные перуны басовых ключей.
И пляшет на кафелях ломаный свет,
Под смешанный запах дождя и камелий,
Резины горелой, порубленных елей,
Дерьма и Диора, блядей и газет...

А там — минотавра железная выя
Нам в души гудит, как в пустое ведро,
А люди — все мимо спешат, как живые,
А скрипка вопит в лабиринтах метро
О тех, кто засунут в летящий без цели
Скрежещущий поезд, кружащийся век,
Которым не метры, а сотни парсек
До каждой мелькающей лампы в туннеле...

А скрипка вопит в переходах метро,
Не струны так рвут — парашютные стропы,
Так болью в подполье, в пещеру циклопа
Вываливается живое нутро,
Не струны так рвут, а рубаху враспах,
Не жилка смычковая — нож гильотины,
Так лопаются при пожаре картины,
Так сам над собой измывается страх...
Но — прет минотавр. Состраданье — старо.
Рубильники ржавы. Вагоны — по кругу.
В подполье Европы — железную фугу...
А скрипка царапает своды метро...

Париж, 20 дек. 1977

ТИВОЛИ

В а р и а ц и и

*В руинах виллы Адриана,
В глуши некошеной травы
Хранят извилистые львы
Остатки плоского фонтана.
Волна холодного тумана
Сползает с тихих крыл совы
В руинах виллы Адриана.*

*Сползает с тихих крыл совы
Кривого месяца огарок
На кирпичи подпружных арок
И тьмой замазывает швы.
Вот — оживут зубцы и рвы,
Туман, невлажен и неярок
Сползает с тихих крыл совы.*

*Волна холодного тумана —
Дыханье варварских богов
С гиперборейских берегов
Катилась медленно и пьяно —
Вот — расплясалась обезьяна
На трупах мраморных врагов —
Волна холодного тумана!*

*Остатки плоского фонтана,
Подобие сковороды...
Тысячелетья нет воды
На бронзе черного чекана.
В сухом свечении Урана
Не ждут ни счастья, ни беды
Остатки плоского фонтана...*

Хранят извилистые львы
Тугие афоризмы Рима:
Что всё на свете повторимо,
И то, что рыба — с головы,
И то, что истина — незрима...
Но мусор высохшей листвы
Хранят извилистые львы.

В глуши некошенной травы
Лежат латинских слов обломки,
И спотыкаются потомки,
Но не теряют головы,
У них мозги не слишком емки,
Они с античностью — на Вы
(В глуши некошенной травы.)

В руинах виллы Адриана
Сползает с тихих крыл совы
Волна холодного тумана,
Остатки плоского фонтана
Хранят извилистые львы,
В глуши некошенной травы
В руинах виллы Адриана...

ПАРИЖСКИЙ ЭТЮД

Уходит женщина во мрак.
Безлюдный мост. Пустой кабак.
Не знают стекла, почему
От них — она идет во тьму,
За что так злобен за спиной
(лишь обернуться!) свет — стеной,
Но в зеркалах открытий нет.
И лучше в спину этот свет,
Чтобы глаза наелись тьмой
Над набережною немой,

Чтоб чудился в каштанах свист,
Чтоб фары черные цвели,
Захватывая желтый лист —
И — прочь. Туда. За край земли,
Где сон еще не так пуглив,
Где ясно, что несправедлив
Тот мир, в котором просто так
Уходит женщина во мрак...

ВНИМАНИЕ

***Писатели, поэты и журналисты,
пишущие на русском языке!***

В этом году в нашем литературно-артистическом агентстве открылся русский отдел! В связи с этим мы хотели бы установить творческий контакт с писателями, поэтами и журналистами, пишущими на русском языке. Наша цель — помочь им в деле перевода, продажи и публикации их произведений в Соединенных Штатах на английском языке.

Мы одинаково заинтересованы в профессионалах и в талантливых новичках. Нас интересуют романы, стихи, сценарии, пьесы, статьи, воспоминания или просто интересные планы.

Если у вас есть уже опубликованные вещи, готовые рукописи или планы — напишите нам, и в ответ мы сообщим вам все подробности о работе нашего агентства и каким образом мы можем помочь вам в деле продажи и публикации ваших произведений на американском литературном рынке.

Наш адрес:

**INTERNATIONAL TALENT
RESEARCH AGENCY**

P. O. Box 01-3470, Miami, Florida 33101

ЛИФТ

Перевод с литовского Феликса Дектора

Подъемник то вверх, то вниз. Не всё восстановилось в памяти. Остались какие-то провалы. Сутартинес* и соловей канули в дебри подсознания. Растаял весенний снег. И следа не осталось на дымящейся земле. Но явилось большое желание вернуть влажное дыхание, соловья, акации, стародавние знаки. Я как ученый, который все свои формулы растерял, а писать популярную брошюру не хочет. Вот и приходится начинать сначала. Дождаться новой зимы в сознании, снега.

Я хочу, чтобы вернулся тот вечер на веранде в Аукштои Панемуне**. Мне нужна геометрическая милость. Мистика. Суд.

Сбирают в долину Иосафата. Меня подвозит голубой автобус. Голубой — это хорошо. Голубой — это символ надежды. Шофер не отвечает на вопросы, но я не сержусь: водителю не полагается вступать в разговоры. От меня скрыты пробегающие по сторонам картины. Окна автобуса из непрозрачного стекла. И водитель отделен черной шторкой. Наконец, останавливаемся. Я выхожу. Автобус уезжает.

Залитая цементом долина Иосафата обнесена каменным забором. Она — размером с комнату. Отворяется калитка в заборе, и выходят трое судей. Они в судейских мантиях, белые жабо подчеркивают пергаментные лица. Средний раскрывает толстую книгу и начинает:

* Литовские народные песни.

** Пригород Каунаса.

- Имя? Фамилия?
- Антанас Гаршва.
- Род занятий?
- Поэт и горемыка.
- Мировоззрение?
- Не формулировал.
- Мировоззрение родителей?
- Формально — верующие, но...
- Комментарии не требуются, — останавливает судья. — Соблюдали заповеди для верующих?
- Может быть, я не соблюдал их догматически, но...
- Без комментариев, — снова обрывает судья. — Вы соблюдали заповеди так, как вас учили?
- Кажется, нет.
- Очень хорошо. В соответствии с параграфом номер восемь — вы подлежите ликвидации. Спасибо за ответы.
- Могу ли я узнать содержание этого параграфа?
- Параграф довольно длинный. Коротко: ликвидации подлежит каждый, не соблюдавший свои заповеди. Например: верующий — для верующих, неверующий — для неверующих, лжец — для лжецов, душегуб — для душегубов, трус — для трусов, моралист — для моралистов. Каждый, соблюдавший заповеди, возносится.
- Я соблюдал заповеди для ищущих.
- Трое судей ритмично хохочут. Словно хористы в опере.
- Такой категории не числится в долине Иосафата.
- Извините. Еще один вопрос. Почему меня везли в голубом автобусе? Это цвет надежды.
- Но судьи не успевают ответить. Антанас Гаршва уже внизу, двери открываются, а в дверях — диспетчер.
- Послушай, Тони, — говорит он строго. — Что ты натворил с шиншиллами?

Чуть поодаль стоят старичок и старушка. У косоглазого старичка в руках деревянная клетка. Одна дощечка выломана, и любопытный самец, высунув острую мордочку, жадно принюхивается к пальцам старичка. Самка же преспокойно спит, свернувшись клубочком. Стоящая рядом старушка смотрит на Гаршву так, точно он покушался отравить ее внуков.

— Они говорят, ты слишком быстро захлопнул дверь на восемнадцатом, сломал клетку, едва не побивал зверьков!

— Верно, О'Касси, я сломал клетку, потому что этот джентльмен вошел в лифт и ни с того, ни с сего повернул обратно. Тем временем двери сомкнулись, и клетка немного пострадала. А с шиншиллами, я думаю, ничего не случилось. Правда, мальчик струхнул малость. Но его подружка дрыхнет как ни в чем ни бывало. Похоже, что у него нервишки послабее, как у большинства мужчин.

Губы диспетчера чуть заметно улыбнулись. «О-кей, Тони! Поди-ка за угол, а когда эта парочка отвалит, возвращайся».

Уходя, Гаршва слышит голос диспетчера:

— Он пошел к менеджеру, который наложит на него взыскание. Это в самом деле переходит все границы. Бедные зверюшки!

Когда Гаршва возвращается, диспетчер говорит:

— Пропади они пропадом, эти вонючие шиншиллы! Поосторожней, Тони.

— Спасибо, О'Касси. Я постараюсь.

Экспресс от десятого до восемнадцатого. Пожалуйста, ваш этаж, спасибо, рука-рукоять — на кнопку, подъем. Я не злюсь, что старички настучали на меня. Сам виноват. Какого черта расфантазировался о долине Иосафата? Бедные старики. Может, они бездетные и будут воспитывать этих шиншилл как возлюбленных чад своих. Может, и мне последовать их примеру, и это меня спасет?

Элена и я — вместе. В семейном согласии. Домишко где-нибудь на Ямайке. Весь этаж — наш. Мы с ней развешиваем репродукции. Расставляем книги. Солидно выглядят альбомы художников и сочинения поэтов. Отдельная полка для собственных творений. Вечерами слушаем музыку, читаем, спорим, незлобиво, со вкусом. Светит лампа с абажуром зеленого стекла. Мы находим станцию «С», там нету мраморных колонн, но в зале ожидания — спокойствие. И на низеньком столике — живые цветы. И на наших лицах — постоянная завязь улыбки. И в наших снах — предчувствие пробуждения. И в наших объятиях — первая поездка в Джонс Бич. И наша эмблема — головы давно уже мертвых шляхтичей. В свободное время у нас игры. Мы составляем кубики, строим замки, фантазируем на темы жизни и смерти. И книги приходят нам на помощь. Не обязательно Гомер или Данте. Приходят и свои. Мы пьем игристое вино, и на инкрустированном столе из черного дерева вспыхивает фламминго; мы плывем по озеру Четырех Кантонов, и усопший мальчик на том берегу поет под гитару еще неслыханную в мире песню; и снова солнышко мир пробуждает, взбираясь по небу; и живем мы на севере лютот, бескрайнем, где поле, луг, дорога, крест; пойте, пойте, мои пальмы, у оазиса ветров!..

Зоори, зоори, волшебное слово, ключик волшебный, волшебная страсть, волшебная пошлость, волшебная ностальгия, ностальгия небьющейся клетки.

И вот в нашей клетке родится младенец.

* * *

Большой перерыв. От 8³⁰ до 9¹⁵ Гаршва и Стенли шагают рядом.

— В кафетерий? — спрашивает Гаршва.

— Сначала в подвал, — отвечает Стенли.

— Зачем?

— Увидишь.

— Откроешь свой шкафчик?

— Скучный ты, Тони, человек.

Они ждут кабину лифта. Тут же и раскоряка-диспетчер, жертва полиомиелита.

— Десять лет в отеле, — говорит Стенли.

— Корячится?

— И напрашивается на сверхурочные дежурства. Его жена работает на кухне. У нее любовник-пуэрториканец. Уж они-то за сверхурочными не гонятся.

Полиомиелитик дружески подмигивает.

— Он симпатяга с лица, — замечает Гаршва.

— Как и его жена, — добавляет Стенли, глядя на шкалу-указатель этажей.

Куча старых стульев в конце коридора. Дверь вестибюля распахивается, и верхний стул с грохотом летит прямо на пол. Два рослых отельных детектива тащат сомлевающего постояльца. Старый, ноги волочатся по полу, зрачки закатились, и белки глаз светятся под жидкими веками, как матовые плафоны. Рот старика приоткрыт, и сквозь искусственные зубы стекает слюна. Следом идет женщина в черном платье и с идиотски нарумяненной физиономией. Стоптаные туфли, грязно-белые манжеты и вылинявшая дорыжа старомодная шляпка. Полиэтиленовый пакетик с грецкими орехами в одной руке, а еще три ореха — в другой.

— Это его, — говорит она.

— Срочно — десятый, — говорит один из детективов. Диспетчер ковыляет к пульту и нажимает сразу все кнопки.

— Возьмите, сэр, — говорит женщина, пытаюсь всучить неподвижному старику пакетик с орехами.

— Я думаю, джентльмену теперь не до орехов, — вежливо замечает Стенли.

— Это его орехи. Он шел по вестибюлю и держал в руках. Потом упал. Я подняла пакетик. Три ореха

выкатились. Я собрала их, — объясняет женщина и сует эти три ореха Стенли под самый нос.

— Похоже, скончался, — говорит второй детектив, подержав руку старика.

— Врач только что поднялся на десятый, — сообщает диспетчер.

Старик вдруг всхрапывает.

— Ишь ты, живой! — удивляется детектив.

— Недолго ему осталось. Я посмотрелся на таких, — поясняет его напарник.

Со звоном подкатывает кабина, секунда, и три пассажира исчезают.

— Мистер! Мистер! Орехи! Вы забыли свои орехи! — взывает женщина, а на шкале уже шестой этаж засветился.

— Можете спокойно съесть их. Или раздайте детям, — советует Стенли. И вместе с Гаршвой входит в лифт, который спускает их в цокольный этаж.

Десять минут спустя Гаршва и Стенли стоят с подносами в служебном кафетерии отеля. Беззубый пуэрториканец бренчит тарелками. Дымятся котлы со вчерашними блюдами, которых не съели постояльцы отеля.

— Кусок индейки?

— Ладно.

— И стакан молока?

— Ладно.

— Рис?

— Ладно.

— Ты что-то разговорчив сегодня, Тони. Старик с орехами?

— Возможно.

— Да, да, я вижу.

Кафетерий низкий и узкий. Широкие окна на 34-ю улицу. Красно-бело-сине-зеленые огни реклам подсвечивают лица сидящих, потому что в кафетерии слабые — из соображений экономии — лампочки. Тот же

бордовый цвет, что и во всем отеле. Только тут он грязней, мрачней. Когда-то на стенах висели картины. Репродукции с непонятными пейзажами. Потом их убрали. Новый помощник управляющего решил: репродукции устарели. Помощник бывал в музее современного искусства и вознамерился повесить что-либо помодернее. Но через месяц начальство уволило современного помощника после того, как выяснилось, что он занимается эксгибиционизмом на станциях подземки. Так и не дождался кафетерий новых картин. Остались блеклые квадраты на стенах, словно мнимый наряд короля из старой сказки.

Гаршва и Стенли садятся у окна. Едят, глядя на улицу. У обоих приятно кружится голова. В тумбочке Стенли осталась валяться пустая бутылка «Сигрем». За соседними столиками гомонят посетители. Ночные сторожа в красных мундирах нараспашку; рабочие кухни в замызганных фартуках; клерки, взбадривающие себя кофеином; женщина-фотограф, лицо которой наштукатурено до того, что она и сама не знает, сколько ей лет.

В сторонке уселась четверка горничных-негритенок. После каждой фразы они покатываются от хохота — еще не забыли, как смеяться.

When de golden trumpets sound

Where will yo'soul be found?

Standin' aroun', standin' around

When de golden trumpets sound, —

говорит Гаршва, пережевывая остатки индейки.

— Негритянские зонги?

— Да.

— Все-таки ты еще энтузиаст, — замечает Стенли, прихлебывая молоко.

Гаршва перестает жевать.

— Почему?

— У меня было такое же чувство, когда я впервые услышал Моцарта.

— А теперь?

Глаза Стенли прячутся за набрякшими веками.

— Теперь осталось только сознание того, что существует такая музыка.

— Ты больше не слушаешь Моцарта?

Глаза выныривают из-под век, но розовая поволока остается. Лицо Стенли подрумянено багряным отсветом рекламных огней.

— Да. Концерт си-бемоль мажор. Изумительное ларгетто. Пронзительно-прекрасная ария итальянской оперы. Концерт ре-мажор для скрипки. Рондо, изящное, как моя мама, танцующая мазурку. Ты знаешь, мама все еще отплясывает на польских вечерах. Говорят, здорово. Да. Симфония Гаффнера. Кажется, аллегро кон спирито. Дьявол в напудренном парике вот-вот поклонится, приглашая к менуэту. Да. Я не слушаю больше даже «Реквием». Потому что я, как Моцарт, дошел до ручки. Слушаю, что говорит мне «Сигрем». Семь грамм, что ли...

Негритянки все еще заливаются смехом после каждой фразы. When de golden trumpets sound. Around, around, around, around. Женщина-фотограф медленно ест. Ее черты недвижимы. Здоровяк-швейцар басит за столиком:

— Ты ж понимаешь! Четыре чемодана — будто камнями набиты — и — — — всего четвертак. Я еще битый час объяснял ему, как добраться подземкой до улицы Гелеи. И что вчера в соседнем отеле обедал Эйзенхауэр. И еще какую-то ерунду. Четвертак! А еще в верблюжьем пальто.

Golden around. Один из блеклых квадратов на стене вспыхивает и гаснет вслед за рекламной звездой. Возрождается и тут же умирает Ренуар. The trumpet of art. В кафетерий входят два пуэрториканца. Они тараторят по-испански и размахивают руками. Не пролив ни капли, несут свои стаканы с апельсиновым соком. Трясется живот хохочущей негритянки. «Во дает!» —

выкрикивает она. И вторит хор. Черный греческий хор в уменьшенном масштабе. Agoun' agoun' agoun'. «А» и «о» звучат приглушенно, как в джунглях после ливня, когда над зарослями клубится пар. По улице катят автомобили; пожелтевший клерк устоял на пустую чашку из-под кофе; из главного вестибюля бельэтажа доносится чей-то зычный бас, но поди разбери, кто кого и зачем зовет. Agoun' agoun' agoun' agoun'.

— Что ты шепчешь? — спрашивает Стенли.

— Agound, — отвечает Гаршва.

— Ты плохо кончишь.

— Я уже двадцать лет, как знаю об этом.

— Я хотел сказать, что наступит день, когда ты плохо кончишь.

— У каждого наступает свой день. Ночь. Утро. Вечер.

— Золотые слова. Похоже, ты хочешь на что-то решиться?

— А ты?

— Сократовский метод?

Гаршва разглядывает Стенли. Поклонник Моцарта, к тому же еще и про Сократа слыхивал. Вытянутое лицо спившегося шляхтича. Дрожащие руки.

— Послушай, Стенли. Почему ты — — —

— Почему я здесь работаю, ты хочешь знать? Временно. Я покончу с собой. Засвистали-поехали.

Гаршва не осмеливается спросить «почему». Он пьет молоко и наблюдает за возрождением и смертью Ренуара. Негритянки уже не хохочут. Сдвинув головы, шушукуются, как заговорщицы. Замышляют кокнуть богатую вдову-старуху. Когда та уснет, две негритянки будут стоять на стреме, а две придушат ее подушками. А потом цапнут драгоценности и все четверо рванут в Гарлем. Будут отбывать там покаяние на дому у черного пророка под вопли труб и бой бара-

банов. Чушь! Негритянки, небось, перемывают косточки подружкам или жалуются на постояльцев.

— Томас Вульф на нескольких страницах описывает человека, который сиганул с какого-то этажа, — говорит Гаршва.

— В литературе всё прекрасно. Даже то, что противно. Я посещал музыкальную школу. Учился играть на фортепьяно. И начал пить. Почему? Может быть, ты ответишь? Ты европеец, и у тебя есть традиционные ответы.

— Ты не до конца откровенен со мной, — резюмирует Гаршва.

Стенли смотрит на него, как на школьника, который не выучил урока и уваливает от ответа.

— Я откровенен. Я очень хочу покончить с собой. Дзенкье.

— Чего же ты тянешь? — говорит Гаршва и даже сам пугается, потому что лицо Стенли становится серьезным, какая-то утонченность проскальзывает в его чертах. Может, это бывшая гордость, шляхетский меч, самолюбивая складка губ, красочный наряд, контуши и конфедератка.

— Идзь сраць, — говорит Стенли, встает и уходит. Гаршва весь сжимается. Я не хотел его обидеть, я только спросил. Может, я похож на старуху, которая совала умирающему орехи? Пятна от репродукций на стене — разве это ответ? Душа Стенли — блеклый квадрат, и Моцарт угаснет вместе с рекламной звездой над закуской. И негритянки перестанут шушукаться, принявшись за уборку номеров. И пожелтевший клерк уже что-то подсчитывает за своей конторкой. А у меня еще двадцать восемь минут. Я действительно не хотел обидеть Стенли. Нет ответа на мой вопрос. Ответ будет сформулирован теологами, психологами, социологами, моралистами, тезисописцами. Приходится вести себя так. А надо было ни так и ни сяк. А может — всяк...

Негритянки уже ушли. Вероника двадцатого столетия, женщина-фотограф, вдавливая окурок в пепельницу. Пуэрториканцы исчезают. В кафетерии пусто. Уже не играют золотые трубы. Агоип'? Вокруг меня Аукштон Панемуне. Души послезали с высоких табуретов и обступили меня со всех сторон. Я больше не различаю формы. Все смешалось. Узловатые корневища деревьев, туманное колыханье болот, деревянный Христос на вязнущей кочке и то ли слезы на Его резных чертах, то ли накрапывает дождь? Клавесин? Может быть, и клавесин. Что удивительного, если душа вдруг заиграет на клавесине? Душе безразличны эпохи, платье. Есть слова. Волшебные слова. Скульптурные очи покойных вельмож и бронзовые ужи, вползающие в ржавое кольцо — дверную ручку. И хор призраков, оборотней, домовых.

Затуманился день,
Насупился, ясный —
Вечер под небесами.

Ой, солнце садится
В черную тучу
За густыми лесами.

Какое же это богохульство, если Христос похлопает домового по плечу и болотная водица превратится в красное вино? Или лаума* косами вытрет лицо Его мокрое? Думается, что и такое решение вполне возможно. Решение? Неужто складывается стих, которого я так заждался?

Но почему же рядом — черный греческий хор? Смех негритянок — джунглей там-тамы. Смех негритянок — стук кулачков Элены по запертой двери. Боже мой, Боже, иже еси во мне, я люблю ее! Могу

* Фея в литовском фольклоре.

повторять лишь отраженные слова. Я люблю, люблю, люблю, люблю ее. Я люблю Элену. Стенли, где ты? Стенли, видишь, я сентиментален, как старая дева. Но я не сигану из окна. Я боюсь умереть, Стенли.

* *

Репродукция Шагала не изменилась. Облаковоло-
сая женщина парит над российским местечком. От нее
отделяется и летит к земле другая — с зеленым букетом
в руке. Ползут смутные дровни и машет кнутом
возница. На стенах всё те же тисненные обои с древне-
римским орнаментом. Книги аккуратно расставлены
по полкам и свалены в кучу на столе. Покрыты пылью.
Роскошный альбом раскрыт, и растопыренный маль-
чуган Сутина порхает по странице, словно картонный
дергунчик, которого потянули за шнурок. Тут же два
стакана с мутным осадком на дне и со сморщенной
вишней в одном из них, набитая окурками пепельница,
дамская сумка. Одежда — мужская и женская — сва-
лена на единственном кресле. С зеленой тахты свисает
мятая простыня, а одеяло в светлосинем пододеяльни-
ке съехало на цветастый линолеум.

— Я тебе подарю кольцо с карнеолом и забытый
трамвайный вагон на площади Королев, — сказал
Гаршва. Он поцеловал родинку в выемке шеи. — Завт-
ра же снесу кольцо к ювелиру. Он сделает тебе по
мерке. Вагон осмотрим в следующий вторник. Во
вторник я свободен.

Элена облизнула сухие губы.

— Хочешь пить? — спросил Гаршва.

— Хочу. Воды.

Он потянулся за синим халатом. Спинные мышцы
на миг напряжились. И когда он вернулся с водой из
кухни, Элена сказала.

— Я знала, что ты лежишь на песке возле меня,

и я видела твою спину. Мне ужасно хотелось к ней прикоснуться.

Она пила воду, а Гаршва взял с пола бутылку виски и налил себе треть стакана.

— Без содовой?

— Да.

Он выпил одним глотком. Сел на тахту у нее в ногах. Гладил тугую кожу ее ног, поросшую золотистыми волосками.

— Лежи, лежи, — сказал он, потому что Елена вздрогнула.

— Ты лежи.

День был туманный.

— Лежи, и всё.

Он целовал ее ноги.

— Накрой меня, мне зябко.

Он накинул на нее одеяло. Теперь она улыбнулась, показав мелкие правильные, чуть-чуть голубоватые зубы.

— Я солгала. Вчера я тебя ждала. Я видела тебя. Ты стоял у аптеки. Мое окошко — угловое.

И добавила: «В твоей комнате слишком много синего. Халат, пододеяльник, корешки книг, часы, линолеум. Ты любишь синий цвет?»

— Я люблю синий цвет жилок на твоих ногах, — сказал Гаршва.

— Не играй словами. Ты еще очень молод, и я устала. У меня пусто в голове. Как у шляхтича.

— У шляхтича?

— Моему шляхтичу взбрело в голову слушать, как играют на клавесине. Знаешь, муж смеется надо мной. Я накупила уйму пластинок с клавесинной музыкой.

Гаршва взял бутылку.

— Налить?

— Немножко. В мой стакан с водой.

Они молча выпили.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты надо мной смеялся. Молчи. Я читала твои стихи. Я попросила мужа, чтобы он пригласил тебя на Джонс Бич. Я знала, что вы познакомились у Вайнейкисов. И заранее знала, что ты будешь моим. Думаешь, холодный расчет? Молчи. Поверь мне, я сама не знаю, правда, не знаю. Верно, кое-что я рассчитала. Твой напиток согревает. Нет, сейчас не целуй. Зачем ты купил виски? Тебе нужна деланная любовь? Молчи. Пей, если хочешь. Налей мне тоже. Хватит.

И они выпили.

— У меня голова кругом. Впрочем, какая разница? Настоящая, деланная... Я всего-навсего бывшая преподавательница гимназии. И я любила Вильнюс. Часами бродила по городу. Той осенью, — знаешь, эти популярные книжки о метампсихозе? — мне казалось, будто всё уже много раз мною пережито. Хочешь, расскажу? Ты же просил меня. Про головы мертвых шляхтичей. Ладно. Слушай. Однажды ночью шел по Завальной славный юноша. Подняв воротник, — дул пронизывающий ветер, ведь была осень, — он спешил домой после лекций. Ты знаешь о колоннах в университетском дворике? Не смейся. Ты поэт. У каждой колонны стоит молодой мечтатель, летят по ветру концы его галстука, шуршит сухая листва, он декламирует стихи. Молчи. Мне так хотелось плакать вчера, на площади. Давно я не плакала. У тебя так уютно. Слушай дальше. А будет неинтересно — останови меня. Не целуй, не надо. Славный юноша, светловолосый, несколько веснушек на носу — не улыбайся, я так придумала, — и очень голодный, потому что он беден, — пусть будет шаблонно; дело было при немцах, и юноша торопился, чтобы успеть домой, пока не начался комендантский час. Возле какого-то дома с лепными головами шляхтичей на карнизах окон он услышал звуки клавесина. Разумеется, он тотчас остановился: странно слышать клавесин при

немцах. Это был дом с тяжелыми дверями, украшенными бронзовыми львиными головами с цепями в зубах, и славный юноша не решился дотронуться до цепи. Но двери вдруг сами распахнулись, и внутри было темно, а сверху струился зеленоватый свет. Юноша стал подниматься по гранитным ступеням. Свет был все ярственнее. И звуки клавесина — тоже. На лестничной площадке вверху стояли позолоченные статуи с факелами в руках, и эти факелы горели зеленоватым пламенем. И красная ковровая дорожка вела в залу. Нет, не давай мне пить. Посиди спокойно. Юноша вошел в залу. Сияло множество свечей в малахитовых подсвечниках, пухлые ангелочки дули в длинные трубы; там же были плетеные корзины с белым виноградом, яблоками и грушами. И огоньки свечей замерли неподвижно, хотя светловолосый юноша и чувствовал, как ему в спину дует ветер. Не улыбайся, так я придумала. Придумала очень логично. Наружная дверь была приоткрыта, понимаешь? В зале недвижно стояли люди в темных одеждах и белых жабо, с остробородыми белыми лицами и без глаз, потому что веки были в тени. Я думаю, что лепные головы шляхтичей были насажены прямо на бархатные камзолы. Все стояли, почтительно наклонив головы. И... слушай. В зале, у стены, был зеленоватый клавесин; странно, да? Ведь огоньки свечей были ярко-желтыми. И сидела женщина в белом платье, кружева которого стекали на паркет, начищенный до зеркального блеска; женщина в белом сидела и играла. Двигались только ее восковые руки. Длинные пальцы перебирали клавиши. Двое слуг в красных ливреях поддерживали слепца; он, казалось, слушал с удовольствием, даже улыбался. Ты хочешь знать, какое лицо у женщины? Не знаю. Однажды мне представилось, что это мое лицо. Не смейся, я напудрилась и долго смотрела в зеркало. И тогда я решила: это я. В конце концов, не важно, какое лицо у женщины. Она отняла руки от клавишей, заметив

светловолосого юношу. И он приблизился и, само собой, опустился на колено и поцеловал ее протянутую руку. Если хочешь, теперь целуй меня. Хватит. Потом, милый. Сиди и слушай. Светлый юноша пригласил на танец женщину в белом. Двое слуг бережно усадили слепого на круглый стульчик, и он заиграл менуэт. Слепой кивал головой, ему, очевидно, было весело. И головы шляхтичей кивали в такт танцующим. И в начищенном паркете отражалось всё это. И... нет, дай мне поплакать, это детские слезы. Позолоченные статуи спустились со своих пьедесталов; помнишь статуи на верхней площадке? Они вошли в залу, залитую зеленоватым светом факелов, на шеях статуй висели разорванные цепи, цепи львов. Ладно. Налей немножко. Спасибо. Хватит. И светловолосый юноша увидел — он обнимает деревянную колоду. И вокруг стояли чурбаны — деревянные, безголовые. Вокруг тухлявого клавесина. И заплесневелые жирные ангелочки со своими трубами, и прогнившие корзины с фруктами. Свечи погасли. Горели только факелы. Куда девались слепец и слуги в красных ливреях? Не знаю. И мыши копошились в щербинах развороченного паркета. Светловолосый юноша выпустил из рук черную колоду. Та рухнула, и многократным эхом отдался грохот ее падения. И юноша ринулся вниз по лестнице и слышал, как кто-то колошматит по клавесину. Клавесин вопил, будто его жгли. Юноша выскочил на улицу, и дверь захлопнулась. Светил месяц, мертвые головы шляхтичей сидели на карнизах.

Теперь объясню тебе. Я не всё придумала. В Вильнюсе была выжившая из ума старуха-полька, бедовавшая среди свечей и книг. Словно последняя ведьма. Чутьочку сала, масла и польской речи сделали ее более радушной. Мы разговорились. О клавесине. А теперь иди ко мне.

Гаршва откинул одеяло, снял халат и лег рядом. Руки Элены ходили по его телу.

— Ты знаешь, что было дальше со славным юношей?

— Да?

— Он утром вернулся к тому дому. Разыскал сторожа, и тот впустил юношу внутрь. Дом стоял запертый много лет. Все было так, как он оставил, убегая. Деревянные чурбаны оказались заготовками, принесенными сюда каким-то резчиком по дереву. Никто не знал, почему он так и не закончил свои статуи. И...

— И?

— Я вру. Эту историю рассказала мне старая полька. Я была в том доме. И хотела сыграть на дряхлом клавесине. Расстроенный инструмент. Пыль. Холод. Позолоченные фигуры недурно сохранились. Тебе понравилась эта история?

«Она заводится от таких историй. Гофман воскрес, чтобы восславить Эроса», — подумал Гаршва и сказал:

— Я вспомнил свою мать.

— Люби меня, — сказала Элена.

И снова была лишь репродукция Шагала, аккуратно составленные и разбросанные книги, набитая окурками пепельница, сумочка, сваленная в кучу одежда, растопыренный мальчуган Сутина, мятая простыня, два стакана на линолеуме, а рядом — сбившееся комом одеяло в светло-синем пододеяльнике.

* * *

Стенли возвращается с двумя чашками кофе.

— Извини меня, — одновременно говорят и Стенли и Гаршва. Оба виновато улыбаются.

— Пей кофе, — говорит Стенли, придвигая Гаршве чашку.

— Я не хотел обидеть тебя, Стенли, — говорит Гаршва.

— Видишь ли, я себя тоже о многом спрашиваю. Ты знаешь, я писатель. Хорошо, что ты вернулся.

— Пей кофе, — отвечает Стенли.

И помолчав, добавляет: «Мой отец говорил, бывало: поляки — народ горячий. Я склонен верить в это. Отец драл меня. Он и сейчас бы задал мне хорошую порку. А я бы всыпал кое-кому из постояльцев. В общем, я обещаю больше не ругаться по-польски. На английском, надеюсь, мне будет позволено?»

— Да, валяй.

— О-кей, Тони.

— О-кей?

Они пьют кофе.

— Хочешь знать, чего я тяну? — вдруг спрашивает Стенли, глядя Гаршве в глаза.

— Не обязательно.

— Ты деликатный малый. У меня есть девушка. Та самая, у которой пупок — впадинка. Кóхам. Ясно?

— Вполне. Потому что и у меня... девушка.

— Смешные мы люди, Тони. Не иначе, как мы с тобой двойняшки.

— Двойняшек полно на свете. И у них тоже свои девушки.

— А твоя любит тебя?

Гаршва пьет кофе. Наконец выдавливая из себя:

— Я потерял ее.

— Почему?

— Расстались.

— Изменяла?

— Я не мог ее любить.

— О, ты уже...

— Нет, не в том дело. Я болен, Стенли. В последний раз со мною случился обморок. И еще я говорил с ее мужем. И обещал ему, что мы больше не будем любить друг друга. И я не впустил ее, когда она снова пришла ко мне.

— Ты всё еще любишь ее?

- Очень, Стенли.
- Чем ты болен?
- Я... точно не знаю. Когда мне пробили голову. Но и раньше, в молодости, у меня бывали припадки.
- Ты был у врача?
- Был. Он велел зайти еще. Я не пошел.
- Проклятый ад.

Стенли, ругнувшись, допивает свой кофе. И, помолчав, спокойно говорит: «Я свою застукал с каким-то клерком из Даунтауна. И всё равно люблю ее».

Уже и ночные сторожа ушли. И женщина-фотограф. Старичок-караульный сидит в углу, ест макароны. Макароны длинные, он пожирает их, как гойевский Сатурн пожирает своих детей. Не доносится больше зычный бас капитана. В кафетерии тихо. Как на частной квартире. Еще ярче грязная бордовая краска, блеклые пятна на стенах, сполохи рекламных огней, окурки, фантики от жевательной резинки, пустые сигаретные пачки на полу.

На пороге — Кафка. Грустный еврей, и глаза его знают: Иегова не назначал ему аудиенции. «Почему я не Моисей?» в глазах у Кафки. На пороге Оскар Уайльд. У него в руке подсолнух, он озирается по сторонам, словно тут набережная Сены и плывет по Сене труп Дориана Грея. На пороге Бодлер. Он не сводит глаз с макарон, ползущих в рот караульному. Это черви, они гложут его, полуголового. На пороге Рембо. Он покачивается, в руках у него ружья, шпаги, штыки. Вываливается из охапки пьяный корабль. На пороге пьяненький Верлен. «Какой стишок вам — религиозный или пикантный?» — угодливо осведомляется он и поглядывает на чашки с кофе. На пороге Эмилия Дикинсон. Пожелтые письма приколоты к белому платью. Она внимательно рассматривает Гаршву и Стенли и говорит: «Итак, господа, до Элизиума так же далеко, как и до соседней комнаты». На пороге Эзра Паунд, он с иронией произносит: «А вы знаете,

что такое фанопозья и ее составные части — розе уайт, джеллоу, сильвер; салтус; сонкава валлис?» И он восклицает «аой! аой!», а у самого лицо мудрого китайца. На пороге Женя. За нею — Ницше, поет в экстазе: «Ариадна, я люблю тебя!» На пороге мама Гаршвы — смотрит, смотрит последним взглядом.

ШКЕМА Антанас — литовский писатель, родился в 1911 г. в Лодзи, в 1921 г. вместе с родителями репатрировался в Литву. Окончил Каунасский университет, но в 1936 г. начал актерскую карьеру в Каунасском литовском государственном театре. В 1940 г. переезжает в Вильнюс, где становится актером и директором театра. В 1944 г. эмигрировал и поселился в США, выпустил целый ряд сборников рассказов, роман и несколько пьес, поставленных во многих театрах. Регулярно печатался в журнале «Литуанус». В 1961 г. погиб в автомобильной катастрофе. В 1970 г. Оклахомский университет выпустил посвященный ему сборник работ «Антанас Шкема. Трагедия творческого сознания».

МАСТЕРСКАЯ

О т р е д а к ц и и:

Так мы назвали свою новую рубрику, под которой у нас будут публиковаться произведения поэтического эксперимента. Открывает рубрику член редколлегии журнала Иосиф Бродский, предлагая вниманию нашего читателя стихи Эдуарда Лимонова.

Стихи Э. Лимонова требуют от читателя известной подготовки. То, что представляется в них эксцентрическим, на деле есть нечто иное, как естественное развитие той поэзии, основы которой были заложены М. В. Ломоносовым и освоены в нашем столетии Хлебниковым и поэтами группы Обериу. Обстоятельством, сближающим творчество Э. Лимонова с последними, служит глубокий трагизм содержания, облеченный, как правило, в чрезвычайно легкие одежды абсолютно сознательного эстетизма, временами граничащего с манерностью. Обстоятельством же, отличающим Э. Лимонова от обериутов и вообще от всех остальных существующих или существовавших поэтов, является то, что стилистический прием, сколь бы смел он ни был (следует отметить чрезвычайную перенасыщенность лимоновского стиха инверсиями), никогда не самоцель, но сам как бы дополнительная иллюстрация высокой степени эмоционального неблагополучия — то есть того материала, который, как правило, и есть единый хлеб поэзии.

Э. Лимонов — поэт, который лучше многих осознал, что путь к философическим прозрениям лежит не столько через тезис и анти-тезис, сколько через самый язык, из которого удалено все лишнее.

Иосиф Бродский

СТИХИ

От лица какого-то неопределенного, смутного.

Кого-то вроде себя. кого-то такого. с чем-то.
трагическим. с полуфразой — полувздохом.
с налетом фантазии. с большим летним днем

и вам нужно. чтобы закатываясь
светило не повредило вам головы

сколько нежных лучей на книгах
растоптанная дедовская пыль
как не хватает знатоков античности
беспольных и красивых старцев. редкобородых
в доме пергамента. в море волны

тихий сытый обед посредине лета
в восторженно открытой груди застряли
цветы полевые. колечки ромашки
и белоснежные вздохи наполняют дом

в свечении ужаса он видит птицеферму
сгущающийся дождь. поголовье кур
и видит он взором черным
пустые углы лилового двора

Двор политический. здесь со скрипом
казак Матвей натаскавши кольев
в землю вбивает. плетет руками
бородатые плечи. уханье ног
на замороженной штанине пятна
солнечный сап и рык

отчего так долго
отчего так сладко

столько обитателей стоит на горе

по нежной статуе школьного героя
гуляет глянec. гуляет гипс
поблизости живет мать-старушка
сухие ручки сжимают плакат
В тени в темноте выполняет город
свои функции. играет свою роль

Рояль дребезжит. везут колбасы
зевотою занялся вон старик
мечтают птицы. пилят бревна
два интеллигента в библиотеке сидят

От войны не осталось разбитых зданий
Все отстроилось и окрепло
набегая на берег река смеется
и как раз за школу солнце зашло

Ужение рыб на закате за школой
скользкие бревна и разговор
Ученик Матвеев. Ученик Тимофеев
Ученица Крюкова и дальше все
Разговор о прериях о пампасах
о свойствах увеличительного стекла
о соседних холмах
о совсем старших классах
безначальный волнующий всегда разговор.

и по прелести рока
по ненасытности судеб
вздыхают юные наши друзья
чтоб бросало их повсюду они мечтают
но трамвайная остановка с места не сойдет

также будет круг. будут эти рельсы
булка. колбаса. клетчатая рубашка
И ван Фонвизин. Степан Бородулин.
милые учителя
блестящие гости земли

* * *

Белый домик голубки
Хитрые маски судеб
Сплетенными вторые сутки
Я оставлял пальцы свои
А земля всегда цвела в мае!
Всегда до грехопадения цвела земля
Земля всегда побуждала к греху
Большому и малому

Возбуждала к пролитию сладкой крови
Ибо что и за жизнь без греха
Что за жизнь
без печали по невинно убиенному
царевичу Димитрию
на песчаных дорожках
в майском саду

Что за ночь
если не убивают Андрея Боголюбского
Если не находят его под крыльцом
Что это за ночь тогда
И разве жаркий летний полдень
это полдень
если он не нагревает
Черных траурных одежд матерей
И белотелых дочек
Ах это не полдень тогда!

* * *

Тканям этой оды шум
ткани мне проникли в ум
помню красные отрезы
помню черное сукно
Магазинные березы
лезут к Харькову в окно

Продавец старинный. Просесть
Мне рулон сукна выносит
Разрешите? На пальто?
Я волнуюсь. Кто я — кто?
Он мистически разводит
руки желтые свои
нужно место он находит
там где хватит для швеи

он сукно перерезает
моя тряпка отползает
остается их рулон
и рулона прежний сон

В старом мире все бывало
туго тряпка обвевала
бледный в зеркале стоял
мамы прихоть выполнял

«Подошло!» Друзья судили
и серьезно отходили
взором меряли вы русского
в ткань завернутого. узкого

Юноша! сегодня день
очень памятный. и тень
от него надолго ляжет
к связям с вещами обяжет

Ты сегодня обручен
при друзьях препровожден
Продолжение кожи — ткань
Производство — Эривань

и живых людей толчки
были мясны и мягки

Все кто был тогда там в зале
Умерли. ушли завяли.
Нас тогда был целый зал
Только мне далось. Бежал.

ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА

Э д у а р д Ш т е й н

«ПОЭЗИЯ РУССКОГО РАССЕЯНИЯ 1920 — 1977»

«Запад должен знать, что, где и когда писали русские поэты-изгнанники. Книга эта, надеюсь, поможет свободному читателю будущей России. Ценнейшее качество поэзии нашей диаспоры — глубочайшая духовность, позволяющая ей существовать вне родной питательной среды, с успехом замененной возвеличивающим сознанием свободы. Что принесло свободное творческое созидание, что передают в наследство потомкам поэты рассеяния, что сделали они для России — обо всем этом повествует эта книга».

Эдуард Штейн

Это библиографический справочник о произведениях
750-ти поэтов русского Зарубежья.

Цена книги в предварительной продаже — \$ 6.00.

Нормальная цена книги — \$ 8.00, включая пересылку.

Заказы направлять по адресу:

E. SZTEIN, 7 Miles Ave., Woodbridge, Conn. 06525. U. S. A.

Россия и действительность

Анатолий Федосеев

ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЦИАЛИСТОМ

Определение социализма

Представлений о социализме едва ли не столько же, сколько людей. Но спросите любого, что он называет социализмом, и в 99 случаях из ста вы получите ответ, в котором нет ничего, кроме голых лозунгов: строй, который характеризуется равенством, справедливостью, свободой и т. п. А какова должна быть конкретная структура этого общества, кем и как оно будет управляться, как будет происходить взаимодействие людей, имеющих различные и противоречивые интересы? Никто из 99 не скажет. Некоторые, впрочем, приведут как пример Швецию, имея в виду высокий уровень жизни и наиболее развитую систему социального обеспечения. Любопытно, что Швеция — наиболее капиталистическая страна в мире: 90% ее хозяйства — в частных руках. Успех же ее — простой результат кооперации между государством, профсоюзами и частными корпорациями. Эта кооперация — безусловная редкость в мире, в последние годы она и в Швеции начинает испаряться, разрушая прежнее благополучие.

Самые сведущие из оставшегося процента опрошенных определяют социалистический строй двумя главными характеристиками:

— общество, в котором *основные средства производства обобществлены;*

— общество, которое управляется с помощью *разумного национального планирования в интересах населения.*

Полагаю, что против такого определения не будут возражать и сторонники «социализма с человеческим лицом». Оно не включает в себя ни диктатуру пролетариата, ни революцию — никаких устрашающе экстремистских характеристик. Обобществление средств производства и разумное (без кавычек) национальное планирование в интересах населения — только они и являются существенными и неотделимыми характеристиками социализма. Не приходится удивляться, если социалисты или коммунисты откажутся от диктатуры пролетариата или насильственного захвата власти.

Следует отметить, что 1) приведенные определения социализма придают ему исключительную *привлекательность* не только для простых, неискушенных, но и для высокообразованных, интеллигентных людей; 2) в то же время они достаточно *всеобъемлющи*, чтобы, исходя из них, определить все детали общественного строя, называемого социализмом.

Национальное планирование вообще и национальное планирование социализма

Почти любое государство мира пытается управлять хозяйством страны с помощью того, что называется государственным и национальным планированием. В Англии, например, это планирование осуществляется через государственный бюджет, через Национальный совет предприятий (National Enterprise Board) и т. д.

Легко заметить, однако, что национальное планирование стран Запада не исключает инфляции, безработицы, нищеты, хотя и старается их ликвидировать. Более того, оно не включает никаких мер, способных гарантировать ликвидацию этих зол. Ясно,

что национальное планирование социализма должно не допускать ни инфляции, ни безработицы, ни нищеты. Иначе — какой же это будет социализм? И кому он такой нужен?

Чтобы не было *инфляции*, нужно соблюдать в стране постоянство соотношения между доходами населения и количеством произведенных в стране товаров потребления. Если доходы увеличатся, а производство товаров останется прежним, соотношение автоматически изменится в сторону повышения цен, т. е. появится инфляция. Для сохранения прежнего соотношения нужно, чтобы увеличение доходов населения строго соответствовало увеличению производства товаров, т. е. увеличению производительности труда.

Чтобы не было *безработицы*, необходимо точное соответствие между числом новых работников в стране и числом новых рабочих мест, появляющихся в результате капиталовложений в расширение производства.

Чтобы не было *нищеты*, нужно поддержание правильного соотношения между допускаемыми максимальными доходами и гарантируемыми минимальными (включая государственные пособия). Соотношения, определяемого ресурсами страны.

Все эти соотношения, или балансы должны соблюдаться точно: ошибка в 10% выразится в десяти процентах инфляции или безработицы. Никакое национальное планирование Запада не претендует и не может претендовать на поддержание этих необходимых и точных балансов, оно не имеет ни необходимой для этого власти, ни соответствующих задаче рычагов.

Суть разумного национального планирования при социализме в том и состоит, что оно предписывает все необходимые точные балансы. Социалистический национальный план — это полный комплект вышеуказанных балансов, предписываемый хозяйству страны в интересах ее населения; это неизмеримо более высокий

уровень планирования. В этом смысле социалистическое планирование отличается от планирования Запада, как полностью автоматизированный космический корабль от коляски с лошастью.

И я приглашаю читателя вместе со мною, так сказать, ввести в жизнь это разумное национальное планирование с его точными балансами.

Смешанная экономика и разумное национальное планирование. Точные балансы абсолютно невозможны, если имеется существенный (и непредсказуемый) частный сектор в хозяйстве страны. Следовательно, нужно подчинить его национальному планированию и потребовать от него выполнения планов. Тогда частный сектор перестает быть частным и владельцы предприятий становятся простыми чиновниками планирующих органов. Таким образом, социалистическое разумное планирование и смешанная экономика друг друга исключают.

Кооперативы. Если они имеют существенное значение в хозяйстве страны, они тоже должны в полной мере планироваться как неотъемлемая часть хозяйства. Правления кооперативов тоже превратятся в чиновников планирующих органов.

Социалистическое планирование и децентрализация. Если страна разделена на несколько самостоятельных областей, все они будут неизбежно взаимозависимы. Значит, ни одна область не сможет иметь свой собственный, независимый от других областей комплект балансов. Все планы всех областей должны быть увязаны в один, общий для всей страны план с общими для всей страны балансами. Иначе инфляция, безработица и нищета неизбежны. И снова: разумное национальное планирование и децентрализация друг друга исключают. Конечно, не возбраняется иметь «децент-

рализацию» в виде отдельного для каждой области раздела общего плана. Свобода же самостоятельного решения своей судьбы каждой областью, если вас интересует благо населения, недопустима.

Социалистическое планирование и многопартийная система. Член английского парламента консерватор Френсис Пим, судя по газетам, заявил, что противоположные друг другу политические линии двух правящих партий — причина нестабильности и ухудшения экономики Англии. Он, безусловно, прав и еще более был бы прав в случае социализма: невозможно сохранить точные и стабильные балансы национального плана, если они будут меняться с изменением правящей партии. В интересах научного планирования социализма и, следовательно, в интересах населения все правящие партии должны иметь одну и ту же экономическую, а значит, и политическую программу. Именно так сделано в Восточной Германии.

Безопаснее всего, конечно, иметь одну правящую партию.

Социалистическое планирование и свобода мнений в правящей партии. В Англии, например, все знают, что взгляды премьер-министра лейбориста Калагэна резко отличаются от взглядов члена парламента лейбориста Микардо. Взгляды бывшего премьер-министра консерватора Хита резко отличаются от взглядов члена парламента консерватора Хэйлшем. Можете ли Вы, однако, представить себе, что в одной стране действует не один, а несколько национальных планов? Ведь Микардо с Калагэном никогда добровольно не согласятся. Следовательно, в интересах единого сбалансированного плана все лидеры должны в некоторой степени подчиниться воле одного. Даже смена по какому-либо причинам этого главного лидера может по-

вредить стабильности и сбалансированности плана, т. е. повредить социализму.

Читатель может попытаться представить, каким образом такое единство в партии и стране может быть достигнуто. Во всяком случае, то, что сделал в свое время Сталин, вполне оправдано логикой сбалансированного планирования в интересах населения.

Границы страны, конвертируемая валюта. Как получить точные балансы национального плана, если через границу текут неконтролируемые потоки людей, денег, имущества? Вы будете вынуждены для спасения социализма закрыть границу, ввести монополию внешней торговли и привести все эти потоки под контроль плана.

Нечего говорить о непредсказуемых курсах валюты на международных биржах. Какие могут быть балансы, если курс скачет, как в лихорадке, не давая возможности даже закончить составление национального плана? Для спасения социализма Вы будете вынуждены ввести собственный твердый курс. Таким образом, социалистическая валюта должна быть неконвертируемой.

Додумайте сами все последствия закрытия границы и введения неконвертируемой валюты, и отдайте должное в этом вопросе мудрости товарища Сталина.

Свободный рынок. Как могут происходить взаимодействия между социалистическими предприятиями? Через свободный рынок? Конечно, нет. При связях через свободный рынок Вы опять будете лишены возможности получить все необходимые балансы. Ведь Вам будет неизвестно, когда и кто, у кого и сколько купит или продаст. Опять — либо социализм, либо свободный рынок с его непредсказуемостью. Приходится снова удивляться железной последовательности товарища Сталина и глупости таких «реформаторов»,

как Косыгин, пытавшихся с помощью «прямых связей» ввести элементы свободного рынка и потерпевших естественную неудачу. Следует ли удивляться неуспеху этих реформаторов? Их успех разрушил бы социализм!

Стимулирование труда. Как бы Вы перевели на язык отдельного социалистического предприятия необходимость национального баланса между производством и потреблением во избежание инфляции? Едва ли Вы придумаете нечто лучшее, чем запланировать каждому предприятию полную сумму зарплат под полную сумму продукции, т. е. запланировать необходимый баланс уже в рамках отдельного предприятия. Однако этого мало. Директор предприятия может (как показывает эксперимент) половину работников уволить, оставшимся платить вдвое и без особых усилий иметь гарантированное выполнение плана. А куда девать уволенную половину и чем ее кормить? Единственным хозяином-работодателем является всё то же социалистическое государство, а у него в плане такой оборот событий не мог быть записан. Значит, нужно планировать каждому предприятию еще и число работников, а следовательно, и среднюю зарплату, т. е. частное от деления полной суммы зарплат на число работников.

Ну, а если ряд работников проявит особый энтузиазм и перевыполнит свой личный план? Как их вознаградить? Разве что за счет других работников предприятия, которые безусловно запротестуют. Не могли же Вы заранее запланировать эту самую вспышку энтузиазма? И сбалансированное разумное планирование приводит к отклонению от социалистического принципа «каждому — по труду», по крайней мере, в отношении материального вознаграждения. В словесных наградах недостатка нет. Потому-то социализм и породил выражение: «как ни работай, сколько ни ра-

ботай, больше запланированного не получишь». Очевидная (и наблюдаемая в СССР) опасность такого положения — понижение интереса к труду.

Профсоюзы и забастовки. Пожалуй, Вам уже ясно, какие могут быть независимые профсоюзы и забастовки, если нужно иметь сбалансированный национальный план. Снова либо то, либо другое.

«Здравый смысл». Читатель, конечно, понимает, что создание сбалансированного национального плана, не допускающего инфляции и безработицы, — исключительно сложное и ответственное дело. Требуется переработать колоссальное количество первичных данных и вложить огромное количество труда, притом высококвалифицированного. Число одних проектов плана отдельного предприятия или учреждения может достигать сотен тысяч. И время, необходимое для создания окончательного национального сбалансированного плана, при всем использовании самых совершенных компьютеров, достигает нескольких лет. Большинство стран мира даже для несравненно менее сложных планов использует пятилетний период их действия (и создания).

Если бы Вы были создателем такого сбалансированного национального плана, Вы по справедливости гордились бы своим созданием. Но представьте себе работников какого-либо предприятия. Пока они представили свои проекты в планирующие органы, а затем получили утвержденный для них план, прошло много времени. Пройдет и больше до завершения плана. За это время местные обстоятельства непрерывно изменялись и, как правило, в самую непредвиденную сторону. Здравый смысл работников предприятия требует соответствующих изменений плана. Однако, если они и тысячи им подобных изменяют планы, все балансы национального плана будут разрушены, а инфляция и

безработица неизбежны. Так что если не отказываться от социализма и от предупреждения инфляции и безработицы, то нужно запретить всякое изменение утвержденных планов. Это означает, что нужно быть готовым противопоставить десяткам и сотням миллионов здравых смыслов населения единую волю сбалансированного национального плана. Чувствуете ли Вы, насколько слабы и ничтожны великий вождь и плановые органы перед этой огромной армией здравого смысла многомиллионного населения? Значит, еще до провозглашения социализма Вам надо бы подумать о средствах, с помощью которых волю сотен миллионов здравых смыслов можно подчинить воле будущего плана. Для этого Вам, несомненно, пришлось бы изучить опыт и испанской инквизиции, и итальянца Макиавелли, и Французской революции, и кровавой английской истории, и Ивана Грозного с его опричниной, и, конечно, Гитлера, не говоря уже о максимальном напряжении своих собственных талантов.

Не забудем, что главными специалистами по использованию здравого смысла оказываются наиболее активные и талантливые люди. Капиталистическое общество свободного рынка всё построено на применении здравого смысла, и все его основные деятели — в этом деле специалисты. Поэтому, объявив социализм, нужно сразу что-то делать с этой элитой старого общества. Эта элита и сама, бывает, стремилась к социализму и помогала его объявлению, не сомневаясь, что и он должен быть построен на здравом смысле. Когда она увидит, что от нее требуется не здравый смысл, а подчинение директивам единой воли, — она неизбежно станет препятствием социализму. Переучивать ее со здравого смысла на подчинение? И трудно, и долго, да и некому, да и выйдет ли толк... Придется ее частично изолировать, частично ликвидировать, как вполне целесообразно сделали Ленин и Сталин.

Однако дело со здравым смыслом обстоит и еще хуже. Этот здравый смысл совращает с социалистического пути даже людей из ближайшего окружения великого вождя. Это требует непрерывной бдительности и периодических чисток даже самой верхушки аппарата управления обществом. Легко понять, что сохранение разумного национального планирования социализма требует создания секретной и всепроникающей организации, профессионально занятой делом истребления или изоляции от общества не только ростка, но и зародышей здравого смысла.

Этим и объясняется, что не может существовать страны, называющей себя социалистической (в соответствии с нашим определением) и не имеющей такой организации.

Провозглашение социализма

Почти во всех случаях провозглашения социализма революционным или военным способом сначала начинается истребление активных носителей здравого смысла, а затем — планирование. Введение планирования может тормозиться недостатком опыта в плановом управлении хозяйством. Однако чаще всего чистое кровопролитие происходит в той или иной смеси с планированием, хотя иногда по рецепту «один рябчик — одна лошадь».

В Китае, Вьетнаме, Камбодже, Мозамбике, Эфиопии бывает трудно на фоне непрерывного истребления людей заметить усилия по планированию нового общества. В России планирование началось сразу после революции и даже прежде ее полного окончания. Если дойдет дело до победы социализма, например, в Англии, я думаю, преобладать будет плановая сторона, хотя без жертв тоже не обойтись.

Я надеюсь, читателю теперь ясно, что все «злодеяния» социализма — это вполне целесообразные,

логические меры построения совершенного общества, а отнюдь не результат простой жестокости или дьявольских свойств социалистов. Конечно, всегда найдутся под рукой и действительно жестокие люди, удобные для выполнения задачи.

Представьте себе, однако, что всё население страны, как один человек, отбросило здравый смысл (т. е. свободу действовать в соответствии с обстоятельствами по своему усмотрению) и подчинилось единой воле национального плана. Тогда нет надобности ни в каких жертвах при построении социализма и ни в каких организациях типа КГБ или ГУЛага. Чем полнее подчинение, тем меньше жертв.

Легко увидеть теперь, как важно соответствующее *воспитание и образование* в обществе социализма. Оно должно быть строго однородным и строго соответствовать идее научно управляемого общества. Эту задачу никак нельзя свести к вульгарному термину «промывка мозгов» — сложность и грандиозность этой задачи не укладывается в такую примитивную терминологию.

Религия, которая учит людей, что существуют законы и Судья выше земных, подрывает авторитет великого вождя и научных законов социализма. В интересах населения (меньше жертв) религия должна подавляться и строго контролироваться. Возможен и вариант использования религии для прямой службы социализму, как, скажем, в Румынии. Для этого нужно, чтобы первосвященники сами отбросили здравый смысл и идею превосходства Христа над земными законами. Сомнительно, однако, что этот вариант может быть прочным и длительным.

Совершенное общество социализма

Ясно, что социализм в наиболее совершенном виде должен быть похож на совершенный кристалл:

каждый член общества должен занимать соответствующее место и выполнять строго соответствующие обязанности. Все люди должны быть гаечками, болтиками, колесиками в совершенной машине социализма. Беда в том, что людям свойственно (особенно в условиях совершенного порядка) *стремление к беспорядку*. Поэтому в реальном социализме — скажем, в СССР — происходит непрерывная борьба порядка и беспорядка, хотя пока социализм существует — порядок, ясно, перевешивает.

Однако это беда внутренняя. Есть и внешняя причина несовершенства социализма.

В свое время в СССР гремел спор: можно ли построить социализм в отдельной стране или нужна мировая революция? Для людей неискушенных он может показаться чисто схоластическим. Сталин, казалось бы, решил вопрос положительно, и понятно, почему: не ждать же надолго затянувшейся мировой революции. Однако совершенный социализм, действительно, *невозможен в отдельно взятой стране*. Невозможно получить стопроцентно сбалансированный национальный план, если нет полной изоляции от остального мира и приходится иметь весьма экономически существенные дела с непредсказуемым и по-настоящему не планируемым капитализмом.

Кроме того, существование капитализма — непрерывное искушение населения опасным здравым смыслом. Поэтому социализм никогда не может приспособиться к существованию капитализма, хотя капитализм без труда приспосабливается к любому социализму и вообще к любому изму.

Жители Запада всегда думают, что скрытая или открытая враждебность социалистических режимов к Западу — результат личных свойств вождей или их непонимания Запада. Им трудно понять, что социалистические вожди и сами — рабы социализма, ибо любое повреждение социализма есть повреждение их

власти. В остальном же эти вожди ничем не отличаются от вождей Запада.

Диктатура вообще и диктатура социализма. Разница между ними очень существенна: 1. Путь к социализму рассматривается большинством его участников как путь к справедливому, разумному, совершенному человеческому обществу. Любая другая диктатура таких высоких целей себе не ставит, ограничиваясь низменными практическими задачами. 2. Социализм в его совершенном виде представляет собой наиболее совершенный, наиболее логически прекрасный порядок, который именно в силу этого превращает все человеческие существа в рабочую скотину. Едва ли любая другая диктатура может быть способна на создание такого совершенного порядка и такой полной трансформации людей в рабочую скотину.

Некоторые дефекты совершенного общества

Неэффективность социализма. Невозможно заранее планировать открытия или изобретения — национальный же план всегда напряжен, так как множество насущных нужд требует удовлетворения. И местный руководитель не имеет серьезной возможности в нужный момент помочь изобретателю изобрести, а открывателю — сделать открытие. Чтобы выполнить план и избежать неприятностей, он должен знать наперед все условия выполнения плана. Новое изделие, новый процесс могут создать неожиданности и риск невыполнения плана. Поэтому общество сбалансированного национального плана крайне консервативно, если не сказать — реакционно, и стремится хотя бы поддержать статус-кво.

Отсутствие материального вознаграждения за дополнительную работу способствует и консервативности, и просто плохому качеству выполняемой работы.

Поэтому характерны техническая отсталость социализма и его неспособность в технике и качестве продукции конкурировать с Западом. Приоритет военной мощи, необходимой для защиты социализма и завоевания Запада, вместе с названными факторами не оставляет почти ничего для удовлетворения нужд населения. По моим подсчетам, уровень жизни в СССР следующий:

	1914	1968
Царская Россия	100%	47%
Англия	80%	216%

По официальным данным («Литературная газета», 1977, 24 авг.):

	Количество земли	Количество рабочих рук	Выход продукции
Частное приусадебное хозяйство	3%	16%	28%
Все колхозы и совхозы	97%	84%	72%

Рабочие же руки в приусадебном хозяйстве — это, как объясняет «Литературная газета», руки многодетных матерей, стариков и старух, подростков, а также сельской интеллигенции, колхозников и рабочих совхозов после полного рабочего дня, отданного государству. Сокращение приусадебного производства с 32% в 1965 до 28% в 1977 ставит СССР буквально под угрозу голода и недостатка сырья для промышленности. Я не очень удивлюсь, если под давлением жизненного опыта и неудач социализма вожди СССР сделают первый роковой шаг к разрушению «прекрасного здания социализма», реально допустив развитие частного хозяйства, ради удовлетворения нужд трудящихся. Этот шаг повлечет за собой некоторое освобождение торговли, следовательно — появление некоторой самостоятельности жизни населения, и в конечном итоге вызовет отказ от сбалансированного полного планирования, т. е. от социализма. Так может на-

чаться, вместо происходившего до сих пор укрепления социализма в СССР, постепенное его разрушение. Любопытно, что это будет происходить на фоне продолжающегося на Западе движения к социализму.

Очковтирательство, бюрократия и взяточничество.

Необходимость строгого наказания виновников невыполнения плана, а также строгого учета и контроля при социализме приводит к следующим последствиям:

— к стремлению исполнителей «натянуть» выполнение плана любыми средствами, включая прямой обман. В выполнении плана заинтересованы не только конкретные исполнители, но и их начальники вплоть до вождей, поэтому очковтирательство легко сходит с рук. Во всяком случае, легче, чем невыполнение плана;

— к стремлению на всех уровнях запастись документацией, оправдывающей деятельность или бездеятельность. Неудержимо растет бюрократия в ущерб полезной деятельности;

— к стремлению избежать личной ответственности за любое решение. При социализме, как правило, никто не решает, а «списывает» дело по кругу, что и получило название «спихотехники».

Понятно, что любой капиталист, попытавшийся поступать в соответствии с этими способами, был бы полным идиотом и немедленно бы разорился. В любом же государственном предприятии (не обязательно социалистическом) это закон жизни.

Главная ситуация социализма такова: государственный служащий, имеющий в распоряжении ему лично не принадлежащие блага, противостоит некоему гражданину, претендующему на получение этих благ по праву или без оногo. Служащий, естественно, волен затянуть дело правого придирками, а неправому, наоборот, выдать требуемое под благовидным предложением или под секретом. И правый и неправый вынуж-

дены поощрять положительные для них действия служащего, и взяточничество становится при социализме (или вообще в государственных учреждениях) законом жизни.

В ситуации «капиталист-потребитель» взяточничество лишено смысла и не существует.

Двуличие. Социализм должен наказывать любое непослушание директивам, но план и директивы обнимают всю деятельность человека, вплоть до абсолютно частной жизни: частная жизнь способна испортить производительность человека в общественном производстве. Спасаясь от этой назойливой опеки, многие люди разрабатывают и успешно применяют технику совмещения в себе двух разных личностей: для себя и для социализма. У некоторых развитое чувство собственного достоинства вызывает искусственный конформизм как средство сохранения собственной моральной основы. И человеческое существо, воспитанное в недрах социализма, оказывается совсем непохожим на обычного человека.

*
*
*

Думаю, нет необходимости детализировать прочие последствия реализации двух невинных и привлекательных принципов социализма. Социалистическое общество во всех его проявлениях оказывается наиболее предсказуемым, как только вы откажетесь от логики здравого смысла, заменив ее логикой управления с помощью сбалансированного национального планирования.

Стратегия и тактика социалистов

Я имею в виду людей, соблазненных социализмом, но еще не поживших в нем. Их обычно отличают следующие признаки:

1. Неприятие по разным причинам существующего (на Западе) строя и желание любыми средствами его разоблачать и разрушать, не заботясь ни о логике, ни об экономике. Преобладание, в первую очередь, эмоций, не исключая и подражательности.

2. Крайне смутное представление об истинном содержании социализма, ограничивающееся, в основном, лозунгами. Ни один из них не расскажет хотя бы, как будет при социализме достигнута такая высокая производительность труда, которая позволит выполнить обещания, так щедро раздаваемые ими сегодня.

Их позиция исчерпывающе представлена в известном гимне «Интернационал»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы наш, мы новый мир построим». Это разрушение производится огромным количеством различных способов, включая следующие, наиболее известные:

— разрушение средств производства страны монопольными профсоюзами с помощью непрерывных забастовок по всякому пустяку; с помощью запрещения введения новых, более производительных машин и процессов; с помощью сопротивления каждому шагу администрации в улучшении или даже сохранении производительности; с помощью требований абсурдных по величине повышений зарплаты и т. п.;

— захват монопольными профсоюзами прессы, радио, телевидения с помощью тех же способов и массовая «промывка мозгов» против существующего строя;

— психологические и экономические атаки на судебную власть, полицию, армию с целью их разрушения;

— разрушение системы образования и воспитания путем захвата руководства в союзах студентов и преподавателей и проведения так называемых прогрессивных реформ;

— постоянная и повсеместная угроза насилием или экономическими санкциями любому лицу или организации, противодействующим разрушению общества и движению к социализму.

Эти разрушительные действия охватывают всю страну, и нет места или положения, защищенного от них. Понятно, что, например, в Англии для окончательной победы социализма нет нужды в революции. Профсоюзные монополии, усовершенствованный вариант партии большевиков, уже захватили колоссальную роль в стране. Вожди профсоюзов уже контролируют людей, парламент, прессу, средства связи, и строительство социализма уже на полном ходу — по тем рецептам, о которых я рассказывал.

В чем корни социалистических успехов — в качестве наиболее очевидного примера, в Англии? Ничем не ограниченное право на объединения привело к расщеплению общества на множество слоев и групп, представляемых теми или другими объединениями. Каждое объединение, естественно, стремится к росту числа членов, чтобы, наращивая мощь, быть способным добывать привилегии для своих членов за счет других объединений или необъединенной массы. Профсоюзы — объединение, обладающее сильными политическими и экономическими средствами воздействия, — обогнало в росте своей мощи всех других. В обществе оказалось три гиганта: профсоюзные монополии, невероятно разросшийся государственный аппарат и гигант промышленных и банковских монополий и корпораций. Люди лишились и голоса и действий, передоверив их гигантам и, следовательно, вождям гигантов. Всеобщая зависимость людей не друг от друга, а от гигантов привела к колоссальному росту взаимной ненависти, к разобщенности и духовной опустошенности. Жизнь страны стала сценой непрекращающейся драки гигантов, интересы которых не совпадают. Каков может быть исход этой драки? Он уже ясен: завер-

шается подчинение государства и промышленных и банковских монополий профсоюзам, т. е. победа сил социализма. Впрочем, и в варианте торжества государства — социалистический тоталитаризм был бы обеспечен. Гиганты, их борьба, потрясения общества — разрушают общество и создают перспективу победы одного из гигантов, т. е. социализм. Концентрация власти у любого из гигантов вызывает необходимость единого и разумного управления обществом, которое не может быть ничем иным, как сбалансированным планированием в интересах населения. Со всеми его последствиями.

Можно ли в Новой России избежать аналогичной ситуации?

Представьте себе в Новой России следующие условия:

1. Любое объединение, любая фирма и т. д. ограничены конституцией страны в размерах и имуществе так, чтобы они не могли получить слишком большую власть и стать монополистами.

2. Государство в своих функциях конституционно ограничено теми, которые только оно может выполнять: оборона страны, иностранные дела, обеспечение законности и порядка, арбитраж, охрана природы и т. д.

3. Размер государственного имущества и величина совокупности налогов и сборов с граждан и организаций конституционно ограничены определенным соотношением ко всему имуществу страны и к национальному доходу.

4. Государство по конституции лишено права быть крупным хозяином-работодателем.

5. Государство по конституции не имеет права печатать деньги без специального на то разрешения парламента.

Эти пять простых формулировок — только точка зрения. Нужна, конечно, основательная и детальная разработка конституции Новой России (Новой Украины, Литвы, Армении — любой страны, которая отделится от существующего государства социализма) в качестве альтернативы социализму и нынешнему монополистическому капитализму. Именно монополистическому, так как нигде уже на Западе нет общества свободного рынка и законы его перестали действовать с тех пор, как экономика и жизнь стран Запада давно перешла в руки монополий-гигантов.

При условии ограничения размеров любых объединений и фирм новое общество будет способно разрешить миллионы противоречий миллионов людей на уровне либо их личных взаимодействий, либо взаимодействий огромного множества некрупных объединений и фирм. Такое разрешение противоречий не будет приводить к потрясениям, нестабильности и разрушению общественной структуры, как это происходит сейчас на Западе.

Новое общество не будет стремиться к ужасам социализма потому, что людям будет обеспечена свобода духовной и любой другой (не преступной) деятельности.

26. 10. 1977

ФЕДОСЕЕВ Анатолий Павлович — род. в 1910 г. в Петербурге. В 1936 г. окончил Ленинградский электротехнический институт и начал заниматься научной работой. Доктор технических наук, кавалер ордена Трудового Красного Знамени и двух орденов Ленина, лауреат Ленинской премии, заслуженный деятель науки и техники, Герой Социалистического Труда. В мае 1971 г. остался на Западе, воспользовавшись поездкой на авиационную выставку в Париже. Сейчас живет в Англии, где продолжает свою научную деятельность. Автор книги «Западня» (Посев, 1976) и многочисленных публикаций в русской зарубежной прессе.

МОНУМЕНТ У БАБЬЕГО ЯРА

Перешедшее в русский язык с французского слово «монумент», в отличие от однозначного слова «памятник», включает в себя целую смысловую гамму понятий и оттенков. В наше изощренное время, когда умудрились извратить и придать кафкианский смысл даже, казалось бы, таким очевидным, не допускающим различного толкования понятиям, как, например, открытый судебный процесс (процесс открытый, но зал заполнен специально отобранными людьми, а знакомых, друзей и родственников обвиняемых на него не пускают), нужно помнить, что монумент может быть воздвигнут не с целью увековечить память о событии, а с целью искажения события, чтобы народ забыл истинный смысл события, благо память людская быстротечна, а монумент — из бетона, гранита, бронзы.

Бабий Яр — овраг на бывшей окраине Киева — стал именем нарицательным. 29 и 30 сентября 1941 г. в Бабий Яр было согнано и в течение двух дней замучено и уничтожено все еврейское население Киева. Точное число жертв неизвестно — по мнению старых киевлян, примерно 80-90 тысяч¹.

Мы не собираемся повторять описание ужасов этого избиения, но со всей определенностью необходимо напомнить, что детей, стариков, женщин, мужчин мучили, истребляли и убивали не потому, что они были советскими гражданами или врагами Германии, а потому и только потому, что они были евреями. Людей других национальностей, оказавшихся по каким-

¹ Заведомо заниженная цифра 33000 фигурирует в материалах Нюрнбергского процесса и даже в обвинительной речи Генерального прокурора на процессе Эйхмана.

либо причинам в согнанной толпе и предъявивших документы, удостоверявшие их нееврейскую национальность, освобождали.

Любая попытка завуалировать, смазать предельно расистский характер преступления в Бабьем Яру свидетельствует о крайнем пренебрежении к жертвам преступления и вызывает весьма обоснованные подозрения в истинных намерениях и целях авторов таких попыток.

Немцы позднее использовали Бабий Яр как место расстрела всех сопротивлявшихся и боровшихся с ними и просто неудобных им лиц. Мы чтим их светлую память, но их убийство — это уже другое преступление, а в юриспруденции и судебной практике существует четкое правило не смешивать разные преступления. Хорошо известно, что такое смешение — амальгама — всегда преследует мутные цели.

В подавляющей воображение и гнетущей совесть цивилизованного человечества летописи истребления европейского еврейства забываем и не должен быть забыт ни один этап. Ни с чем не спутаешь ни Освенцим, ни Трешлинку, ни Варшавское гетто. В каждом из этих мест уже десятилетия тому назад установлены не монументы, а мемориалы в честь жертв расистского изуверства. Смысл этих мемориалов не только в выражении скорби по погибшим, и нужны эти мемориалы уж, конечно, не жертвам, а живым — и не евреям, а народам стран, в которых были совершены эти преступления. Мемориалы возникли в силу древнего обряда очищения, из-за желания народов очиститься от преступлений, совершенных на их земле.

Характерной чертой Бабьего Яра является преднамеренная открытость злодеяния. Здесь нацисты как бы декларировали всему миру свое право на уничтожение целых народов. Здесь они открыто приступили к реализации в самой крайней форме своих давно провозглашенных расистских планов и как бы пригласили

и других принять участие в геноциде. И не без успеха: палачами были не только немцы, но и солдаты некоторых украинских профашистских националистических частей и украинские полицаи.

Бабий Яр — уникальное по своим масштабам место открытого, не за колючей проволокой, уничтожения. Из западных стран нацисты депортировали евреев в Польшу, в Польше уничтожали евреев в специальных лагерях, а в Советском Союзе не стеснялись убивать в открытую.

Бабий Яр является неким рубежом в нравственной и фактической истории человечества. Его не вычеркнуть и не обойти. Это Мекка всех палачей и убийц — от Гитлера и Гимmlера до Иди Амина и палестинских террористов. Для еврейского народа Бабий Яр и символ, и напоминание, и вечная незаживающая рана.

Послевоенная история Бабьего Яра неправдоподобно фантастична, и для ее описания требуется перо Кафки или Орвелла.

В отличие от всех стран, устроивших правдивые, производящие глубокое впечатление мемориалы на местах массовых убийств, в Советском Союзе никак не могли решиться хоть как-то отметить событие в Бабьем Яру. Зато с еврейским кладбищем, примыкающим к Бабьему Яру, расправились быстро и решительно. Бульдозерами, а быть может, и с применением более тяжелой техники, были уничтожены и сброшены в овраги все до единого могильные памятники, а могилы сравнивали с землей. Сделано это было втихую, без оповещения населения. Только прочитав «Записки зеваки» известного писателя Виктора Некрасова в журнале «Континент» с описанием этого надругательства над мертвыми, я узнал об осквернении могилы моего отца. Вероятно, некоторые из читателей моей статьи узнают об осквернении могил своих близких.

В конце 50-х годов местные власти решили было на месте Бабьего Яра устроить стадион и увеселительные аттракционы. Виктор Некрасов спас тогда Советский Союз от такого позора, выступив со страстной статьей в «Литературной газете» (1959 г.). Статья оказала некоторое действие: вместо строительства аттракционов Бабий Яр затопили. Этот своеобразный способ почтения памяти погибших обернулся трагедией. В 1961 г. после сильных ливней вода прорвала запруду, и многометровый илистый вал обрушился на районы новостроек. По слухам, погибли сотни людей.

В 1966 г. в районе Бабьего Яра установили памятный камень с надписью, что на этом месте немцами было убито более ста тысяч советских граждан. Тогда же был объявлен конкурс на проект монумента.

После многих лет трагикомических перипетий с отбором, утверждением проекта и внесением в него различных изменений по указанию начальства, в июле 1976 г. — через 31 год после войны — монумент, наконец, был открыт.

Монумент расположен еще дальше от Бабьего Яра, чем стоял памятный камень, с надписью на украинском языке: «Тут в 1941—1943 годах німецько-фашистськими загарбниками було розстріляно більше ста тисяч громадян міста Києва і військовополонених».

Всё здесь вызывает недоумение, переходящее в горечь: почему никак не обозначено и не указано реальное место гибели более ста тысяч людей? О каком почтении памяти жертв можно говорить, если место их гибели не только не отмечено, но фактически засекречено? Топография местности после войны искусственно изменена, так что я, например, два дня безуспешно пытался точно определить место гибели несчастных. Судя по всему, по этому месту проложено асфальтовое шоссе, по которому несутся бесчисленные машины, и разбит новый парк.

Ни в надписи, ни в монументе нет ни одного слова, ни какого-либо напоминания о событиях и убийствах евреев 29-30 сентября 1941 года. Почему власти государства, официальной идеологией которого является борьба с расизмом, сочли нужным полностью скрыть предельно расистский характер преступления в Бабьем Яру? Кому и зачем понадобилось обелять изуверство нацистов и их пособников?

Естественно, что на монументе, воздвигнутом в Киеве, есть надпись на украинском языке. Но почему нет надписей на русском, идиш и иврите? Жертвы Бабьего Яра говорили на русском и идиш — это были языки киевского еврейства, — а многие из них в последние мученические часы своей жизни, нет сомнения, молились на иврите. Палачи говорили на немецком и украинском.

Так получилось, что монумент в Киеве не мемориал, а всего лишь громоздкая, помпезная материализация лжи. Эта ложь принесет и уже приносит ядовитые плоды. Ведь киевляне, в общем, знают о поголовном избиении евреев в 1941 г., и официальная, отлитая в чугуне и высеченная в граните ложь монумента приводит их — не может не приводить — к вполне определенным выводам.

Кое-что я все-таки увидел во время своих поисков. В овраге возле бывшего еврейского кладбища я видел сваленные могильные памятники с датами захоронения 1930-1931 гг., видел единственный уцелевший от разрушения склеп, превращенный в гараж, приспособленную для каких-то надобностей бывшую кладбищенскую синагогу.

С 1966 г. киевские и приезжие евреи отмечают скорбную годовщину 29 сентября. Поминальная молитва — кадиш — обычно приводит в милицию, некоторых — на 15 суток в тюрьму. В прошлом году предупредили: «На этот раз 15-ю сутками не отделаетесь», —

но пронесло. Что-то будет в этом году? Ведь репрессии усиливаются (вот вам и Хельсинки!).

Примечательно отображение трагедии Бабьего Яра в советском искусстве — в прозе, поэзии и музыке, но это уже — тема другой статьи. Отмечу лишь, что повесть А. Кузнецова «Бабий Яр» изъята из библиотек, стихотворение Е. Евтушенко под тем же названием не переиздается, а замечательная 13-я симфония Д. Шостаковича на тему Бабьего Яра снята с исполнения.

Москва, 15 сентября 1977

МЕЙМАН Наум Натанович — родился в 1912 г., математик, доктор физико-математических наук, до выхода на пенсию работал в Институте технической и экспериментальной физики АН СССР. После подачи документов на выезд в Израиль несколько лет живет в положении отказника. С начала 1977 г. — член московской Группы-Хельсинки.

Василий Михальчук

СИЛА НАШИХ ДНЕЙ

Статья Сергея Рафальского «Болезнь века» затронула чрезвычайно важный и своевременный вопрос, но направила на него луч прожектора только с одной стороны. Такое освещение, по-моему, слишком субъективно: надо дать читателю присмотреться к вопросу не в условиях полу-дня или полу-ночи, а — при ясном дневном свете. Я думаю, настоящая статья явится в некоторой степени дополнением к «Болезни века» — как раз своим противоположным освещением и противоположными мыслями. Такое столкновение мнений необходимо в любом разговоре людей о жизни народов.

Разговор идет о национальном вопросе в Восточной Европе и, в первую очередь, в Советском Союзе. Вопросы этого не разрешил ни Ленин, несмотря на все его усилия, ни его наследники до Брежнева включительно. Зная всю внутреннюю политику Советского Союза, и сейчас не скажешь, что национальный вопрос там накануне своего позитивного для всех народов разрешения. А если так, если он не может быть там разрешен государственными учреждениями в согласии с принципами советской Конституции, то к его разрешению начинают приступать заинтересованные — сами народы. Вот почему возникают и нарастают в каждом народе усилия передовых людей, отважившихся поставить себе этот вопрос и совместными силами ищущих на него ответ. Не самый ли это жизненный метод?

Такое явление в Советском Союзе ново. И так как рождается оно внутри народов, в их душе и сознании, то искоренить его будет нелегко даже самым умелым дельцам КГБ.

Об этом новом явлении мы многое знаем от Владимира Буковского, знаем и о его развитии в украинском народе и на балтийских территориях, где любовь к отечеству имеет особенно глубокие корни. Хотя пока и неизвестно, как всё это будет расти и развиваться, все-таки можно рискнуть сказать, что за первыми шагами придут более конкретные, так как единственный выход из заколдованного круга — дать свободу человеку и народам, привести их к действительному сотрудничеству путем сотрудничества между национальными государствами — является и единственным реальным разрешением национального вопроса на территории Советского Союза.

Если там поезд тронулся из тупика и начал набирать скорость в верном направлении, то как же стоит этот вопрос перед зарубежными представителями народов СССР, поработанных коммунизмом? Как стоит проблема национальных отношений перед политическими эмиграциями и в лоне их?

Для всех, кто внимательно наблюдает за их политической деятельностью, не секрет, что они полностью делают ставку на освобождение своих народов и построение суверенных, независимых государств на национальных территориях. Каждая эмиграция связана с родиной и получает оттуда необходимую информацию. Без решения проблемы связи эмиграция не могла бы верно и точно выбирать политические цели и рано или поздно была бы обречена на политическую изоляцию.

Если политическая и культурно-общественная работа внутри каждой эмиграции целесообразна и четко очерчена, то между эмиграциями очень мало или вовсе нет сотрудничества на общей политической основе.

Это вредно отражается не только на успехе их политической работы, на их связи с народами Запада, на масштабах пропаганды, но и — что чрезвычайно важно — на самой помощи народам внутри Советского Союза, которая для эмиграции составляет смысл ее деятельности и, более того, существования.

Время от времени появляются — то тут, то там — некоторые шаги в этом направлении, без конкретных, однако, и продолжительных последствий: эмиграции, скованные цепями прошлого, не вполне различают перспективу своей деятельности. Возникновение и деятельность так называемой «Парижской группы» — явление недавнее, и еще нельзя успешно проанализировать и предсказать его развитие. Эта группа была создана в период подготовки к Совещанию в Хельсинки — с целью широкого разъяснения мировой общественности содержания и характера коммунистической лжи. В ней сотрудничают выходцы из большинства стран Центральной и Восточной Европы. Последний документ Парижской группы «Хартия Свободы» подписана, в числе других, украинцами и русскими.

Русский народ — самый большой из народов СССР, и на него обращен взор всех других. Он должен бы стать ведущим в освободительной работе всех поработенных большевизмом народов. Но до сих пор он более других не сумел разбить узы прошлого и свободным взглядом посмотреть на окружающий мир. До сих пор он не произнес ответственного слова по национальному вопросу, чего вправе ожидать такие народы, как украинский, белорусский, литовский и другие. Не внес он вклада в создание единого фронта борьбы против насилия и порабощения, за разрушение ужасной тюрьмы народов Советского Союза и построение на его месте свободных национальных государств. Говоря о русском народе, имею сейчас в виду только свободную русскую эмиграцию: она имеет все возможности ознакомиться с национальными

стремлениями всех других эмиграций, а эти стремления — как бы экраны, на которые спроецированы заветные желания их стран и народов, их активные действия, эмиграции не чуждые.

До сих пор, за исключением редких голосов, мы не слышали от русской эмиграции определенных высказываний, которых мы ждали и ждем. Украинцы не заметили в русских добрососедского понимания и намерений. Украинскому наблюдателю часто кажется, что русские не хотят понять своих соседей, сойти с пьедестала многовекового господства и имперских устремлений, распахнуть широко окна своей избы и полной грудью вдохнуть демократического воздуха наших дней. Не желают они позабыть прошлое и дружески со своими соседями начать строить общее будущее. Отсутствие таких начал никак не способствует их выходу из тупика и успешному рассмотрению будущего всей Восточной Европы.

Я не призван судить и не сужу, это только краткий анализ существующего положения русской эмиграции в национальном вопросе. И проблески демократического характера внутри русского народа в СССР, о которых свидетельствуют русские диссиденты, — явление совершенно новое. Новое рождается в образе мыслей передовых представителей русского общества в СССР, и это способно привести русский народ к новой, действительно демократической ситуации. И всеми силами мы должны помогать рождению этого нового.

Обращаясь к статье «Болезнь века», необходимо подчеркнуть, что все ее доводы и выводы — туманны и запутанны. Автор смешивает и национализм, и национальность, и народность, движения политические и национальные. Он ставит вопрос, кто принес больше вреда миру: коммунизм или национализм — и с ходу отвечает: их вред одинаков. Он бьет себя в грудь и

громогласно заявляет, что он-то не националист, а патриот. Сам собой возникает вопрос, чей или кого он патриот: татар, «хохлов» или же русской империи — и не подумал ли он, что патриот этой империи может быть самым ярким националистом с худшими чертами нетерпимости любого из тех народов, о которых он думал, доказывая вред национализма.

Что касается государственных концепций, то С. Рафальский зачарован мыслью об империях. Он обнаруживает «грех» европейских народов не в том, что у них были колонии, а в том, что они «не сумели» свои колонии превратить в настоящие империи, «с равными гражданскими возможностями, обязанностями и правами для всех их населяющих народов». Да нет, и «умение», и желание у европейцев были, и даже империи существовали. Но идти против русла исторического развития нашей эпохи — невозможно.

Известно, к чему привел исторический договор 1654 г. между Украиной и Россией как между двумя равными и свободными народами, но здесь автор статьи не считает нужным давать поучения относительно гражданского, экономического и культурного равенства. Порабощение национальной культуры ближайшего соседа, усилие «старшего брата» любой ценой властвовать над «младшими» и подменять их культуры своей во имя общепонятности и «сверхнациональности» как высшей формы общежития — это и есть порабощение политическое, которое приводит к деградации порабощенных, но еще сильнее — самих поработителей. Порабощать культуры никто не имеет права — империи европейцев не могли сохраниться, потому что все эти «белые» пошли не против истории, а нога в ногу с демократическим развитием мира. Если я не ошибаюсь, русские не опровергли и не аннулировали своими общественными силами ни известного выступления Валугева против украинского народа, ни пресловутого «Эмского указа». Сознают ли они,

что эти крайне враждебные акты остаются пятном на их исторической совести? Думал ли об этом автор поучений европейским народам? Знает ли он, что запрещение пользоваться родным литературным языком (в чем суть выступления Валуева и «Эмского указа») во всех областях национальной жизни означает грубое уничтожение именно национального равенства — любые попытки свести это к требованию «общепонятности» или же «сверхнациональности» безрезультатны.

Размышления об империях кажутся читателю каким-то неестественным сном. Значительность наших дней — в желаниях каждого народа, и в первую очередь поработанного, в его стремлении к суверенному национальному государству. Сотрудничество международного характера приходит потом, путем переговоров между национальными государствами. Рабы таких переговоров вести не могут — они могут вести только сговор против своих поработителей. Для переговоров необходимы равные партнеры.

Экономическая Европа девятки — лучшее доказательство договора национальных государств. Не исключим и вероятность будущих более сложных, сверхгосударственных комплексов, но это дело именно будущего, к которому народы приблизятся исключительно путем национальных государств. Потому-то важнее всего решить сегодняшнее дело: способствовать освобождению народов от уз, дав им возможность организации их независимой жизни. Только так мы подготовим следующий шаг: сверхгосударственные содружества.

Самоопределение народов С. Рафальский сравнивает почему-то с атомом, хотя куда естественнее было бы взять для сравнения принцип молекулы, более схожей с народом. Делить-то молекулу можно, но, деля ее, мы теряем особенности данной материи, наименьшей частицей которой она является. То же и с народом: его можно делить и давать, как насмешливо

говорит С. Рафальский, самоопределение губерниям и уездам. Только тогда разрушается сила не империи, а самого народа. Какою же будет сила России, если отделить от нее в самостоятельное государство Владимирскую область, а потом еще и Рязанскую? Россия и русский народ — нечто органически целое, полностью историческое явление и разделению никак не поддается.

Автор статьи «Болезнь века» находит исключительное возражение против желания народов самоопределиваться: дело, оказывается, в том, что «в современном мире нет больше только от себя зависящих, действительно «самостийных» народов». В этих словах столько оторванности от современного развития человечества, столько желания заледенить это развитие в условиях прошлого столетия, что читатель озабоченно улыбнется. Еще сильнее, но уже менее озабоченно он улыбнется, читая: «...Тем более бессмысленно — из-за абстрактного (?) принципа и играющего на фальшивках «сепаратизма» — работать над разрушением имеющего под собой большие исторические (?), этнографические (??) и экономические (???) основания и уже существующего Единства (!)». Не в распадае Советского Союза, выходит, лежит путь в лучшее будущее, не в желании удовлетворить глубокие стремления поработенных красной империей народов, а в ее дальнейшем сохранении. Любой ценой сохранить СССР — только немножко его демократизируя. Но машину демократизации не так-то легко затормозить — разпущенная в ход, она порождает в человеке новые помыслы и ощущения: даже обрубленные, под ее влиянием в человеке отрастают крылья, рождаются новые надежды, желание свободнее и глубже думать, открыто говорить, читать настоящую литературу, рождается могучая жажда творить добро вокруг себя, свободно смотреть в соседний двор и видеть, как живут подобные ему другие люди, — и не бояться, что за такие

простые человеческие желания его посадят за решетку или в какую-нибудь психушку. Вот, чтобы не рисковать, машину демократизации и не стоит выкатывать на простор — пусть стоит за высокой и крепкой стеной. Хватит простого сохранения «уже существующего Единства», Советского Союза...

Читатель замедляет чтение и спрашивает себя: возможно ли в преклонных летах не разглядеть всей исторической логики и притягательной силы наших дней?

В статье «Болельщик века» отведено много места украинскому вопросу — похоже, что цель автора была расправиться с ним и вышвырнуть на свалку. Статья лишена объективного рассмотрения исторических событий и деятелей и полна враждебности к Украине и ее народу. Украинские читатели с недоумением читают в ней насмешки над лучшими из лучших сыновей Украины. Похоже, что автор никогда не слышал о писательской этике.

Я не буду останавливаться на всех оскорбительных мнениях по адресу украинского народа, на всех отравленных стрелах С. Рафальского, чтобы не входить в бесполезную и бесплодную полемику. Но некоторые исторические истины следует напомнить.

В статье употребляется — как насмешливое — слово «мазепинцы», хотя автор и сам не может не знать, что Иван Мазепа — один из великих мужей Украины, роковая ошибка которого заключалась в неудаче его «союза» со Швецией против царя Петра. Но как эта ошибка не давала христианских оснований Русской Православной Церкви для проклятия его с амвона на протяжении столетий, так и теперь она не дает оснований для хулы на украинский народ и бросания камней в самого Мазепу.

Исторически совершенно безоснователен и анализ украинских освободительных войн 1917-1920 гг. Восстание против гетмана Скоропадского, говорится в

статье, истолковано украинцами как антирусское восстание, в то время как это были центростремительные, к Москве и с Москвой, усилия местных элементов. На самом же деле, восстание против гетмана выражало желание всего народа во главе с Главным Атаманом С. Петлюрой покончить с «центростремительством» Скоропадского. Проводилось это «центростремительство», столь дорогое автору «Болезни века», не так самим Скоропадским — несправедливо было бы отрицать его любовь к отечеству и украинский патриотизм, — как его административной политикой, его русскими кадрами во всех министерствах Киева, которыми он за короткое время оснастил весь центральный административный аппарат. Здесь не место подробно анализировать приведшие к этому обстоятельства — мы ушли бы слишком далеко от существа разговора, — но нельзя не подчеркнуть, что именно эти кадры проводили ту, а не иную политику в Киеве. И когда народ увидел эту «центростремительную» политику, он восстал — даже вопреки желанию германских союзников гетмана, — забрал правительство из рук Скоропадского и передал его в руки Петлюры, проявив свою суверенность.

Если бы не армия Муравьева и не усиленная и, как всегда, полностью лживая пропаганда большевиков, которые обещали всё и не дали ничего, а крестьянин им поверил; если бы политика Деникина была направлена на борьбу с большевиками, а не против Украины — украинские освободительные войны имели бы совсем иной результат и для Украины, и для России, и мы с г. Рафальским не сидели бы сейчас в эмиграции, не занимались бы бесплодной полемикой, а нашли бы дела полезнее. Почему-то Деникин считал более нужным бороться с правительством Петлюры, который действовал, подчеркиваю, в своем отечестве, на Украине, а не на русских землях, — вместо того чтобы договориться с украинцами и совместными си-

лами бороться против общего врага. Но и тогда имперские устремления ответственных мужей нашего северного соседа перевесили в политических размышлениях логику, и они не пошли навстречу мирным и демократическим желаниям нерусских народов. И немного позже это привело к ужасному расстрелу украинского, мирного и культурного, Возрождения, о котором пишут Игорь Качуровский и Гелий Снегирев в том же самом 11-м номере «Континента».

Какой разумный читатель не согласится с «Заявлением по украинскому вопросу», напечатанным в майском номере польского журнала «Культура» (Париж, 1977)* и подписанным, между прочим, и русскими? Украинский читатель аплодисментами встречает слова о том, что Советский Союз является последней империей наших дней, к развалу которой мы приближаемся с каждым днем. На ее развалинах будут строить завтра свои национальные государства поработанные сегодня ею народы. Согласен он и с тем, что русификация нерусских народов внутри Советского Союза гораздо сильнее, чем в так называемых «сателлитах», что политическое будущее этих народов сплетено и делает их зависимыми друг от друга, что украинский народ вместе с балтийскими прилагает самые большие усилия ради освобождения своей родины. Но когда авторы заявления на всякий случай ограничивают свои цели созданием условий, в которых украинский народ мог бы свободно высказаться, хочет ли он независимого государственного существования, — читатель согласиться не может. Странно, что вопрос может быть поставлен в такой форме: создавать условия для вы-

* Русский текст заявления напечатан в № 12 «Континента» — с пропуском, по ошибке редакции, важнейшего фрагмента, на который ниже ссылается В. Михальчук. Пропущенный фрагмент опубликован в № 14 «Континента». — Прим. р е д.

сказывания, хотим ли мы жить свободно в своем собственном доме, — это стремиться повернуть колесо истории на сто лет назад. По этому вопросу украинский народ ясно высказался в 1917 году, создав свое независимое государство и ни у кого не спрашивая на это разрешения. Не устояло оно не потому, что народ не желал быть свободным, а из-за неравновесия военных сил. Другой раз высказываться по этому вопросу он не будет. Его усилия ныне и до конца — это упорство в деле строительства своего независимого государства. Что же неестественного или недемократического в такого рода мирном решении вопроса?

Однако вернемся к статье «Болезнь века». Если можно только усмехнуться бессильной враждебности С. Рафальского к Украине и ее народу, то никак нельзя довольствоваться улыбкой и покачиванием головы, когда нам приходится слышать презрительные слова в адрес наших друзей. Безосновательное и опечаливающее наступление на евреев, проживающих или проживавших на Украине, наступление на советских евреев вообще, да заодно и на весь Израиль — напоминает эпоху черносотенной смуты.

Евреям, покинувшим или желающим покинуть Советский Союз, рассматриваемая статья категорически запрещает высказываться по поводу советского режима, осуждать всю его подлость, угнетение людей и преследование народов. Евреи бичуются, главным образом, за то, что некоторые известные еврейские публицисты осмеливаются высказываться за разделение Союза-Империи на самостоятельные национальные государства, — этим они, согласно статье, берут на себя самый страшный грех. И, с презрением бичуя украинцев за их самостоятельные мысли и «мазепинские» желания жить человеческой жизнью на своей родной земле, вслед за этим статья с особым наслаждением бичует евреев за то, что они посмели по-

нять умонастроения своих друзей и согласиться с ними. С подчеркнутой жестокостью она напоминает им все советские благодеяния: высшие учебные заведения, хорошие места работы, за которые они, видите ли, платят нелюбовью и не желают славословить русский шовинизм и империализм. И, конечно, извечный аргумент о том, что отцы и деды этих евреев совершили революцию и стали правящим классом страны, — как же смеют жаловаться дети и внуки?!

Действительно ли автор статьи не знает истории евреев в России или намеренно закрывает глаза? Разве не известна ему «черта оседлости» — что-то вроде валуевщины по отношению к украинцам, — силою которой царское правительство изгнало евреев из этнографической России на Украину, в Польшу и в Прибалтику? Гонения этого народа центральной властью или ее представителями на новых местах оседлости были настолько ужасны, что в красную революцию 1917 г. он включился, надеясь обрести новый мир и действительное отечество. Его надежды — увы! — были тщетными. Режим-то сменился, даже снесли черту оседлости в территориальном ее понимании, но она не умерла и быстро возродилась в душе нового режима. После некоторой передышки гонения вспыхнули с еще большей силой.

Страдания еврейского народа под властью советского режима, которому он много помог и на который, действительно, надеялся, достигли небывалого размаха. Его лучшие сыны отдали головы за наивное доверие и необоснованные надежды. Евреи так же, как и некоторые украинцы, скоро, слепо и некритически поверили большевистским лозунгам и пропаганде. Поверив лозунгам о свободе национальной культуры, евреи, как и все другие нерусские народы, попытались пользоваться своим языком, ставить на ноги свою богатую литературу, театр и другие ценности народной культурной жизни. За это они получили имя врагов

народа (какого народа? — спросит когда-нибудь история), изменников, агентов иностранных разведок. А всё это не просто «имя» — за всё это в Советском Союзе судят, и крепко судят! Закрытыми судами, вдали от народа, и своими жандармскими законами!

И называть евреев изменниками сегодня и здесь — по крайней мере, удивительно. Откроем скобки и спросим: изменниками чего или кого? Если Советского Союза, то ничего удивительного: человек, которого оскорбляют, преследуют, судят и уничтожают, — не может любить своих палачей и преследователей. Но не он, не безвинно преследуемый, — настоящий изменник. Изменили народу, народам, стране — те, кто превратил жизнь в страдание и любовь в ненависть, кто блестящими лозунгами прикрыл нищету, рабство и слезы и не переставая кричит: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!» Изменническая — вся система Советского Союза.

Всем известно, что евреи, проживавшие в черте оседлости, то есть изгнанные из этнографической России на территорию Украины и Польши, были огромным, если не самым большим подспорьем в строительстве послевоенного Израиля. Их и сегодня можно встретить на всех уровнях его государственной жизни. Запрещать им любить землю их предков, землю, где они родились, росли, трудились и страдали, запрещать им думать о недостатках и несчастьях этой земли и анализировать ее общественное положение — мне кажется не только не демократическим, но просто не человеческим. Предлагать евреям не заниматься ничем, кроме арабско-израильских отношений, и не обсуждать национальный вопрос в СССР — такое заявление выглядело бы угрожающим, если бы не было столь очевидно бесчестным.

Я считаю своим долгом обратиться и к грубым нападкам С. Рафальского на поляков. Здесь уже не

презрение и высокомерный господский взгляд, как в случае евреев, а — полная ненависть. Интерес поляков к Украине С. Рафальский объясняет их прошлым, «героическим, романтическим, но безусловно империалистическим» (как издалека видна чужая соломинка, но не бревно в своем глазу). Автор «Болезни века» обнаруживает у поляков «настойчивое, можно даже сказать — наянливое, отдающее одержимостью желание создать на западных границах Советского Союза «Малую Антанту» и рекомендует создавать эту «Малую Антанту» без самоопределения «состоящих в Советском Союзе» народов. Видно, что автор этих глубокомысленных замечаний прекрасно понял глубокое значение попыток диалога и сближения между украинцами и поляками. До недавнего времени сотрудничества между ними не было, и от этого страдало дело освобождения и польского, и украинского народов. Если представители обеих политических эмиграций поняли простую, но важную логику взаимопомощи и взаимодействия, то совместными силами и усиленной работой оба народа смогут многое сделать для освобождения всей Восточной Европы, где они занимают ключевые позиции. Недавние многочисленные усилия с обеих сторон позволяют надеяться, что прошлые раздоры, возникавшие скорее на почве эмоций, нежели реальных глубоких противоречий, — будут постепенно сбалансированы разумной работой в интересах будущего. Оба народа, безусловно, преодолеют свои прежние политические расхождения, и никакие внешние усилия — это подтвердит каждый, кто внимательно следит за развитием польско-украинского диалога, — не смогут отклонить их с выбранного пути.

Что же касается туманного наставления читателю о том, будто украинский народ — всего лишь выдумка польской эмиграции (а самоопределение изобретено для украинцев немцами и австрийцами), то

читатель может только отослать С. Рафальского к остальным материалам того же 11-го номера «Континента». Это значительно расширило бы его политический горизонт.

И несколько слов в заключение — об уже упомянутых «диссидентах», прибывающих на Запад или продолжающих действовать в среде своих народов. В настоящее время они — не что иное, как барометр глубоких социологических процессов внутри народов Советского Союза. И кто упорствует в нежелании видеть силу новой эпохи, состоящую в стремлении всех народов к самостоятельной жизни, тот демонстрирует политическую неграмотность и интеллектуальную неспособность разумно и спокойно вглядываться в историческое развитие нашей эпохи.

С. Рафальский обнаруживает в диссидентах «русский неонационализм» — они его якобы «культивируют» в Советском Союзе и с третьей эмиграцией «перемещают» на Запад. Они «совершенно забывают о людях, воспринявших русскую культуру как уже сверхнациональную», после чего автор «Болезни века» отказывается считать себя впредь русским и «предпочитает, никак не будучи «самостийником», называть себя украинцем».

Трудно не удивиться такому заявлению относительно диссидентов и нового «крещения» автора. А может, удивляться и не стоит. Рост национального сознания в мире, упорное стремление к самостоятельному быту и к организации независимой народной жизни, развал всех бывших империй (кроме, пока что, советской) — всё это затрагивает даже крайне отсталое самосознание и часто приводит к «землетрясениям» в человеческой душе.

Явление диссидентов в Советском Союзе — не чей-либо фантазм и не культивирование экспериментов «ин витро», а проявление глубоких перемен «ин виво».

Вся важность его в том, что это не какие-то «теорийки» ленивого интеллектуала, а дыхание души народа, и злоба или самый жестокий отпор ничего тут поделать не могут. Там, на далеких наших родинах, наши братья, даже в узах небывалого в истории тоталитаризма, тоже замечают смену эпохи, появление новых сил, развал империй, борьбу народов в далеких странах за свое освобождение и право на жизнь. Мощные волны Свободы докатываются и до них, несмотря на все железные, бетонные и минные преграды, и они чувствуют ее магнетическую силу.

Деятельность наших народов, которую мы видим издалека именно через посредство диссидентов, — естественная и обоснованная реакция этой силы, начало процесса, который будет распространяться и пускать корни все глубже и шире. Диссиденты — это не какое-то оторванное от народной жизни явление с неясными целями и неопределенными желаниями, а — проявление глубинных народных стремлений.

Стремлений этих не искоренить. И мы должны понять весь их глубокий смысл и от них не баррикадироваться. Наоборот, надо распахнуть настежь окошки своей плесенью пропахшей избы-души, вдохнуть чистого воздуха грядущей эпохи и посмотреть на своего соседа со вниманием, с желанием его понять. Быть может, на такой жест способны только великие души и полные любовью сердца, только действительно русские, а не те, кто примкнул к русским как к хорошему блюду, а теперь угрожает вернуться назад к «хохлам», поскольку в русском народе действительно укореняется мысль о понимании соседей и о необходимом распаде советской империи.

И совсем иной удельный вес приобретает потребность в новых отношениях между русскими и украинцами. Должна бы произойти революция в сознании тех и других — для блага обоих народов. Несмотря на все раны и боль, на всю желчь прошлого, да и

настоящего, надо трезво сказать, что русские и украинцы, испытывающие политическую ответственность за свой народ, должны найти душевную силу и преодолеть имперские настроения у одних и, пусть даже некогда оправданную, ненависть у других; должны просто посмотреть в глаза друг другу и во имя общего будущего начать откровенный диалог на благо своих народов и народов всей Восточной Европы, давно уже такого диалога ожидающей.

Моя статья выражает мое личное мнение, но взгляды украинской общественности во многом с ним совпадают. Долгое время прилагая все возможные усилия, чтобы ускорить украинско-русский диалог, — я хочу присоединиться к словам из уже названного «Заявления по украинскому вопросу»:

«Судьбы тех или других [народов стран-сателлитов и народов СССР — В. М.] тесно связаны друг с другом: не будет по-настоящему свободных поляков, чехов или венгров без свободных украинцев, белорусов или литовцев. И в конечном счете — без свободных русских. Без русских, освобожденных от имперских устремлений, развивающих собственное национальное бытие, уважающих право на самоопределение других наций. ... [Для] самой «имперской нации» ... благом было бы как можно скорее осознать, что ликвидация советского колониализма лежит и в ее собственных интересах: только это способно противостоять угрозе будущей братоубийственной резни. Мы с особой надеждой призываем русских участников правозащитного движения в СССР и русскую политическую эмиграцию укреплять и углублять сотрудничество с борцами за независимость Украины».

Дай Бог, а мы, простые люди, дадим всю нашу помощь, чтобы эти слова глубокого политического разума и четкой непобедимой логики, высказанные людьми разных национальностей, в том числе —

еще раз напоминаем — и виднейшими русскими диссидентами, успешно проникли в сердца и сознание русских политических деятелей.

МИХАЛЬЧУК Василий Альбертович — род. в 1928 году в г. Ковеле, в 1943 г. с матерью и сестрой депортирован на принудительные работы в Германию. После войны выехал в Бельгию, где получил высшее техническое образование, работал инженером; сейчас живет во Франции, работает административным директором, регулярно печатается в украинской прессе («Українське слово», «Новий шлях», «Сучасник» и др.).

Как нам стало известно, в конце минувшего года в Москве принято решение ЦК КПСС о ликвидации диссидентского движения внутри страны и за рубежом. Согласно советским понятиям, это означает объявление нам тотальной войны со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В связи с этим мы считаем своим долгом заявить, что в настоящее время нависла реальная угроза прежде всего над жизнью и деятельностью нашего друга, великого гуманиста современности Лауреата Нобелевской премии мира академика Андрея Сахарова.

Мы обращаемся к мировой общественности с призывом не только внимательно следить за развитием ближайших событий в Советском Союзе, но и сделать всё от нее зависящее, чтобы предотвратить худшее.

В. Буковский, Н. Горбаневская, В. Максимов, В. Некрасов, Т. Ходорович

ПОСЛЕДНИЙ НАДЕЖНЫЙ САТЕЛЛИТ?

Когда говорят о сегодняшней Болгарии, кажется, что эта страна — последний вполне верный и послушный спутник СССР. Извне болгары, будь они у власти или в оппозиции, кажутся покорными своей судьбе. Никаких признаков национальной независимости, ни одного народного выступления, ни одной героической акции. Ни петиций, ни комитетов в защиту прав человека.

Переберем в памяти: ГДР (1953), Польша, Венгрия (1956) — восстания, революции, оккупации; Чехословакия — «мирная» революция — советская оккупация; Албания резко порвала с СССР; Румыния с 60-х годов отчаянно ведет независимую внешнюю политику; Югославия переменила кожу раньше всех. Болгария — единственная страна социалистического лагеря, в которой с конца войны не произошло ничего существенного...

Земля в Болгарии национализирована на 98%, в торговле государство — либо посредник, либо хозяин, промышленность национализирована полностью. Председатель государственного совета Тодор Живков нанес больше, чем кто бы то ни было другой, «дружественных» визитов в СССР. Советские власти любую новую идею проверяют на том же Живкове — как на подопытном кролике. И еще нельзя забывать, что Болгария дала Коминтерну двух крупных чиновников: Георгия Димитрова и Василя Коларова.

Но вернемся немного назад. В общих чертах можно различить три фазы установления и укрепления коммунистического режима в Болгарии.

ПЕРВАЯ началась 9 сентября 1944 г. Красная армия оккупировала страну. За несколько дней до того

СССР внезапно объявил войну Болгарии. Усилия правительства Ивана Багрянова и Константина Муравиева вывести Болгарию из союза стран оси не увенчались успехом.

Оккупанты навязывают стране правительство Отечественного фронта. Все ключевые места в правительстве заняты коммунистами. Вернувшийся из ссылки глава Крестьянского союза доктор Г. М. Димитров предчувствует опасность. «Народные суды» работают вовсю. Подозрение, клевета, страх пропитывают страну. Не прошло и трех месяцев, как коммунисты выделяются в агрессивный фронт сначала внутри правящей группы, а потом и по отношению к большинству народа. Доктор Г. М. Димитров вынужден покинуть страну, и во главе организующейся оппозиции встает Никола Петков. Он родом из старой и известной в стране семьи политических деятелей: его отец был председателем государственного совета, его брат некоторое время после смерти Стамболийского руководил Крестьянским союзом — оба стали жертвами политических убийств. Эта же судьба, но не от руки заговорщика, а от руки нового режима, ждала и Николу Петкова. Руководимая им легальная оппозиция просуществовала два года, потом была сметена, изгнана из парламента, брошена в тюрьмы и концлагеря. Н. Петков был повешен 23 сентября 1947 года.

Так завершилась первая фаза. Этот период характерен еще скромными попытками национализировать землю и проводить коллективизацию. Но крестьянин пока мог выбирать между тысячелетним индивидуальным методом обработки земли и коллективным, который ему пытались навязать. Несмотря на это, положение в сельских местностях было напряженным, выборы 1946 года сопровождались серьезными беспорядками, большим числом убитых и раненых.

ВТОРАЯ фаза начинается после уничтожения оппозиции и казни Петкова. История убыстряет бег.

Компартия, с Г. Димитровым и В. Коларовым во главе, больше не маскирует своих намерений: начинается беспощадная индустриализация, усиленными темпами продолжается коллективизация, «Болгария должна сделать за 10 лет то, что другим удалось за сто», — заявил Димитров. После национализации тяжелой промышленности (если вообще можно было говорить о тяжелой промышленности в Болгарии) идет наступление на деревню. Число концлагерей (первые были созданы прежним режимом) резко возрастает. Начинаются массовые отправки молодежи в деревню, формирование трудовых бригад, строительство железных дорог и плотин с помощью рабского труда.

В политической жизни страны участвует одна только компартия да несколько ренегатов из Крестьянского союза. Отечественный фронт превращается в массовую организацию. Союз молодых коммунистов охватывает всю молодежь, начиная с дошкольного возраста. Исключение Тито из Коминформа вызвало первые столкновения на верхах компартии, закончившиеся смертным приговором Трайчо Костову. После смерти Димитрова и Коларова и казни Костова началось безраздельное царствование зятя Димитрова Вылко Червенкова.

Болгарией правят два хозяина, два непогрешимых вождя: Сталин и Червенков. Пресса и радио без остатка восхваляют их гений и счастье работать и петь под их мудрым руководством.

Но — Сталин умер. Началось «восстановление социалистической законности» сначала в Москве, а затем и в «народных демократиях». Хрущев у руля. Правительство в Софии вынуждено ему подчиниться.

1956 год. Коммунистический мир в волнении. Трещат красные Бастилии. По странам Восточной Европы прокатывается гигантская волна: поднимается молодежь и требует отчета, интеллигенция вновь учится свободно думать, в народах рождается надежда

и воля к борьбе. Болгарские коммунистические руководители, следуя генеральной линии, смещают Червенкова со всех занимаемых им постов. Его место занимает Тодор Живков, чье царствование продолжается и поныне.

Тогда началась ТРЕТЬЯ фаза, идущая по сей день. Политическая долговечность Живкова могла бы удивить — тем более, что компартия, как никакая другая политическая организация, в любой стране представляет собой клубок интриг, питомник честолюбцев. Но Живков у власти, пока этого хочет Москва и пока им доволен собственный «новый класс». Кстати, Живков не устает повторять, что его заветная мечта — увидеть Болгарию шестнадцатой республикой Советского Союза.

Приход Живкова к безраздельной власти совершился постепенно. Ему пришлось долго лавировать, натравливать в политбюро одних на других. Не умный, но хитрый прагматик, он обладает неистощим пером (недавно опубликованы 23 тома его «избранных» произведений) и не терпит людей компетентнее себя. Может, поэтому он и опирается на выживших из ума, но зато увешанных медалями и орденами партийцев из старой гвардии и очень осторожно выбирает сотрудников из своего поколения. Становясь опасным, любой конкурент мгновенно оказывается послан в какой-нибудь маленькой и очень отдаленной стране, и то временно. Через некоторое время его можно найти работающим, скажем, в гараже. Такая судьба постигла Бориса Велчева, исключенного из политбюро в мае 1977 года.

Политическая долговечность Живкова объясняется и повышением уровня жизни определенной категории населения. Эта социальная прослойка получает все блага, которые дает власть, и не удовлетворяется прежними пустыми лозунгами и призывами к самопожертвованию: она хочет заниматься только устрой-

ством собственной жизни и преуспевает в этом. Партийные и государственные лидеры, высшие чины армии, хозяйственные руководители и многие другие получают высокие доходы и привилегии, грабят государство и общество и за свое неуязвимое положение, естественно, благодарны Живкову. В сущности, чего он хочет? Править? Пусть правит! Они же хотят только одного — хорошо жить.

Просто удивительно, какую бешеную деятельность развивает этот человек, ограниченный и ничем не примечательный. Его можно увидеть в самых разных уголках страны: он торжественно открывает школы, мосты, пожимает руки, произносит длинные речи — разумеется, если он в этот момент не в СССР, Венгрии или другой стране. Все поражаются его подвижности, любви к путешествиям. На трудный или неловкий вопрос он отшучивается. Его просят разрешить нелады, возникшие между дирекцией того или иного завода и рабочими? Он хитро отвечает: «Нет, товарищи, я здесь, чтобы говорить об успехах, — что же касается трудностей или неудач, поговорите с товарищем таким-то». Во время очередного банкета к нему подходит делегация и просит разрешить какой-то вопрос. Он приглашает делегацию к своему столу, наливает всем полные стаканы: «За ваше здоровье, товарищи!» Наливает раз, два, три, еще и еще... Наконец встает, пожимает всем руки и говорит: «Видите, товарищи, сумел я вас напоить, а сам не выпил ни капли...»

Как большинство руководителей компартий, Живков — хороший семьянин. Его дочь и зять сделали политическую карьеру: дочь — председатель комитета по искусству и культуре, а зять, Иван Славков, — директор болгарского телевидения. Правда, нужно отдать должное: многие говорят, что Славков — способный и компетентный руководитель.

Стратегическое положение Болгарии принуждало ее руководителей — во все времена — играть полную эквилибристику политическую игру. Положение не изменилось. Болгария не имеет общих границ с СССР и окружена соседями, ведущими диаметрально противоположную политику. Вопрос о Македонии ждет своего разрешения уже более ста лет и продолжает отравлять отношения между Болгарией и Югославией. Два правительства — в Софии и Белграде, — называющие себя социалистическими и ратующие за интернационализм, не продвинули решение этого вопроса ни на миллиметр в течение тридцати лет. Но все же после чехословацкого кризиса напряженность в отношениях Болгарии с соседними странами уменьшилась.

Коммунистический режим существует в Болгарии с 1944 года. С тех пор в стране произошли необратимые изменения. Мы не можем и не хотим их игнорировать. Отсутствие важных событий и почти полное прекращение эмиграции привели некоторых старых эмигрантов к закостенелым, нереальным и устарелым концепциям. Стремление вернуться к положению, существовавшему до 1944 года, — довольно опасная утопия. Какие бы то ни было изменения могут быть предложены только на основании анализа нынешней реальности.

Раньше для Болгарии были характерны мелкие частные крестьянские хозяйства. Каждый крестьянин владел участком земли и обрабатывал его сам или со своей семьей. Благодаря аграрной реформе Стамбульского, вопрос о землевладении потерял свою остроту.

После 1944 года самое яростное сопротивление режиму оказало село: он посягнул на крестьянскую частную собственность, на тысячелетние привычки, на крестьянский образ жизни. Перед войной только 1,6% в Болгарии принадлежали владельцам, чье владение превышало 50 гектаров. В других странах это отноше-

ние было следующим: Чехословакия — 43%, Румыния — 32%, Венгрия — 48%. Гораздо легче забрать землю у нескольких крупных землевладельцев, чем у миллиона мелких собственников.

Из-за концентрации населения, коллективизация в Болгарии прошла очень быстро. Всё было закончено в десятилетний срок. В период «десталинизации» миллионы крестьян бросили свои деревни, чтобы битком набить города. С одной стороны, бешеная индустриализация требовала все больше и больше рабочих рук, с другой — те, кто оставались в кооперативно-трудовых земледельческих хозяйствах, в конце концов бросали их, предпочитая мизерную, но все-таки верную зарплату на заводе копеечному или выдаваемому в виде продуктов колхозному заработку.

Самый критический период коллективизации пришелся на 1949-1952 годы. Кипит холодная война, Тито смешивают с грязью, южные соседи Болгарии Греция и Турция готовятся к возможному столкновению. В некоторых областях страны (в частности, на северо-западе) крестьяне нападают на кооперативы, чтобы вернуть отнятый скот, инвентарь. Те, кто еще не вошел в кооперативы, уничтожают своих свиней, лошадей, быков, птицу, лишь бы не отдать колхозам. Чем сильнее сопротивление крестьян, тем сильнее давление властей. Тысячи болгар уходят в изгнание — либо желая спастись от репрессий, либо надеясь начать новую борьбу с режимом. Десятки тысяч семей посажены в трудовые лагеря. Тридцать тысяч евреев покидают страну. За ними следуют 150 тысяч турок. Нетерпимость, ставшая законом, проявляется во всех формах: национальной, политической, социальной. Крестьяне, не желая отдавать свои поля, ложились под тракторы.

Сегодня бывшие кооперативы превратились в агропромышленные комплексы, каждый — площадью не менее нескольких десятков тысяч гектаров. В высокоразвитых странах обработка земли не представляет

никаких трудностей: модернизация деревни завершилась уже давно, ничтожный процент трудоспособного населения остается в сельских местностях, в то время как остальные работают в промышленности или в сфере обслуживания. В Болгарии в 1977 году сельское хозяйство ощущало большой недостаток рабочей силы. Чтобы удостовериться в этом, достаточно пролистать официальную прессу. Вследствие недостатка сельскохозяйственных рабочих, урожай гниет на корню. В пору жатвы и сбора винограда в Болгарии объявляется настоящая мобилизация, но кукуруза и хлопок часто остаются необранными до наступления зимы. Только крестьянин может толком отдать себе отчет в истинных размерах колоссальных ежегодных потерь.

Власти не нашли другого выхода, кроме мобилизации и отправки на помощь колхозам солдат, школьников, студентов, рабочих. В редакции каждой газеты создан специальный отдел, занимающийся этими вопросами. Главная трудность состоит в том, что очень мало молодежи осталась в деревнях. Посылая в горячую пору тысячи горожан в деревню, режим, разумеется, не спрашивает их мнения. Эти люди проводят в колхозах две-три недели. «Комплексы» включают их в свои бригады и заботятся об их быте. Им приписывается «трудовой энтузиазм», их «трудовые успехи» подвергаются лирической обработке, их всем ставят в пример, награждают орденами и медалями. Вопрос о хлебе стал для коммунистического режима наиважнейшим. «Социалистический лагерь», чтобы прокормить свое население, вынужден ежегодно импортировать миллионы тонн пшеницы. Сельское хозяйство — ахиллесова пята коммунистического устройства, которое оказалось неспособным удовлетворить элементарные нужды людей.

Изгнанные из своих домов (нуждой или силой — все равно), миллионы крестьян очутились в перена-

селенных городах, не готовых принять такое огромное количество людей. Оторванные от горизонтальной цивилизации: дом с двором, сад, — они вынуждены приспособливаться к цивилизации вертикальной, им приходится жить в многоэтажных курятниках, переносить шум, загрязнение окружающей среды. Некоторые, благодаря выгодным связям, довольно быстро выкроили теплое местечко под солнцем, принялись воровать направо и налево и превратились в «денежные мешки». Кем бы человек ни был, горожанином или сельским жителем, стремление жить лучше охватывает всех. При каждом удобном случае человек ворует. С одной стороны, мизерная зарплата и нищета, с другой — неистребимое желание наслаждаться жизнью. И все препятствия морального характера сметаются.

Современная жизнь творит непоправимое: заводы выливают в реки токсические отходы, анархическое строительство домов и заводов, безрассудная вырубка лесов также ставят серьезные проблемы. Болгарские леса в Старо-Планине и Родопах были почти полностью вырублены сначала немцами, затем — советскими властями для нужд советской экономики. Теперь, правда, и в Болгарии защита окружающей среды становится модой. В середине 1977 года правительство было вынуждено принять энергичные меры по охране природы.

Одним из самых важных вопросов остается рентабельность сельского хозяйства. Поскольку колхозные земли непродуктивны, а колхозы не могут понастоящему организовать сбор урожая, правительство было вынуждено дать крестьянам приусадебные участки. И с этих маленьких участков идет большая часть урожая, овощей, фруктов и т. д. Часть того, что собрано с приусадебных участков, крестьяне оставляют себе, другую продают — это позволяет им пополнить тощий семейный бюджет. Некоторые крестьяне так увлекаются работой на собственных участках, что

совершенно забывают о своей ответственности по отношению к «комплексам». За это равнодушие к труду налагаются наказания, но оно продолжает существовать и в сельском хозяйстве, и в промышленности.

Сельскохозяйственные земли Болгарий сейчас распределены между 144 агропромышленными комплексами, в которые входят бывшие сельскохозяйственные комплексы и МТС. Каждый из них занимает площадь около 26 тыс. га, на которых работает в среднем по 6 тыс. человек. Легко себе представить, с какими трудностями сталкиваются эти чудовищные «укрупненные колхозы». Не говоря уже о сложностях при выполнении заданий, соперничество внутри самих комплексов, между комплексами, между сельскохозяйственным и промышленным секторами далеко не облегчает дело. Работа агропромышленных комплексов контролируется партией, которая следит, решает, приказывает. В таких условиях «демократический централизм» является чистым мифом. Интересы каждого комплекса прежде всего подчинены интересам центральной власти. В 1976 году активная, работающая часть болгарского населения составляла 5100 тыс. человек, из них 1530 тыс. (около 33%) были заняты в сельском хозяйстве.

«Новый человек», как уже сказано, не испытывает никакого уважения к государственной собственности. Не так давно одна болгарская газета писала, что хищения в городе Горна Оряховица достигли суммы 32323 левов (средняя зарплата рабочего — 100 левов). Под суд попало 15 человек. Один из сотрудников журнала «Септември» попытался разобраться в этом деле. Но безуспешно: его встретил заговор молчания. Все, так или иначе участвовавшие в махинациях, обращались с ним высокомерно и нагло — награбленные деньги придавали им уверенность. В отчете, в общем-то объективном («Септември», № 7, 1977), журналисту удалось описать психологию нуворишей и поведение

сильных мира сего. Представители этого нового класса имеют красивые дома, прекрасную импортную мебель, новые автомобили. Первый вор из воров, повар Иван, построил себе гараж из мрамора — импортные железные ворота гаража «вызывают живейшую зависть соседей». Его невестка Николина ходит в шелках, нигде не работает, но получает зарплату на предприятии, где работал ее свекор. В платежных ведомостях этого предприятия значилась и другая невестка, Гинка, хотя никогда там не появлялась. Под суд попала и комсорг Денка Димитрова. Журналист грустно заключает, что воруют все: и директор, и служащие. Нет больше морали — всё дозволено!

Эта новая эпоха весьма интересна: люди больше не боятся, как 20-30 лет назад. Они не боятся воровать, не боятся милиции. Пример им подають власть имущие. Ответственные работники, министры, партийные руководители живут шикарно, располагают автомобилями, дачами, квартирами, их дома обставлены импортной мебелью, их дети и они сами свободно разъезжают по заграницам. Они хотят хорошо жить — и немедленно! Как могут они требовать от других того, на что сами неспособны?

Несколько месяцев тому назад литературный журнал «Пламък», официальный орган союза писателей Болгарии, завел на своих страницах дискуссию на тему: почему писатели отказываются работать журналистами? В № 4 за 1977 год журнал опубликовал размышления «мастеров культуры» на эту тему.

«В нашем обществе процветает карьеризм, узость мысли, служебная недобросовестность. И это не слабости, а серьезные болезни», — заявляет один. Другой признается, что писатели и журналисты не осмеливаются касаться жгучих тем. Многие сознают, что повинны сами: «Нами руководит инертность, оставшаяся нам в наследство от культа личности; дело в чрезмерной осторожности, в отсутствии доверия... часто

журналисту приходится долго бороться, чтобы получить данные о том или ином скандале, хищении. Ответственные лица госконтроля отказываются давать показания о наиболее серьезных преступлениях».

Этих ответственных работников госконтроля можно понять. Если б они могли рассказать о том, что знают! Признаться, что каждую минуту, каждую секунду происходит или готовится хищение! «В конце концов, — добавляет один журналист, — тот, кто пишет статью, так же боится, как и тот, кто должен изобличить преступника». «Я написал тридцать очерков, — признается другой, — а теперь мне стыдно признаться, что это я их написал».

В любой социалистической стране на любом предприятии есть многотиражка, которую никто не читает, в то время как страна страдает от недостатка бумаги. А запрещенных вопросов: о нехватке жилплощади, об отсутствии полового воспитания или, например, о полнейшей непродуктивности бюрократии — все равно никто не осмеливается затронуть. Только в одной Софии зарегистрировано 10 тыс. алкоголиков! Употребление алкоголя непрерывно возрастает. Рано утром видишь отпетых алкоголиков, вместо завтрака накачивающихся пивом. Дети начинают курить с десятилетнего возраста. А раньше болгарский народ считался народом разумным, работающим и честным. Движение «Трезвеност», призывающее к умеренности, было чрезвычайно популярно, особенно среди молодежи. Среди болгарской интеллигенции было много вегетарианцев, толстовцев.

Но журналисты должны писать о «героях труда». Некоторые прямо говорят, что им это надоело, что они предпочли бы ставить более острые вопросы. Но когда журналист осмеливается заняться тем или иным делом, в которое замешано какое-нибудь ответственное лицо, особенно когда он едет выявлять прав-

ду в провинцию, то на его пути встает политическая мафия.

В Болгарии часто говорят о «сером потоке». «Серый поток» — это набитые цитатами бесконечные безымянные статьи о директивах, спецзаданиях, сроках выполнения планов и т. д. Но «серый поток» всю проявляется и в литературе. Даже коммунист и закоренелый сталинист Георгий Караславов, миллионер, написавший свои лучшие романы до прихода к власти коммунистов, считал нужным назвать современные болгарские романы «серым потоком», а большинство своих коллег — «писателишками». Он напоминает, что болгарские деревни обезлюдели вследствие массового исхода молодежи в города и что в этих деревнях, где остались только старики, закрываются школы и другие общественные заведения. «Мы не можем отрицать, — заключает Караславов, — что во многих областях жизни у нас всё сгнило» («Септември», № 3, 1977).

Бдительный и усердный охранитель партийной догмы, председатель союза писателей Болгарии академик Пантелей Зарев, способный в литературе на некоторые полуправды, защищает в том же журнале «усиленный поиск» в искусстве. Но, констатируя, что социалистический мир находится сейчас в состоянии этого «усиленного поиска», Зарев не забывает предупредить: «Осторожно, враги нас по-прежнему подстерегают, нужно быть начеку... Мы ведем в настоящее время сложную борьбу. Враг не только вне нас, но и внутри нас самих. ... испуганные и сбитые с толку успехами соцреализма, некоторые носители чуждых нам идеологий делают все возможное, чтобы систематически нападать на нас».

Миллионы иностранцев ежегодно посещают побережье туристической Болгарии, но привозят не только валюту, а еще и свое мировоззрение, свой образ жизни. Хранители догм озабочены. Стадо становится

все менее и менее послушным. Чем больше меняется жизнь, тем труднее становится что-либо запрещать.

Идеологическая борьба продолжает беспокоить партию. В связи с Белградской конференцией весь государственный и партийный аппарат был мобилизован на борьбу с «наступлением извне и наступлением диссидентов». В течение всего 1977 года власть убеждала «трудовой народ», что он не должен доверять «западным волкам».

В нормальном обществе кризисы, если они вовремя не побеждены, приводят к взрывам. В ненормальном обществе однопартийной диктатуры кризисы приводят к революциям. В Болгарии это время пока не пришло. Трудно ответить на вопрос, остается ли Болгария последним надежным сателлитом СССР. В 50-е годы Чехословакия считалась самым верным исполнителем московских приказов. Сегодня СССР может рассчитывать только на силу: его нынешние отношения со своими сателлитами — отношения колониальной державы с готовыми взбунтоваться колониями.

Надо только надеяться, что после бури, неизбежной в этой части Европы, возникнут или восстановятся добрососедские отношения между народами Восточной Европы и русским народом. Нельзя валить на народ вину за преступления, которые от его имени вершат его правители.

КАРАБУЛКОВ Тончо — родился в 1927 году в селе Булгарово (Болгария). Окончил гимназию в городе Бургад. В 1949 году эмигрировал в Турцию. С начала 50-х годов живет во Франции. Некоторое время работал на Французском радио, был ответственным редактором болгарского эмигрантского журнала «Молодежная борьба» и руководителем молодежной секции Национального комитета. В настоящее время Тончо Карабулков — один из руководителей Исполнительного комитета Освободительного движения и член редколлегии журнала «Будущее».

Карабулков — автор двух книг стихов, написанных по-болгарски, и романа «Совесьть Эммануила», написанного по-французски.

Милован Джилас

ИДЕОЛОГИЯ ПИШЕТ ИСТОРИЮ

1

Читатель, ум которого не оскроплен идеологией, уже из заглавия предугадывает, что в этой статье речь пойдет еще об одном разоблачении фальсификации, столь повседневной и привычной в восточно-европейских и иных странах, где власть и идеология творят неразделимую, монопольную суть партийной олигархии.

Эта догадка рождается не на пустом месте, хотя я и ограничил свою тему почти до доказательства того, что с идеологических позиций — я имею в виду, разумеется, главным образом марксизм, марксизм-ленинизм — невозможно, даже при наилучших намерениях, писать истинную историю, хоть бы речь шла об отдаленнейших, доисторических временах. Идеологии как таковые неизбежно ослеплены собою, доказательством своей непогрешимости, и реальность в их интерпретации — тем более историческая реальность, в которой они жизненно заинтересованы, — неминуемо покалечена и искажена. Конечно, та или иная идеология, в соответствии со своими основами и текущими надобностями, стремится к большему использованию своего пиратства и жонглерства в тех или иных событиях, в тех или иных явлениях.

Термин «идеология» идет от Детютта Де Траси и появился в 1796 году. Де Траси и его коллеги понимали под «идеологией» изучение идей, что очевидно

из самого строения термина. Маркс же стремился под это выражение подвести так называемую общественную надстройку, «правовые, политические, религиозные, художественные или философские, короче говоря, ... идеологические формы». Этот термин и определенное им у Маркса понятие становятся потом, в согласии с Марксовой теорией о классовом разделении общества и классовой борьбе, определением целостной духовной специфики всякого класса. Впоследствии, под влиянием Ленина и коммунистических движений, этот термин приобретает нынешнее, суженное значение: принадлежность к определенной доктрине, к идеологии как взаимосвязи теории и действия. Термин «идеология» с его производными («идеологическое единство», «идеологическая работа», «идеологическая принадлежность», «идеологическая борьба», «идеологический уклон» и т. д.) из марксизма и социалистических движений переносится на другие («фашистская идеология», «католическая идеология», «российская идеология» и т. д.) и входит в повседневное употребление. Частично идеологи, частично идеологическая борьба, а больше всего идеологическая власть и человеческий конформизм — и вот созданы термины и понятия, которых никто не может преодолеть.

Это не первый и не единственный случай, когда слова, неадекватно употребляемые, теряют свое лексическое значение и свое первоначальное назначение. Многослойность употребления термина «идеология» скорее доказывает, чем опровергает нынешнюю суженность, ограниченность его значения: идеология проникла в будни современного «индустриального» человека как упрощенная, поверхностная замена религии и философии, не будучи притом ни первой, ни второю, хотя предлагая и откровения, и рациональность. Идеология — не одно только замкнутое, тотальное воззрение на мир и человека, но и адекватная, тотальная деятельность, «философия», которая в конечном счете

изменяет мир. Мир и человек существуют как бы не благодаря себе, но благодаря идеологии: в ней они якобы наконец находят и реализуют себя.

Но даже если бы мои размышления об идеологии были неверны, нет сомнения, что марксизм, а позднее коммунизм, первым превратился в идеологию и этим открыл эпоху, самую мрачную, повседневную и жестокую сторону которой характеризуют именно идеологии и идеологические расправы.

Я хочу остановиться на этой первой идеологии — на марксизме, в частности на том, как марксизм пишет историю. И не только потому, чтобы другие идеологии и их историографии были лучше или хуже, но и потому, что я полнее всего испытал марксизм, в его наиболее жизнеспособном, революционном и стоящем у власти, ленинистском варианте.

2

Беспредельное и непредсказуемое в сознании и в разнообразии своих проявлений, мышление демонстрирует и предлагает нам себя, в максимальном случае, как ограниченное стремление — определенное стремление определенной личности, потому-то и ограниченное, замкнутое, — к неограниченному. Мы не могли бы усвоить никакое, ничье мышление, не будь оно выражено в доступной и, тем самым, завершенной форме: безграничное и непостижимое являются нам как хаос и хаотическое мышление.

В этом смысле всякое мышление и всякое учение тяготеет к своей завершенности — к идеологизации. Это, так сказать, природная, логическая направленность мышления. Это стремление к завершенности, это бессилие и эта неизбежность воспринимать мышление лишь в его конечном облике — всё приводит к тому, что к идеологическому учению мы относимся, как к любому другому. Ибо идеологический вывод,

как и всякий другой, выглядит — и является — плодом размышления. Идеология же, таким образом, выглядит как последовательная, наипоследовательнейшая философия — более того, как окончательная, завершенная философия, а значит, и конец философии.

Это, конечно, не так.

Мышление и теория не могут избежать замка своей природы — своего стремления к завершенности. Но они от этого еще не становятся идеологией — станут же ею, когда свою завершенность, свою тотальность преобразуют в действие, в социальную практику. Идеология непредставима (и во всяком случае безвредна), пока не является социальной активностью — «руководством к действию». Потому-то идеология и «упраздняет» философию, что та занята «всегонавсего» поисками истины, а не действием.

Маркс перестал быть философом в классическом, объективистском смысле слова, а его учение — объективно философским, как только весной 1845 года, в момент своего духовного рождения, он сформулировал в «Тезисах о Фейербахе» тезис одиннадцатый: «До сих пор философы объясняли мир, теперь пришло время его изменять». Это не уменьшает Марксова достижения. Наоборот: этим он открыл новую эпоху — эпоху «научного», управляемого руководства судьбами людей. Маркс, вероятно, не осознавал своего достижения. Он верил, что таким путем «царство свободы» возникнет и вытеснит «царство необходимости». Но этим путем, несомненно, было положено начало идеологии. Изменение мира, т. е. действие, поставлено здесь над философией — философия не может претендовать ни на что большее, нежели быть средством, служанкой действия, служанкой изменения мира. Медитации и свободная мысль становятся презренным понятием. Философия и философский поиск допустимы настолько, насколько они являются оружием, орудием политики. А с образованием новой,

идеологической власти (так называемой диктатуры пролетариата) философии и философам не остается и такого удела: партийно-политические вожди, если даже не становятся единственными философами, неизбежно — как идеологи — являются высшими судьями и в философских вопросах.

Философия в этом идеологическом виде, при этих идеологических порядках «имеет смысл» только как идеология. Более того, сама идеология не имеет ни оправдания, ни притягательной ценности, пока не является вдохновителем движения или орудием власти. И наоборот: действующее движение невообразимо без идеологии. Трудно, почти невозможно отделить одно от другого: идеология есть сила, сила есть идеология, гегелевский Абсолют словно бы нашел, наконец, способ полностью реализоваться.

Из этого ясно следует, что и писать историю в идеологии, в идеологическом устройстве — это только элемент деятельности, служебность по отношению к движению, т. е. элемент «изменения» людей и человеческого сознания. Конечно, если речь не идет об «измене» движению и идеологии, о неугасимом стремлении рассказать свою, пусть эзоповскую, повесть.

Историки-идеологи при этом, разумеется, находят свое самооправдание и разом самообман: они-де поступают точно так же, как другие, — «разве что» идеология у них иная. Иначе говоря, у кого какая философия — а у всякого историка, как у всякого человека, есть какие-то взгляды, какая-то философия, значит, и идеология есть не что иное, как мировосприятие. Но, в отличие от строгой философии, идеология, особенно марксистская, в своих глазах не выглядит завершенной, но — идеологией в неустанном развитии, идеологией, которая обогащает себя на пути эпических открытий и социальных преобразований. Философия есть истина, поиск истины для всех людей, идеология есть истина, поиск истины только для своих

приверженцев. Она конечна, замкнута, но только по отношению к внешним, «чуждым» учениям, а не по отношению — кроме случаев перевеса какой-то фракции — себя самой и своих приверженцев.

В этой разнице между идеологией и философией и лежит разница между тем, как пишут историю идеология и философия. Историк с определенными философскими взглядами не пишет истории в пользу определенного движения, в пользу определенной власти — как только он это делает, он уже не отличается от идеолога, он такой же идеолог, замаскированный под философа. Идеолог, если и не пишет непосредственно в пользу власти и движения, всегда держит в уме их «высшие интересы». К этому его обязывает сама природа идеологии — ее действенная роль в изменении чуждого мира, в усилении своего течения и сохранении своего устройства.

Вот почему в идеологически написанной истории значительное место занимают интерпретации — прошлое «загоняют» в «истину» движения и потребностей власти.

Как говорит Орвелл: кто распоряжается прошлым — распоряжается будущим. Я прибавил бы: идеологическая монополия в интерпретации прошлого — важный, иногда решающий элемент монополии над жизнью. В этом — подлинная, а то и прямая цель пишущей историю идеологии.

Борьба за прошлое — это борьба за сознание: распоряжаться можно только людьми искривленного, разрушенного сознания.

3

Если бы Маркс предчувствовал вульгарнейший, примитивный и оглуляющий потоп марксистских исторических сочинений, он бы заботливей и осторожней формулировал свои «законы развития истории».

Однако избежать этих результатов он мог бы только ценой отказа от своей философии — своей философии, сформулированной как идеология!

На это он, однако, не был способен уже в силу своих формулировок — в силу того, что и делает Маркса Марксом.

Ибо, по существу, именно то, в чем состоит слабость доктрины Маркса: абсолютизация определенных «движущих сил» и, тем самым, схематизация, оскотление живой исторической реальности, — создает силу движения, которое будет ею руководствоваться. Иначе говоря, историзм Маркса, его «открытие» «законов истории» — законов, воспринятых и принятых как научные (и это после того, как открытия и теории точных наук оказались неокончательными, гипотетическими), — становится идеологической основой социалистических, а затем революционно-социалистических движений.

Несправедливо было бы обойти тот факт, что Маркс в своих исследованиях, особенно в «Капитале», шел дальше и шире своих «законов»: поток и ситуации истории в его изложении не настолько бесцеремонно вколачиваются в колодки «базиса», «надстройки», «классов» и «объективной обусловленности», чтобы до конца потерять свой облик и свое сердцебиение.

Маркс замечает неполноту, схематичность формулировок. А занимаясь — притом так добросовестно и исчерпывающе, что и лучшие исследователи могли бы позавидовать, — живым, человеческим миром, т. е. обществом, он, безусловно, ощущал его неподатливость. Этого, конечно, не скажешь о его ближайшем соратнике Энгельсе, а тем более о его учениках, даже самых одаренных: Каутском, Плеханове, Ленине, Сталине, Мао и любом другом.

Более того, историки-марксисты считают, что они уже знают существо истории в силу одного того, что они изучили и приняли — это второе особенно важно,

ибо означает принадлежность к движению, — Марксовы законы, и всё для них после этого состоит в иллюстрировании этих законов, в наполнении их рамок фактическим материалом. Таким-то образом историк-марксист — речь идет, разумеется, об историках, верящих в свою добросовестность, а не о продажных писаках, наводнивших духовную жизнь Восточной Европы, — еще до начала дела осудил себя на методологическую ограниченность, на недооценку фактов, на искажение истории.

Историки-марксисты, действительно, во всем ниже Маркса и первоначального марксизма, сколько бы они им ни клялись и ни хлопотали о своем вкладе в него.

Это естественно: власть, убедительность и притягательность первоначального марксизма созданы гармоническим, прекрасным синтезом утопии, научной методологии и движения. Они переходят друг в друга, сливаются, взаимно обогащают и обуславливают друг друга. Это, по существу, синтез домарксовской эпохи с эпохой Маркса, а потом и Ленина: утопический социализм и гегелевская диалектика, соединенные с научной методологией XIX века и с ленинской идеологической партией двадцатого. Утопия дает вере силу, методология — точность, а партия — перспективы победы, реализации.

Я здесь оставляю в стороне критику марксизма и его вышеназванных синтетических элементов, тем более, что я об этом кое-что говорил в других работах — главным образом, о том, как выявляют себя эти элементы после захвата власти марксистской партией. Утопическая надежда тогда превращается в тотальный террор, методология — в бессовестное, прагматическое употребление вещей, людей и теорий, а партия — в привилегированный паразитический слой.

Историк-марксист не свободен и не может быть творцом, как ранние марксисты, не говоря уже о самом

Марксе. Он придерживается доктринальных схем, давно превзойденных теоретической и фактографической реальностью. Он проповедует и поучает, вместо того чтобы исследовать и разъяснять. Он подчиняет прошлое будущему, истину — злобе дня, он должен служить движению, должен непрестанно «исправлять» свое сознание и свою совесть, как будто, причинив ущерб сиюминутным нуждам движения, он поставил бы под угрозу «конечные», «высшие» цели.

Историк-марксист — в сущности, пропагандист. Пропагандист прошлого во имя текущих нужд неизвестного, недоказанного и недоказуемого будущего. Историки-марксисты разрушают целостность, гомогенность памяти, чтобы обеспечить власть и господство движения в будущем, в том будущем, в котором люди и народы непременно должны будут жить по-ихнему, но о котором нельзя с уверенностью знать, будет ли оно счастливей и спокойней прошлого и настоящего. История для историков-марксистов — не учительница, но служанка жизни, а Клео, богиня истории, — незваный гость для них, вопреки тому, что именно у нее они чаще всего ищут подтверждения своим догмам.

Один пример:

В Сербии в 1804 г. вспыхнул бунт против янычарских вождей, отпавших от Стамбула. После многолетних битв, в которых повстанцы повернули оружие также против Стамбула и на первой стадии потерпели поражение, бунт принес сербам автономную княжескую власть. До самого появления идеологических историков-марксистов этот бунт описывался и воспевался так, как он был пережит и увиден. Но затем историки-марксисты взялись за его классификацию и занесли в раздел революций, которые, по Марксу, характеризуют отдельные эпохи. Будь Сербское восстание безуспешным, его бы, вне всяких сомнений, зачислили в «крестьянские войны», ибо неудача — их

характеристика, по Марксу. Но поскольку восстание было успешным, его надо было непременно провести по разряду «революций». И что же? Поставили его в «буржуазные революции», а за неимением буржуазии, которая бы им руководила, произвели пластическую операцию: крестьянская война, носившая характер буржуазной революции.

Это один пример из истории моего народа. И ни конца им, ни края — нет ни одного лица или события, не превращенного идеологическими операциями в гротескное и нереальное.

Вправду не знаю — и не верю, чтобы кто-то знал, — ни одной идеологической, марксистской истории, способной более или менее удовлетворить любознательность читателя, не говоря уже об истинно научном уровне. В СССР и Югославии — думаю, так же и в остальной Восточной Европе — всё еще лучшими остаются «буржуазные», позитивистские истории. Не трудно догадаться, почему это так в Восточной Европе: марксизм там — господствующая, монополистическая идеология, кодекс для правителей, духовный дурман для народа. Но точно так же, по существу, пишутся идеологические, марксистские истории и на Западе: там они не единственные, и реальность прошлого является не в них одних, не подогнанная под предписания и потребности идеологии и партийной олигархии.

Так и будет в Восточной Европе и везде: пока история будет писаться с обработанной марксизмом памятью по «уже открытым» марксистским «законам истории», до тех пор в духовной атмосфере будут царствовать мрак и холод «высшего учения» и авторитарной власти.

Но почему в иных краях не может быть иначе, ежели уж так должно быть в Восточной Европе?

Я не претендую перечислить основные, тем более все причины. И не только потому, что это заняло бы пространство куда больше всей этой статьи. Главные причины — в марксизме как таковом. Не только в том популяризаторском, вульгаризованном марксизме последователей Маркса, но и в изначальном Марксовом учении. И было бы весьма рискованно определять главные черты марксизма, его важнейшие истоки, которыми питаются марксистские схематизаторы исторических наук: что́ окажется главным в марксизме, как и в любом другом учении, зависит столько же от точки, с которой ведется определение, сколько от нужд времени, в котором и ради которого это определение производится. Для Ленина главным было — утверждаю это по праву, с его позиций, — учение о революции и власти. А сегодня, например, в марксистских кругах новых левых особое, иногда величайшее значение придается теориям молодого Маркса об отчуждении, хотя Ленин и ленинское поколение никакого значения им не придавали, если даже их и замечали.

Но с чего-то и от чего-то следует начинать, и я хочу выбрать точкой отправления наиболее принятую и наиболее признанную основу марксизма: исторический материализм, т. е. экономический фактор, классы и классовую борьбу, диалектику. Притом я не буду ни критиковать, ни излагать эти теории, разве что этого потребует сама тема — убийственное влияние марксистской идеологии на человеческую реальность и на исторические исследования.

Никто разумный и сведущий в науке не станет оспаривать таких общепринятых вещей, как материально-экономические условия и факторы, существование классов и классовой борьбы на протяжении

истории. Всё это давно обнаружено Марксом и сегодня принято как нечто само собой разумеющееся. Подчеркну также диалектическое развитие: Гегель вывел его из наблюдения, хоть и верил, что в этом проявляется Дух, — Маркс, переворачивая Гегеля «на ноги», не сделал ничего иного, как изгнал Духа, а его проявление, диалектику, сохранил. Сегодня это истина такого же рода, как некогда было: человек должен вдыхать воздух, чтобы жить; люди извечно делились на группы, которые вели междоусобную борьбу.

Спорно, с первого же взгляда, что это и есть единственные и главные законы реальной истории, хотя бы мы и находили тут необходимые ориентиры и каркасы писанной истории. Надо добавить, что марксизм не первый и не единственный «открывал» и «открыл» «законы истории», только он был самым упорным и успешным, ибо именно этим он неразделимо слился с движениями и государственными устройствами, которые «творят» историю, «строят» общество и «нового человека».

Спорно и нечто более важное: существуют ли вообще законы истории? Если существуют, то какие: в согласии или в противоречии с марксистскими законами? И если существуют какие-то другие, лучшие законы — можно ли их придерживаться хотя бы при написании истории, когда законы марксистские показали себя на деле как деспотия и мракобесие? А если не существует никаких надежных, неопровержимых законов, как же мы будем, чёрт побери, ориентироваться в жизни, в политике, хоть бросай историю писать?

Прежде всего, отметим: невозможно отыскать в истории человечества событие или явление, устройство или государство, которые были бы «обусловлены» только теми или иными материальными факторами, или орудиями производства. Столь же определенно нет такого события или явления, строя или государства, в котором материальные факторы, орудия

производства не играли бы роли — иногда незначительной, иногда предопределяющей.

Но действуют и другие важные, нередко более важные, решающие факторы: богатство и расположение страны, количество населения и т. п. Часто и нематериальные: религия, идеи, традиции, состояние духа, свойства правителя и вождя или политических группировок и т. п.

Напомню, например, что в начале восстания Черногории против итальянцев в 1941 г. (примерно то же можно сказать и об остальных югославских землях) материальные факторы были неблагоприятны, даже супротивны: итальянская оккупация была сравнительно мягкая, более того — Италия занялась снабжением, упорядочением транспорта и т. п. Решающим был моральный фактор: ущемленное достоинство из-за легкой капитуляции королевской армии, воодушевление и вера после вступления в войну традиционного «заступника» — России. Были, конечно, и другие значительные, решающие факторы: революционная коммунистическая организация с исключительным руководством, сравнительная вооруженность повстанцев, удобство местности.

Впрочем, хоть коммунистические теоретики и историки и не учитывают значения других факторов, коммунистические вожди, как всякие иные вожди, на практике познали их роль и вес: они взывают к чести и достоинству нации, к традициям, к сегодняшним достижениям и грядущему счастью. Если бы вожди страдали ограниченностью теоретиков и историков, их бы быстро сменили: неизменная, окостенелая теория — для вождей лишь одно из средств, без духовных мотивировок не бывает никакой человеческой активности, уж тем более такой, как борьба за власть и за сохранение власти.

Рассмотрим, однако, поближе какое-нибудь устройство — например, феодализм: отношение «крепостной-

владелец» — это общая, абстрактная характеристика устройства как такового. Но от страны к стране, от провинции к провинции эти отношения иные — феодализм из теории, теоретический феодализм не существует. Ну, а некоторые общие черты феодализма? Несомненно. Все феодализмы, как и все коммунизмы, имеют кое-что общее. Да только настоящий историк описывает реальный, живой феодальный процесс — один историк-марксист загоняет живой процесс в свою марксистскую общность.

Только специфические производственные отношения, такие, как отношение «крепостной-владелец» в феодализме, открывают нам общую картину общества. Но каково конкретно это общество — разве английское, или русское, или турецкое феодальное общество всё одно и то же? — еще только надо открыть в описываемой реальности. Еще меньше помогает нам эта общая картина открыть, куда движутся и как развиваются отношения какого-то конкретного общества, какие факторы перевешивают в тот или иной момент его развития. В марксистских историях проблемы и исследования вывернуты наизнанку: теория доказывается, «подтверждается» реальностью, вместо того чтобы выводиться из нее. «Логика» тут та же самая, что и в марксистской политике: однопартийная «монolithicность» и диктатура охраняются во имя будущего отмирания государства — вместо того чтобы сначала это отмирание экспериментально испытывать.

Такую пестроту, такую неподатливость по отношению к «историческим законам» проявляют и другие, не феодальные порядки. Хоть бы и, в наше время, «социалистические» — вопреки тому, что их возникновение вдохновила одна и та же ленинистская теория. Уже этой разноликости и всё большей разноголосицы в собственном лагере должно бы было хватить для опровержения теории. Тем более, что «социалистический» строй коммунистов — красноречивый (быть

может, самый красноречивый в истории) пример зависимости материальных факторов и производственных отношений от власти, даже от воли и ума вождя.

Но каждый лучше видит чужое, чем свое, а догматики — это своего рода маньяки, которым напрасно что-то доказывать.

То же самое с классами и диалектикой: история — это не история классовой борьбы, но и классы, и классовая борьба, как и иные факторы, — формы сил, направленных на расширение условий человеческого существования, а живой «диалектический» процесс намного более сложен и «незаконен», чем единство противоположностей и гегелевская триада.

И не случайно, хотя на вид и парадоксально, что истории, написанные древними греками и римлянами, остаются непревзойденными образцами: и те, и другие не мучили себя историзмом и «историческими законами», а старались проникнуть в реальную жизнь и передать ее многослойность самыми простыми и самыми точными картинами. В этой традиции написаны и лучшие европейские истории — как и европейская философия верна традиции античной философии.

5

Для недогматической памяти нет ничего странного в утверждении, что объективное, да еще и материалистическое учение, каким марксизм себя постоянно объявляет, служит основой искажения гуманитарных, особенно исторических наук. Это может случиться и случается с любым другим абсолютизированным учением, а марксизм от самых корней устремлен к абсолютизации — начиная с того, что провозглашает себя «научным» и неприкосновенным открывателем «исторических законов». Станным может показаться, по крайней мере — на первый взгляд, что это учение могло стать мотивировкой и схемой для исторических

фальсификаций, которым — по чудовищности, по зловещей гротескности — нет ни равных, ни родственных в истории.

Ибо, действительно, взятое в своем чистом, абстрактном звучании, марксистское учение вроде бы нацеливает на объективность исследования и на выводы из методически собранных фактов.

Но бес сидит в том, что марксизм всем своим бытием сопротивляется такому истолкованию: он — философия, он — идеология изменения мира, сотворения «нового общества» и «нового человека», и он не может ни существовать, ни, тем более, приниматься вне движения, вне партии. Он — душа движения, кредо и программа партии.

Гуманистическая сторона марксизма, о которой в последние годы много говорилось, особенно среди западных «новых левых», несомненно существует у Маркса, но не является важнейшей компонентой марксизма — да и в каком учении нет этой компоненты? Она что-то значит только тогда, когда мы воспринимаем Маркса и марксизм абстрактно, академически — как учение вне и без политического движения. На такое восприятие не согласился бы и сам Маркс: бытие его учения деятельно — «руководство к действию».

И когда не упускают из виду, что марксизм — для простоты я избегаю говорить о ленинизме, который является крайним следствием действенного, революционного и партийного марксизма, — неотделим от движения, от партии, тогда перестает выглядеть неубедительной и невероятной связь между схематизацией истории, которой подвержены историки-марксисты, и фальсификацией истории, которую методически проводят коммунистические правители-марксисты и их подручный аппарат.

Высказывая это неопровержимое и непреходящее положение, я отнюдь не отождествляю историков-марксистов с коммунистическими партийными про-

пагандистами. Конечно, есть историки, которые являются и пропагандистами, — и наоборот. Но взаимосвязь того и другого процесса интерпретации истории не разворачивается без определенных различий: один из них «объективен», второй — «субъективен».

Историк-марксист блуждает, придерживаясь интеллектуальных построений и неуклюже топчет реальную прошлую жизнь, — пропагандист с бесстыдством наемника и злорадством предателя фабрикует полуправды в том или ином «секторе» общественной жизни, преобразенной в непостижимый, централизованный и найдодоходнейший комбинат лжи. Историк-марксист — это жертва, хотя не всегда и не полностью, подобно истории, которую он пишет. А пропагандист, партийный историк — интеллектуальный интриган и отравитель, и его жертвы — живые люди и живые явления.

Вблизи, в реальности, всё это и проще, и яснее.

Имманентное свойство всякого движения, всякой партии — власть, стремление к власти. Потому они и не могут быть организованы иначе, нежели иерархически. Но способ функционирования иерархии бывает разный: от слабых связей до мертвых узлов, от конфедеративных групп до идеологических тоталитарных организаций, подчиненных вождю или руководству. Марксистско-ленинские партии входят в последний разряд.

Марксистско-ленинская партия, как показывает само название, — это сплав идеологии и централизованной организации. Она и до захвата власти обладает своим замкнутым учением, своей безапелляционной «истиной». И учение это, «истина» эта — условие, «жизненный сок» ее существования и прихода к власти. И обладает она ими до захвата власти в форме особой монополии: они уже монополия в партии, но они еще не монопольны, по сравнению с другими учениями, в обществе. По простой причине: марксистов и

марксизм вне партии никто ни во что не ставит, и наряду с партийной идеологией, поскольку она еще не обладает монополией власти, продолжают и возникают другие теории и другие идеологии. В условиях борьбы за власть с другими партиями марксистско-ленинская партия пока еще остается более гибкой и демократичной и в своей внутренней жизни. Вожди не могут, если б и хотели, уклониться от задачи убеждать членов партии или, по крайней мере, манипулировать их волей — иначе рядовые члены скатятся или откатятся к «оппортунистам» или «сектантам»-фракционерам. Централизм, культ вождя и руководства — это, таким образом, плод добровольной сознательной партийной дисциплины в сложных, нередко суровых условиях борьбы.

И сочинение истории, особенно новейшей и партийной, — до захвата власти не рутинный мозольный труд, но страстная расправа с «враждебным» миром и с самими собой. В этих историях всё и все не на своем месте и не в истинных масштабах, зато учение страстно и убедительно — если не для других, то хотя бы для приверженцев. Идеологов и вождей не интересует история прошлого — разве что когда она может послужить актуальным партийным нуждам. И с современной историей они еще не могут обходиться своевольно — разве что настолько, чтобы все-таки не выпасть из ее хода.

Всё, и это тоже, меняется с присвоением, монополизацией власти. Руководство из исполняющего, творящего волю партии, из носителя «классового» партийного учения преобразуется — точнее, не преобразуется, а продолжает свою роль в измененных условиях — в монопольного распорядителя, сначала в обществе, а потом и в собственной партии.

Партия как целостный и инициативный организм начинает коченеть, а роль руководства, чаще вождя, — укрепляться. Начинаются раздоры, обычно вокруг

«революционной» перспективы и «революционной» последовательности. А затем и расколы, и чистки «ре-негатов» и «ревизионистов». В дальнейшем, правда, сохраняется способность партии в критические моменты свалить ответственность на руководство или вождя и на их привилегированный статус. Однако она и сама в действительности превратилась в привилегированный слой — в средство и социальную основу правящей олигархии.

Тут-то и начинают писать историю по-новому. Только тогда руководство жизненно заинтересовывается историей, особенно новейшей и партийной. Всё перерабатывается в духе «новых данных» — согласно нуждам руководства или вождя и в соответствии с их грешным людским желанием увековечить себя.

Дело творца превращается в обязанность аппарата и аппаратчиков.

Особенно страдает история партии, ибо на самом деле нет больше ни партии, ни прежнего жертвенного вдохновения ее учением и подчинением ей.

Если еще и остаются правдивые исторические труды, то чем ближе к современности, тем их меньше. Вчерашние вожди революции и создатели партии перекраиваются в изменников и врагов. Народ и интеллигенция осуждены молчать и забывать. Счастливей всего сходит дело с отдаленными доисторическими временами, поскольку о них меньше всего известно.

Могущество и господство сосредотачивается в руках правящих идеологов — демиургов истории — и их прислужников.

Но поскольку всё меняется и даже вожди и правящие группы приходят и уходят, история, особенно история партии, неустанно дописывается и переписывается, оставаясь тою же в основе — в идеологии.

Писать и переписывать историю, особенно историю партии, становится очень выгодной, хотя и рискованной работой.

Но что не рискованно в неустойчивом, изменчивом мире идеологической монолитности?

Октябрь 1977
Белград

Вышла в свет на русском языке книга

Николаса Бетелла

ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА

Документальный захватывающий рассказ о выдаче советским властям более двух миллионов русских, казаков, украинцев и других в 1944-47 годах.

*«Вот прочитана книга,
о событиях, которых не знал
и узнал только через тридцать
лет... через тридцать лет...» —*

из послесловия Виктора Некрасова

Заказы направлять по адресу:

STENVALLEY PRESS, 73 SUSSEX SQUARE,
LONDON W2 2SS. Цена — 5 фунтов.

Религия в нашей жизни

ДВА ПИСЬМА О ВЫСШЕЙ ЦЕЛИ И ВЕЛИКОЙ ЭВОЛЮЦИИ

(Вокруг книги Валентина Турчина «Инерция страха»)

Н. В. ГОМАНЬКОВ — В. Ф. ТУРЧИНУ

Уважаемый Валентин Федорович!

Большую радость и удивление я испытал, читая Вашу новую книгу «Инерция страха. Социализм и тоталитаризм». Поэтому с первых же слов хочу поблагодарить Вас. Мне давно не приходилось читать книги столь близкой мне по духу, столь симпатичной по свежести и живости мысли, — и она очень меня поддержала.

Я чувствую, что Ваша книга открывает новое, весьма важное и перспективное направление мысли, и я связываю многие надежды с действием, которое она должна оказать на людей в нашем обществе.

Однако центральная мысль книги — о Высшей Цели, или смысле жизни, — хоть, надеюсь, и ясна мне в Вашей трактовке, — все же вызвала у меня некоторое недоумение. И я считаю необходимым высказать его в этом письме.

Будучи (во всяком случае, стараясь, по возможности, быть) человеком религиозным, христианином, я, однако, совершенно добросовестно и со стороны попытался осмыслить Ваши рекомендации по этому вопросу. Но я не мог отделаться от впечатления, что для себя у Вас сформулировано это строже и аккурат-

нее, чем позволила Вам выразиться конструкция Вашей книги.

Дело состоит в следующем. Резюмируя сказанное Вами в нескольких центральных главах второй части, можно выделить три основные требования, предъявляемые Высшей Цели. Во-первых, она должна ставиться в предельно абстрактной формулировке; во-вторых, — должна назначаться для каждого свободным волевым актом; и, наконец, должна находиться в русле Великой Эволюции. Первое из этих требований призвано обеспечить свободу от идолопоклонства и бесконечность развития. Второе и третье служат для разделения волевой и научной компонент Высшей Цели.

Хотя эти требования, конечно, верны, но представляются мне недостаточными. Обоснования же их и формулировки — кажутся не очень удачными и, во всяком случае, оставляют много неясного. Их можно принять в качестве первого приближения, но тут же необходимо начинать делать и попытки следующих приближений.

Я совершенно разделяю с Вами мнение о том, что постановка вопроса о смысле жизни и его разрешение есть насущнейшая современная проблема. Думаю также, что Ваша книга получит вскоре широкое распространение среди людей, заинтересованных этими вопросами, и многие захотят ею руководствоваться. Поэтому для меня, как и для всех, очень важно, чтобы все неясности были сняты. Сколько хватит моих возможностей, я дам этому письму хождение в самиздате, и Вы, стало быть, читайте его как открытое.

Итак, я собираюсь обсудить Вашу постановку вопроса о Высшей Цели и с нею несколько не согласиться. А по мере выяснения моих несогласий станут видны и необходимые, с моей точки зрения, поправки к предлагаемому Вами решению вопроса.

Прежде всего хочу задуматься над следующим.

Высшая Цель, по своему определению, должна, видимо, быть такова, что, назначив ее, человек не может и не желает уже допустить ничего выше (по крайней мере, если не изменит своего мировоззрения). Это первое, элементарное, можно сказать, тавтологическое требование, которое следует предъявить Высшей Цели. Если я правильно Вас понял, Вы сводите это к требованию «предельной абстрактности» формулировки Высшей Цели. Вот здесь и заключается первая и главная неясность: одно ли это и то же — предельная абстрактность формулировки и предельная высота Цели? Этот вопрос оказался для меня совсем не тривиальным. Для разрешения его мне пришлось все-таки отказаться на время от того понятийного аппарата, который используете Вы, и вернуться к привычной для меня системе понятий христианского богословия.

Несколько слов об этой системе.

Она была разработана в первом тысячелетии нашей эры людьми чрезвычайно глубокомысленными, такими, как св. Афанасий Великий, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский, св. Максим Исповедник и другими. Их творения, конечно, для многих сейчас неудобочитаемы: они написаны старым языком, плохо, быть может, систематизированы, и я даже не уверен, полностью ли они переведены на русский язык. В 1972 г. сборник «Богословские труды» № 8, издание Московской Патриархии, — был полностью посвящен творчеству выдающегося современного богослова Владимира Лосского. Его работа «Мистическое богословие восточной Церкви» представляет собой развернутый обзор учения св. отцов Церкви. Эта работа очень удобна, и я буду, в основном, опираться на нее.

Огромное — можно сказать, определяющее — влияние на христианскую богословскую мысль оказали труды так называемого Псевдо-Дионисия Ареопагита, появившиеся, как полагают, где-то в начале V века: «О мистическом богословии», «О Божественной

Иерархии», «Об именах Божиих». Труды эти прямо были посвящены методике определения Высшей Цели. Псевдо-Дионисий определяет два пути богословской мысли: катафатический (или путь утверждений) и апофатический (или путь отрицаний). Первый состоит в том, что богослов приписывает Богу различные мыслимые положительные определения, например: «Бог есть жизнь, Бог есть любовь, Бог есть эволюция, и т. д.». Второй же путь состоит в последовательном отрицании *всех* мыслимых положительных определений, даваемых Богу: «Бог не есть жизнь, не есть любовь, не есть эволюция!». Причем это апофатическое «не есть» выполняет утверждающую функцию: «Бог *превосходит, превышает* жизнь, любовь, эволюцию и всё остальное — какое бы наивысшее или наиабстрактное определение Ему ни дать».

С апофатическим же принципом христианское богословие связывает и понятие об идолопоклонстве. Прочитируем по Лосскому:

«Для св. Григория Нисского всякое приложимое к Богу понятие есть призрак, обманчивый образ, идол. Понятия, которые мы составляем по своему естественному мнению и разумению, которые обоснованы каким-нибудь умозрительным представлением, вместо того, чтобы открывать нам Бога, создают только его идолы».

«Апофатизм... Это прежде всего расположенность ума, отказывающегося от составления понятий о Боге; при такой установке решительно исключается всякое абстрактное и чисто рационалистическое богословствование, желающее приспособить к человеческому мышлению тайны Божественной Премудрости...»

«Апофатизм есть некий критерий, верный признак умонастроения, со-ответного истине. В этом смысле всякое истинное богословие есть по существу своему богословие апофатическое».

«То, что кажется очевидным в начале восхождения («Бог — не камень, не огонь»), становится всё менее очевидным по мере того, как мы достигаем вершин созерцания и, увлеченные апофатическим порывом, мы говорим: «Бог не есть бытие, Бог не есть благодать». На каждой ступени этого восхождения, приближаясь к более высоким образам и идеям, мы должны остерегаться того, чтобы не создавать из них понятий — «идолов Бога».

Приводит ли апофатический принцип непременно к трансцендентности? Пожалуй что да. Только такие наименования, как «неприступный», «непознаваемый», наконец даже «не существующий» (в положительном смысле, т. е. «превосходящий бытие»), приложимы к Богу как окончательные характеристики, — поскольку они, неся приставку «не», являются результатами применения апофатического принципа.

Поэтому Ваша попытка построить полноценную религию без трансцендентности приводит к религии, лишенной апофатизма, т. е. — с точки зрения христианского богословия — все-таки к идолопоклонству.

Тут Вы спросите (и будете совершенно правы): а зачем, собственно, нам становиться на точку зрения христианского богословия? Если св. отцы применяли апофатический принцип и ставили его во главу угла всякого серьезного богословского размышления, то, может быть, они нам совсем не указ?

Но дело в том, что апофатический принцип не придуман св. отцами. Он есть такой же непреложный факт внутреннего опыта человека, как и религиозное чувство, и, по моему мнению, факт гораздо более важный. Если я, в общем-то, вполне готов пожертвовать трансцендентностью и отнюдь не держусь за нее как таковую, то исчезновение апофатизма меня ужасает, и я решительно не согласен на это.

В житейском плане апофатизм выступает как более или менее сильное осознание человеком своего человеческого достоинства. Какую бы цель человек ни поставил себе, он сам, как ставящий ее, неизменно оказывается, так сказать, «выше нее», как бы *между* этой целью и Богом. (За ним всегда остается возможность поставить относительно этой цели очередной вопрос «зачем?». Пусть не всегда он может дать ответ, но спросить «зачем?» — может всегда.) То же относится и к Высшей Цели, которая, таким образом, оказывается совсем не высшей в строгом смысле, а

просто самой Высокой, которую человек в данный момент в силах себе поставить, находясь на определенном культурном уровне.

Апофатический принцип в человеке есть основа всякого критического подхода. Мне думается, что все самые отвратительные извращения религий: догматизм, изуверство, различные суеверия — происходят именно от притупления «апофатического меча» при наличии достаточно развитого религиозного чувства. Религиозное чувство само по себе в человеке представляется мне не слишком привлекательным явлением, и на нем одном я бы не решился ничего строить. Только последовательно взаимодействуя с апофатизмом, религиозное чувство способно очиститься, отрезвиться, устояться, возвыситься до состояния, которое я бы назвал «истинным благочестием». И, наконец, мне кажется, что без воспитания в себе апофатизма людям едва ли удастся преодолеть «инерцию страха» и сделать даже начальные шаги в осуществлении того идеала *с оговоркой*, который вы провозглашаете: «Неограниченная интеграция человечества при условии сохранения свободы личности».

Итак, продолжу похвалу апофатизму.

Он, по моему мнению, образует основание нравственности. Из сказанного Вы, наверное, уже поняли, что апофатизм не есть простое отрицание всего чего бы то ни было. Предметы и понятия — конкретные и абстрактные — отвергаются апофатизмом за их *недостаточным совершенством*. Таким образом, как внутренняя тенденция в человеке апофатизм неявно содержит в себе и некое суждение о совершенстве. Он одновременно и отрицает и задает направление этого отрицания. Апофатическое отрицание — в отличие от логического — есть, образно говоря, не скаляр, а вектор. В ситуации, когда человеку предлежит ограниченная система целей, апофатический принцип, если он достаточно развит, безошибочно укажет на самую

достойную из них (не позабыв, впрочем, сделать оговорку о ее недостаточности). Вы думаете, что в ситуациях критических, когда от человека требуются жертвы или подвиги, религиозное чувство обеспечивает ему необходимый эмоциональный подъем, и он делает всё, что нужно. Я сильно в этом сомневаюсь. Хотя подвигов я в жизни не совершал, да и жертвовать ничем серьезным не приходилось, все-таки по некоторым признакам я догадываюсь, что подвиги и жертвы сопровождаются в человеке глубокой депрессией: другие, более низкие чувства оказываются, как правило, сильнее религиозной эмоции, и только один апофатический принцип, безжалостно отрубая все низшие варианты, оставляет самый высокий как единственно возможный. Именно не религиозным экстатическим затмением и опьянением сопровождаются, по-моему, настоящие подвиги и жертвы, а трезвым и часто тягостным сознанием того, что «так должно».

Кроме апофатического, существует, разумеется, и катафатическое (положительное) *опытное* основание нравственности. Систематическое изложение эмпирической положительной нравственности (причем, довольно убедительное) можно найти, например, у В. С. Соловьева («Оправдание добра», полн. собр. соч., т. 8). Но, подобно тому, как в богословии во взаимодействии апофатизма с катафатизмом ведущую роль играет первый, — так и в эмпирической нравственности, я убежден, апофатическое начало управляет положительными данными.

В Вашей книге о нравственности сказано очень неопределенно, и остается неясным, какое место она занимает в религии, предлагаемой Вами.

Свойственная современному ученому осторожность в признании вещей существующими «на самом деле» приводит Вас к необходимости выделить волевою компоненту в религии и сделать на ней акцент. Вот соответствующее место из главы «Знание и воля»:

«Вместо догматической веры в то, что «так надо, ибо это есть Добро», современная религия предлагает человеку совершить личный волевой акт установления Высшей Цели, сделать свободный выбор и осознать свою свободу в этом выборе».

Отсюда видно, что Вы хотели бы отрицать нравственную реальность, поскольку она не может быть предметом знания. Наука не дает ответа на вопрос: «Что надо делать?» Поэтому нравственность, являющуюся, по сути дела, системой целевых установок, приходится решительно исключить из числа вещей, существующих «на самом деле». И приходится целиком отнести ее в ведение человеческого произвола.

На этой основе нравственность вообще перестает быть нравственностью. Действительно: основывать свое поведение лишь на соответствии его Высшей Цели (своей собственной или разделяемой с другими людьми) — безотносительно к тому, что есть «на самом деле», — это едва ли кто отважится именовать нравственностью. Не зря же и Вы избегаете употреблять это слово.

Не могу удержаться, чтобы не привести очень выразительное рассуждение Достоевского об этом в его набросках ответа на письмо Кавелина:

«Недостаточно определить нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще непрерывно возбуждать в себе вопрос: *верны ли мои убеждения?*.. Сожигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь *честность* (русский язык богат), но не нравственность...»

«Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению. Но откуда же вы это вывели? Я вам прямо не поверю и скажу напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям. И вы, конечно, уж ничем меня не опровергнете».

Кстати, здесь, в этом наброске, очень ясно видно взаимодействие апофатического и катафатического начал в нравственности. Даже если вопрос «верны ли

мои убеждения?» разрешен положительно, то и в следовании этим (вроде бы) *верным* убеждениям все-таки всегда заключается некая «остаточная» безнравственность. Здесь апофатическое начало снимает остроту вопроса «*как на самом деле?*», переносит акцент с разрешения этого вопроса на его непрерывную постановку. Не очень важно оказывается знать точно, *какова* нравственная реальность. Гораздо важнее не устать испытывать эту реальность критически.

В Вашей религии, лишенной апофатизма (по крайней мере, видимого), острота вопроса «*как на самом деле?*» все-таки остается довольно большой. Поэтому следом за главой «Знание и воля», для того чтобы Высшая Цель не повисла в воздухе и случайно не оказалась чем-нибудь ужасным, Вам приходится написать главу «Великая Эволюция», в которой есть, например, такие слова:

«Никто не может действовать вопреки законам природы. Этические учения, противоречащие общему направлению Эволюции, т. е. ставящие цели, несовместимые с ним, не могут привести своих последователей к конструктивному вкладу в эволюцию, а это значит, что в конечном счете они будут вычеркнуты из памяти мира. Таково свойство развития: то, что соответствует его общему абстрактному плану, увековечивается в структуре развивающегося мира, то, что ему противоречит, преодолевается и гибнет».

Эти слова, хоть и достаточно общие, все же немало намекают на то, как есть «на самом деле», а поэтому определяют, наконец, некую положительную нравственную реальность. Они *внешне* очень похожи на слова, с которыми обратился Бог к будущему апостолу Павлу на пути в Дамаск: «Савл! Трудно тебе идти против рожна!» — после чего Савл, яростный гонитель христиан, свободным волевым актом немедленно превратился в апостола Павла, одного из величайших проповедников христианства.

По существу, точно такое же соотношение компонент знания и воли остается и в Вашей религии. Чело-

веку указывается на некую реальную необходимость, и его роль сводится к выбору между «да» и «нет». Правда, необходимость описана лишь в очень общих чертах и должна, по Вашей мысли, скорее накладывать систему ограничений на выбор Высшей Цели, чем ее однозначно рекомендовать. Но Высшая Цель, которую Вы ставите, настолько абстрактна, что едва влезает в эти ограничения и, наверное, является этою же самой необходимостью — только пересказанной другими словами. В этих условиях схема выбора сравнительно с предложенной апостолу Павлу, по существу, не меняется. «Да» остается категорическим, чисто положительным, катафатическим — и только, может быть, сказано с меньшей ответственностью.

На этом кончаю свои возражения Вам. По сути, это не возражения, а лишь небольшие замечания, которые почти теряются на фоне моего совершенного согласия со всеми Вашими частными выводами и рекомендациями. И все-таки я счел своим долгом написать это письмо, ибо придаю особую важность тому недостатку, который бросился мне в глаза в Вашей религии: отсутствию апофатизма как последовательно проводимого принципа и, отсюда, недостаточному обоснованию нравственности. Никто — ни Вы, ни я, — конечно, не может сказать, каковы будут последствия этого недостатка на различных этапах конкретизации предложенной Вами Высшей Цели. Быть может, Вам, как и многим другим людям, мои опасения покажутся неосновательными. Я не спорю, что всё, может быть, гораздо лучше, чем мне кажется.

Затем еще раз благодарю Вас за Вашу книгу и надеюсь на скорое, благотворное и конструктивное ее влияние на жизнь человеческого общества.

Ваш Н. Гоманьков

Уважаемый Николай Владимирович!

Очень Вам благодарен за содержательное и эмоциональное письмо, которое заставило меня задуматься над некоторыми аспектами связи между моей системой и традиционными религиями. С самого начала хочу сказать Вам, что, по моему убеждению, Ваши замечания целиком лежат в сфере терминологии и способов выражения, а по существу — предмета для спора я не вижу.

Вы подводите итог Вашей критики в конце письма, называя в качестве недостатка моей религии «отсутствие апофатизма как последовательно проводимого принципа и, отсюда, недостаточное обоснование нравственности». Начну с апофатизма. Этого термина я не только не использовал в книге, но и не знал даже. Но если употреблять его в том смысле, в котором Вы его употребляете, то меня никак нельзя упрекнуть в отсутствии апофатизма как последовательно проводимого принципа; напротив, он лежит в самой основе всей системы.

В начале письма Вы резюмируете то, что я говорю о Высшей Цели, в виде следующих трех требований к ней: «во-первых, она должна ставиться в предельно абстрактной формулировке; во-вторых, должна назначаться для каждого свободным волевым актом; и, наконец, должна находиться в русле Великой Эволюции». Когда я прочитал это резюме, у меня возникло предчувствие недоразумения, ибо в нем соединены совершенно разнородные вещи, да к тому же в таком порядке, который может только ввести в заблуждение. В чем состоит недоразумение, я понял, когда прочитал следующую Вашу реконструкцию логики моей книги:

«...Следом за главой «Знание и воля», для того чтобы Высшая Цель не повисла в воздухе и случайно не оказалась чем-нибудь ужасным, Вам приходится писать главу «Великая Эволюция», в которой есть, например, такие слова...» (И дальше Вы цитируете то место, где говорится о связи между Эволюцией и нравственностью.)

В действительности, конечно, дело обстоит как раз наоборот. Представление о Великой Эволюции является у меня исходной точкой всех размышлений и основой системы, источником всех оценочных и нравственных понятий. Абзац о связи идеи эволюции с нравственностью, который Вы цитируете, не является чем-то притянутым за уши, а напротив, самой сутью дела, целью построения, к которой я пытался подвести читателя. Если описывать излагаемую мной систему взглядов, руководствуясь ее собственной внутренней логикой, то начинать надо с Эволюции. Именно так я вел изложение в первоначальном наброске «Инерции страха» 1968 года, и именно так строится книга «Феномен науки. Кибернетический подход к эволюции», которая целиком посвящена кибернетическим аспектам эволюции вообще и человеческого общества в частности и является, кстати сказать, неотъемлемой частью изложения концепции в целом. В окончательном варианте «Инерции страха» я принял другую конструкцию, начиная с нашей нынешней социальной реальности, затем переходя к критике марксистской философии истории, затем к иерархии целей, к социализму как религии и лишь затем — к представлению об эволюции и роли этого представления в проблеме высших ценностей и целей. Возможно, я недостаточно четко отделил эту логику — логику *конструкции книги* — от логики самой *концепции*. Если так, то это произошло в значительной степени потому, что в качестве читателя я невольно представлял себе человека, знакомого с «Феноменом науки» (я, как Вы помните, неоднократно ссылаюсь на эту книгу и указываю, что

раздел об Эволюции есть тезисное изложение более объемистого раздела из «Феномена»).

Восстановив таким образом правильное соотношение между различными концептуальными элементами, я могу возвратиться к Вашему резюме требований к Высшей Цели. Второе из них вообще не является требованием, оно никак не связано с характером цели, это лишь констатация принципиального различия между элементами знания и воли — различия, которое затушевывается во многих религиозных и этических системах и о котором, с моей точки зрения, важно помнить и ясно его осознавать. Первое требование — об абстрактности формулировки — поглощается третьим требованием, является, в сущности, его следствием. Причем условие предельной абстрактности формулировки отнюдь не является *достаточным*, а лишь *необходимым* требованием, следствием из требования возможности бесконечного развития. Вы правы, когда указываете, что и весьма абстрактная цель может стать объектом идолопоклонства. Абстрактность вовсе не является достаточным условием, гарантией, и я не придаю ей такой роли. Я просто говорю о необходимости абстрактной формулировки Высшей Цели, защищая тот высокий уровень абстрактности, на котором мне приходится оперировать, в противовес претензиям разного рода вождей нарисовать конкретные картины земного рая, в который якобы ведут их рецепты. Далее, хотя цели более высоких уровней иерархии неизбежно требуют и более абстрактных понятий, предельная абстрактность сама по себе вовсе не приводит к наивысшему положению в иерархии. Всевозможные мыслимые цели не образуют иерархии по своей абстрактности, поэтому выражение «предельная абстрактность» не следует понимать как строго формальное. Говоря о наивысшем по определению положении Высшей Цели, Вы пишете: «Если я правильно Вас понял, Вы сводите это к требованию «предельной

абстрактности» формулировки Высшей Цели». Это, конечно, неверно, и я даже затрудняюсь сказать, что именно заставило Вас так меня понять.

Итак, все требования к Высшей Цели, о которых Вы упоминаете, сводятся к одному требованию, которое, действительно, является фундаментальным и заключается в себе суть дела: Высшая Цель должна находиться в соответствии с Планом Эволюции, а поскольку наше понимание Плана Эволюции всегда было и будет ограниченным и несовершенным, мы прежде всего должны позаботиться о том, чтобы своими руками не закрывать путь Эволюции. Ваше положительное отношение к моей книге в целом объясняется именно тем, что эту мысль, лежащую в основе моего подхода, Вы разделяете. Я констатирую здесь полное единомыслие с Вами, но только Вы используете язык христианской теологии, а я — язык науки. Страстность, с которой Вы защищаете принцип апофатического определения Бога, убедительно свидетельствует, что за этим, чисто негативным по формальному содержанию, принципом скрывается какое-то позитивное начало, способное воодушевлять. Это позитивное начало и есть представление о Великой Эволюции, которое прочно сидит в подсознании каждого человека в наше время. Чтобы это стало ясным, достаточно перечитать с этой точки зрения соответствующие места Вашего письма. Ваш Бог — это мой План Эволюции. Ваш принцип апофатизма — это мой принцип не-ограничения Эволюции. Вы пишете, что исчезновение апофатизма Вас ужасает, а я пишу (в «Феномене науки»), что становится тошно, если представить навеки застывшее в своем развитии человечество, подобное часовому механизму, в котором только колесики-люди сменяются в процессе рождения и смерти. Да Вы и сами прямо говорите, что апофатизм неявно содержит в себе некоторое суждение о совершенстве и сравниваете апофатическое отрицание с вектором. Всё это — выражение европейской

идеи прогресса, эволюции. Не берусь судить, сколь совпадает Ваша трактовка апофатического принципа с трактовкой Отцов Церкви, но думаю, что Вы этот принцип значительно осовремениваете и вкладываете в него дополнительное содержание. Думаю также, что и деятели русского религиозного возрождения, на которых Вы ссылаетесь, тоже «вливают новое вино в старые меха». Опять-таки, не могу говорить с уверенностью по недостаточному знанию предмета.

Здесь мы подходим к основному вопросу дискуссии. Многие историки культуры единодушны в том, что европейская идея прогресса теснейшим образом связана с христианским мировоззрением, на основе которого она возникла. Вопрос таков: вторгаясь со своим научным мировоззрением в сферу религии, должны ли мы взять за основу старый понятийный аппарат и несколько его модернизировать (по-новому истолковывая термины и т. п.) или строить всё здание на основе нового понятийного аппарата (радуясь совпадениям и параллелям со старым аппаратом, когда таковые обнаруживаются)?

Я решительно выбираю второй вариант. Не вижу никакого смысла вливать новое вино в старые меха. Зачем это, когда есть новые меха, которые гораздо лучше? Современный понятийный аппарат совершеннее, чем аппарат, который существовал две тысячи или одну тысячу лет назад. Я говорю о совершенстве в том эволюционном смысле, в котором нервная система кошки совершеннее нервной системы дождевого червя. Современный мыслительный аппарат включает в себя дополнительный уровень иерархии по управлению (образованный путем метасистемного перехода): во всех своих рассуждениях и построениях мы постоянно помним о взаимоотношении между речью и действительностью, постоянно анализируем используемые нами понятия и постоянно имеем в виду изменение, совершенствование нашей системы понятий. Благодаря

анализу понятий движение входит в нашу систему мышления гораздо непосредственнее и естественнее, чем несколько веков назад. В сущности, христианская диалектика есть способ сохранить свободу движения (эволюции) в рамках статической аристотелевской логики. При имманентно динамическом подходе нет необходимости в тех негативных принципах, которые служат в христианской теологии для отображения динамики на статику; негативные формулировки уступают место позитивным. При статическом подходе мы говорим: *нельзя* познать всё; *нельзя* познать Бога; Бога можно определить только через то, чем он *не является*. При динамическом подходе мы говорим: сколько бы мы ни узнали, мы *можем* узнать еще что-то новое; какова бы ни была система понятий, мы *можем* построить метасистему, содержащую принципиально новые понятия, невозможные на предыдущем уровне. То, что при статическом подходе выглядит как апофатизм, при динамическом подходе есть принцип всеобщей эволюции. (В марксистском языке моим терминам «статический» и «динамический» соответствуют «формально-логический» или «метафизический» и «диалектический».)

При попытке перевести принцип эволюции в нечто статическое, окончательное, мы неизбежно приходим к *ничему*. Если я провозглашаю высшей целью эволюцию и в то же время распространяю принцип эволюции на свое собственное понятие об эволюции, то есть признаю, что всё, что я о ней говорю, подлежит трансформации (а я именно так и делаю, и это существенно), то с точки зрения статического мышления я не говорю ничего, и поэтому, кстати, меня нельзя обвинить в идолопоклонстве. Однако это отнюдь не значит, что я, в самом деле, не говорю ничего. Представление об эволюции — глубокая и содержательная идея, порождающая движение мысли. В частности, понятие о метасистемном переходе как о «кванте

эволюции» кажется мне существенным шагом по пути эволюционного, динамического мышления. Оно вводит метрику в понятие об эволюции, делает эволюцию измеряемой. Христианская теология только *оставляет место* для эволюции. Современное научное мышление *приступает к делу*, осуществляет движение.

Обращаюсь теперь к проблеме нравственности. Я отнюдь не признаю тезиса «нравственность есть согласие с внутренними убеждениями» (назовем его кратко «моральным релятивизмом»), поэтому целиком подписываюсь под отрывками из Достоевского, которые Вы приводите. И это нисколько не противоречит моему утверждению об отсутствии конкретной нравственной реальности как объекта знания. Объектом знания является связь между нравственностью и некоторыми реальностями. Говоря об этой связи, мы говорим о некоторых реальностях, о фактах. Первым важным фактом является здесь то, что нравственность неотделима от понятия о Высшей Цели и в конечном счете принадлежит к сфере воли, а не знания. Второй важный факт — что человеку свойственна потребность в осознанной высшей цели, то есть ему свойственно быть существом нравственным. Наконец третий важный факт — это связь между нравственными принципами и эволюцией, выраженная в цитируемом Вами отрывке из «Инерции». В совокупности эти факты образуют довольно твердую основу для конкретных представлений о нравственном («положительная нравственность»). Я принимаю эту нравственность и поэтому отвергаю моральный релятивизм как явление безнравственное. Тем не менее, я продолжаю осознавать, что принятие мной этой нравственности является актом свободы воли. Если Вы вдумаетесь, то согласитесь, что никакого противоречия здесь нет. Слова Бога к будущему апостолу Павлу «Савл! Трудно тебе идти против рожна», о которых Вы говорите, что они *внешне* похожи на мою мысль (подчеркивая

слово «внешне»), на самом деле похожи и «внешне», и «внутренне»: это та же самая мысль. Между знанием и волей существует очень тесная (хотя и деликатная) связь, и есть в мире нечто, внушающее людям довольно конкретные нравственные представления.

Ни в «Феномене», ни в «Инерции» я не даю себе труда заниматься логическим выводом более или менее общепринятых ныне нравственных принципов из эволюционной Высшей Цели. Если бы я стал это делать в том ключе, в котором написаны эти книги, т. е. в научно-философском, то получилось бы нечто невыносимо плоское (боюсь, в стиле Н. Г. Чернышевского). Подобные попытки делались, но они мало интересны. Интуитивно и так достаточно ясно, что наша нравственность и, в частности, христианские заповеди — выводима из эволюционизма (не чисто абстрактно, а опираясь на личный и исторический опыт), однако детализация и формализация этой связи в наукообразной форме оставляет нас равнодушными. Здесь нужны другие методы и другой язык: исторический анализ, образы, легенды, живое человеческое чувство. Это задача художника, а не ученого. Одна моя знакомая, прочитав «Инерцию страха», сказала: «Это исключительно интересно, и я, в основном, согласна со всем, но вот какой-то такой привкус холодности и отвлеченности остается от философской части. Не хватает чего-то теплого, человеческого». Я сказал: «Системы, претендующие служить опорой в жизни человека, состоят из многих частей. Начать с того, что они не исчерпываются книгами. Есть еще искусство. Есть еще история. Но и из того, что выражено в книге, я сделал лишь часть: научную, логическую часть. Она должна быть холодной и твердой в силу своей природы и функции. Это не значит, что она исключает «теплую, человеческую» компоненту. Самый теплый и мягкий человек содержит внутри себя твердый скелет. Я и пытался построить скелет. Но я

надеюсь, что со временем он обрастет теплым мясом. Тогда понятия, которые висят сейчас в логическом пространстве, приобретут дополнительные человеческие измерения».

В заключение, еще один терминологический вопрос. Когда Вы говорите о недостаточности религиозного чувства и противопоставляете его апофатическому принципу, Вы употребляете термин «религиозное чувство» не в том широком смысле, в котором его понимаю я, а в гораздо более узком; по существу, Вы имеете в виду религиозное преклонение перед идолом (абстрактным или персонифицированным). Для меня религиозное чувство — это вся сфера эмоций, связанная с Высшей Целью. Так как Вы отвергаете идолопоклонство, апофатизм органически включается в Вашу личную Высшую Цель. Поэтому Ваше религиозное чувство богаче, чем религиозное чувство идолопоклонника; выражаясь Вашими же словами, оно включает «апофатический меч» и «более или менее сильное осознание человеком своего человеческого достоинства». Чтобы убедиться, что Ваше отношение к апофатическому принципу есть именно *чувство*, а не холодная логика, достаточно перечитать Вашу «похвалу апофатизму», к которой я с большим удовольствием присоединяюсь.

С уважением

В. Турчин

ТУРЧИН Валентин Петрович — родился в 1931 г. в Подольске (Московской обл.). Окончил физический факультет МГУ, работал в научно-исследовательских институтах Обнинска и Москвы. В 1958 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1964 — докторскую. Активный участник правозащитной деятельности, председатель советской группы «Международной Амнистии», автор самиздатских работ, важная из которых — «Инерция страха» — вышла в Нью-Йорке в издательстве «Хроника». В июле 1974 г. уволен с последнего места работы, практически с «волчьим билетом»: все дальнейшие поиски работы оказались безуспешными. В октябре 1977 г. вместе с семьей эмигрировал и в настоящее время работает в Нью-Йоркском университете.

ПО ПОВОДУ СОЗДАННОГО В СССР СВОБОДНОГО ПРОФСОЮЗА В ЗАЩИТУ РАБОЧИХ

Группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР поручила нам разъяснять цели и характер ее работы общественности и официальным представителям государств, подписавших Заключительный Акт Хельсинского совещания.

В связи с созданием в СССР независимого профсоюза в защиту рабочих мы сочли необходимым указать на документы Группы содействия, характеризующие ее отношение к проблеме защиты прав рабочих в нашей стране.

В одном из первых документов Группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР, в докладе от 22 июля 1976 года о ситуации через год после подписания Хельсинкских соглашений, констатировалось, что в СССР ни одна категория трудящихся не имеет независимых от контроля правящей Коммунистической партии представителей, которые могли бы защищать их интересы. В то же время Конвенции № 87, 98 и 111, ратифицированные Советским Союзом, гарантируют трудящимся право на создание свободных ассоциаций.

Этот документ подписали девять из десяти членов-основателей Группы содействия: Юрий Орлов, Людмила Алексеева, Александр Гинзбург, Петр Григоренко, Александр Корчак, Мальва Ланда, Анатолий Марченко, Александр Слепак и Анатолий Щаранский.

К вопросу о профсоюзах Группа содействия вернулась в документе № 13 от 2 декабря 76 года. Этот документ представляет собой составленную Валентином Турчиным подборку заявлений рабочих, обратившихся в Хельсинскую группу с жалобами экономического и политического характера: на низкий жизненный уровень и на невозможность защиты своих прав через существующие в СССР профсоюзы.

В документе цитируются строки из письма одесского токаря Леонида Серого: «У нас человек труда не имеет права на протесты; профсоюзы наши так же не имеют права и не пытаются их иметь».

Рабочий-электрик Валентин Иванов из Калужской области в заявлении в Хельсинскую группу указал на низкий уровень заработной платы и на полную беззащитность рабочего от произвола администрации из-за отсутствия свободных профсоюзов.

Рабочий Иван Сивак из Ивано-Франковской области написал в Группу: «Я живу в нищете и нужде. Зарплаты еле-еле на пропитание хватает. Кроме того, в Советском Союзе нет правды, нет свободы. Во всех сферах жизни ограничения. Везде и всюду человек чувствует себя невольником».

Эти заявления рабочих московская Хельсинкская группа адресовала не только правительствам стран, подписавших Хельсинские соглашения, но и обратилась к профсоюзам этих стран, к их социалистическим и коммунистическим партиям, указав, что критика эта исходит от рабочих, т. е. от представителей класса, который, согласно советской официальной идеологии, является в СССР «правящим».

В связи с организацией в СССР свободного профсоюза в защиту рабочих мы считаем своим долгом снова обратиться во все эти адреса с просьбой о всесторонней поддержке этого начинания советских рабочих.

*Л. Алексеева, В. Буковский, Л. Плющ,
Т. Венцлова, В. Чалидзе, В. Турчин.*

Факты и свидетельства

Владимир Чернявский

МОСКВА — МЕХИКО

(Эпизод из времен Террора)

Он стремится нанести удар не по идеям своего оппонента, а по его черепу.

(Троцкий о Сталине, 1936 год)

«Убийство Троцкого» — так называется переизданная ныне известная книга Хулиана Горкина*. В краткой издательской справке, предпосланной книге, сказано, что ее автор родился в Валенсии (Испания) и в семнадцать лет был назначен секретарем городской юношеской социалистической организации. В возрасте двадцати одного года он основал окружную коммунистическую федерацию и стал ее генеральным секретарем. Вскоре из-за судебного преследования по политическому обвинению он вынужден был эмигрировать.

В течение восьми лет Горкин колесил по Европе, ведя жизнь «профессионального революционера»-коммуниста. Но в 1929 году он порвал с Москвой и, возвратившись после провозглашения республики в Испанию, стал одним из основателей и «международным» секретарем Объединенной партии марксистов-рабочих (ПОУМ), которую Москва считала троцкистской.

Во время гражданской войны Горкин возглавляет газету «Баталья» и избирается членом ЦК народной

* Julian Gorkin. L'assassinat de Trotsky. Julliard, Paris.

милиции. Одиннадцать месяцев спустя агенты ГПУ арестовывают его, спровоцировав «дело Горкина», вызвавшее международный скандал. Падение Каталонии позволило ему скрыться и обосноваться в Париже в качестве политического беженца.

В 1939 году Горкин — секретарь Международного марксистского революционного центра. В 1940 году, после начала войны, ему удается перебраться из Франции в Мексику, но НКВД и там не оставляет его в покое, организовав пять покушений на его жизнь. Именно в этот период, совпавший с убийством Троцкого, Горкин и предпринимает тщательное, на свой страх и риск, личное расследование этого злодеяния. Благодаря его близкому знакомству с начальником мексиканской секретной службы полковником Санчесом Салазаром, ему удалось собрать и сохранить от исчезновения многие сотни документов и фото, послуживших основой его уникальной книги.

В 1948 году Горкин вернулся в Европу и стал одним из основателей так называемого Европейского движения. С 1953 по 1966 год он выполнял обязанности латиноамериканского секретаря Конгресса в защиту культуры и свободы, секретаря журнала, посвященного проблемам культуры, «Куадернос», и директора агентства печати Эль Мундо, на испанском языке. В сентябре 1969 года Хулиан Горкин был избран председателем Международного Пен-клуба в изгнании.

Во введении к своей книге Горкин рассказывает, что когда, в самый разгар гражданской войны в Испании, он и бывший секретарь Красного Профинтерна в Москве (ставший троцкистом и высланный из СССР) Андрес Нин узнали о том, что норвежское правительство под давлением Кремля решило выдворить Троцкого из страны, они попытались сделать все возможное для того, чтобы ему дали убежище в Каталонии. Андрес Нин в итоге порвал с Троцким, Горкин же,

хотя и перевел два его сочинения на испанский и испытывал к нему уважение, никогда, по собственным словам, троцкистом не был. Их неудавшаяся попытка помочь Троцкому была, по признанию автора, лишь выражением чисто человеческой солидарности с человеком, преследуемым за свои убеждения.

Если бы их просьбу не отклонили, Троцкого наверняка убили бы на три года раньше. Однако и сделанного ими оказалось достаточно для того, чтобы сталинские агенты в Испании получили приказ их ликвидировать. Даже не уведомив местные власти, их арестовали и препроводили в мадридскую чека. Андреа Нина, прежде чем убить, зверски пытали. При этом Горкин ссылается на книгу бывшего испанского министра и бывшего члена Исполкома Коминтерна Хесуса Эрнандеса «Великое предательство» (Париж, Фаскель, 1954). Что касается Горкина и его друзей, то им после 18 месяцев следствия устроили судебный процесс — первый, по его словам, публичный процесс такого рода, проведенный Москвой за границей. И процесс этот провалился. В то время, свидетельствует автор, в Барселоне не нашлось послушных Сталину судей. Их неподкупность и протесты за рубежом спасли жизнь Горкину и его товарищам... Однако — и это чрезвычайно характерно для психологии «перманентного революционера» Троцкого — они ради него жертвовали жизнью, он же продолжал видеть в них своих политических противников. Даже погибший от рук сталинских палачей Нин, и тот не был пощажен сухим доктринером...

И вот снова, через несколько лет, в 1940 году, судьба, хоть и заочно, сводит Горкина с Троцким, на этот раз в Мексике, где, несмотря на протесты местных и прочих коммунистов и их подголосков, президент Карденас дал приют тому, для кого не нашлось иного места на «планете без визы».

На пути из Нью-Йорка в Мехико Горкин узнал из газет о совершенном в ночь с 23 на 24 мая неудавшемся покушении на жизнь Троцкого: по его укрепленной вилле в предместье столице — Койоакане — было выпущено до трехсот пуль. Только хладнокровие и счастливая случайность избавили Троцкого, его жену Наталью Седову и внука Севу от неминуемой гибели... Непосредственный исполнитель этой акции (возглавивший переодетых в полицейскую форму коммунистических просталинских активистов) — широко разрекламированный в СССР художник Давид Альфаро Сикейрос — отделался легким испугом... И это — несмотря на исчезновение одного из охранников виллы, американца Роберта Шелдона Харта, вскоре найденного убитым.

Горкин прекрасно понимал то, чего никак не могла понять мексиканская полиция, — понимал, кто стоит за спиной Сикейроса и его подручных. И он не сомневался, что они — в той или другой форме — повторят свою попытку. Да и Троцкий понимал это лучше, чем кто-либо другой, неустанно повторяя, что судьба лишь дала ему отсрочку, ибо Сталин никогда не откажется от мысли его убить. Об этом он говорил и в частных беседах, об этом писал в газетах. И вот отсрочка кончилась: 20 августа после полудня убийца нанес ему смертельный удар по голове.

И тогда Горкин решил, пренебрегая личной безопасностью, сделать всё, что в его силах, чтобы разоблачить истинных организаторов преступления, показать его механизм. Он вступил в контакт с судебными органами, ведшими расследование, с начальниками секретной службы и полиции Мексики, а также с врачами, обследовавшими убийцу, и собрал обширное досье.

Во время процесса (завершившегося для подсудимого самым суровым, по мексиканским законам, приговором: двадцатью годами тюремного заключения)

коммунистический адвокат постоянно жаловался на то, что важнейшие документы, касающиеся покушения и убийства, исчезли. Однако, купленный НКВД, он отлично знал, у кого они находятся; знал он и то, что НКВД серией покушений на жизнь их владельца пытался эти документы заполучить. Уж энкаведисты постарались бы, чтобы они никогда не были преданы гласности...

Результаты рискованной работы, предпринятой Горкиным, были впервые обнародованы в 1948 году, когда в различных странах появилась его книга (для придания большей достоверности фактам изданная в соавторстве с начальником секретной службы Мексики), переведенная с французского на дюжину других языков и вскоре ставшая библиографической редкостью. Однако в итоге новых поисков Горкину удалось значительно дополнить картину — отсюда новое, уже под его собственным именем, издание книги. Полученной информацией он во многом обязан трем бывшим испанским коммунистам, чудом уцелевшим во время сталинских чисток и вырвавшимся из СССР: другу матери убийцы Троцкого — Энрике Кастро Дельгадо, автору книги «Я потерял веру в Москву» (Галлимар, Париж, 1951); генералу-республиканцу «Эль Кампесино», книгу которого «Жизнь и смерть в СССР» Горкин довел до сведения французского читателя (Ле зиль дор, Париж, 1950); а также уже упоминавшемуся нами Хесусу Эрнандесу, автору книги «Великое предательство». Необходимо было, говорит Горкин, вернуться к «делу», ибо убийство Троцкого стало темой всякого рода боевиков (в печати, кино, на телевидении, в театре), наполненных всевозможными измышлениями. Кроме того, ему казалось это необходимым после XX и XXII съездов, где немало говорилось о сталинских преступлениях, но никто не сказал об убийстве Троцкого, столь характерном для строя, где террор стал системой.

Для нового, дополненного, издания (1970) Горкин дописал третью часть, детально рисующую не только организацию преступления, но и фигуры главных действующих лиц и исполнителей — «типических героев в типических обстоятельствах». На этой части мы и сосредоточим наше внимание.

Как пишет в своей известной книге «КГБ» Джон Баррон, для расширения поля своей террористической деятельности за границей и для ее интенсификации НКВД организовал в 1936 году отдел специальных операций. Главной целью нового отдела было устранение любых противников режима (но прежде всего троцкистов и самого Троцкого). Одни из первых жертв его деятельности в 1937 году: Димитрий Навашин, убитый в Париже; Игнатий Рейсс, ликвидированный в районе Лозанны; глава РОВСа генерал Миллер, похищенный в Париже; Анри Мулен, Курт Ландау, Камило Бернери и Андрес Нин, казненные в Испании. В этом же году «специалисты по мокрым делам» убрали — там же — Хосе Роблеса, Марка Рейна, Ганса Фрейнда и одного из секретарей Троцкого — Эрвина Вольфа.

В 1938 году агенты НКВД захватили и ликвидировали в Бельгии бывшего резидента НКВД в Турции Георгия Арутюнова (у Конквеста в «Великом терроре» говорится об Агабекове, но, видимо, речь идет о том же лице), а в Роттердаме — видного украинского эмигрантского деятеля Евгена Коновальца. Наверняка упомянутый отдел ответствен за гибель в том же году в Париже секретаря троцкистского IV Интернационала и друга Льва Седова (сына Троцкого) Рудольфа Клемента: его обезглавленное тело выловили из Сены. А несколькими месяцами ранее прикончили и самого Седова. В феврале он перенес операцию желудка в маленькой парижской клинике, персонал которой состоял из русских эмигрантов. Операция прошла успеш-

но, и больной быстро поправлялся, но внезапно, на пятую ночь после операции, его нашли блуждающим по коридорам клиники, голым и в состоянии безумия, с огромными кровоподтеками на животе. Тремя днями позже он скончался — якобы из-за послеоперационных осложнений... Через 18 лет, делает примечание Баррон, его «друг», бывший агент НКВД Марк Зборовский, признался, что он был специально приставлен к Седову. Он же привез его в клинику и посетил незадолго до смерти. Конквест образно называет Зборовского диспетчером смерти...

После первого покушения мексиканская полиция, сам Троцкий и его жена, как уже говорилось, сделали все, чтобы прояснить суть дела. Тем не менее оставалось много неясного. Из-за начавшейся мировой войны всякие розыски в Европе, оккупированной Гитлером (который к тому же заключил пакт со Сталиным), были невозможны. Именно на это и рассчитывали организаторы убийства. Между тем, идя по следам преступления, Горкин испытывал настоятельную необходимость вернуться в Европу. Факты указывали на то, что все или почти все участники злодеяния прошли школу гражданской войны в Испании. Как писал Горкин в своей книге «Каннибалы политики», Испания явилась для Сталина своего рода опытным полигоном по испытанию людей, методов и оружия, «школой палачей», театром, где разыграли впервые пьесу под названием «Народная демократия». По данным Горкина, после падения республики на исходе тридцатидвухмесячной гражданской войны, в апреле-мае 1939 года около четырех тысяч коммунистов или членов интербригад проследовали (после соответствующей фильтрации) через Париж в Москву. Вместе с прибывшими туда ранее их насчитывалось примерно шесть тысяч — ценнейший, по понятиям Кремля, человеческий материал, прошедший проверку огнем под

надзором энкаведистов. Тех, кто проявил недостаточный энтузиазм, кто деморализовался (не говоря уже о политических противниках), как правило, ликвидировали. Зато оставшиеся были теми, кто доказал неоднократно свою храбрость на поле боя, фанатизм и способность к слепому повиновению.

Судьбу этих людей вершила специально созданная в Москве Исполкомом Коминтерна полномочная комиссия. В ее состав входили: сам председатель Коминтерна Димитров, Пальмиро Тольятти (он же Эрколе Эрколи, известный в Испании под именем Альфредо), бывший командующий интербригадами, стяжавший себе печальную известность как «мясник Альбасете» Андре Марти, Благоева и Белов — представлявшие одновременно Коминтерн и НКВД; «Пассионария», а также испанские «генералы» Модесто и Листер. Все, исключая Димитрова, играли руководящую роль в испанских событиях.

Десятерых из «беженцев» — так сказать, ответственных политработников — включили в аппарат Коминтерна; двадцать восемь человек (плюс четырех женщин, предназначенных для слежки за ними) приняли в Военную академию им. Фрунзе; сто двадцать пять — послали в Высшую партшколу. Остальных, разделенных на восемнадцать групп, растасовали по разным районам, где они познали радость жизни «простых» советских людей...

Особняком находились восемь испанцев, отобранных с исключительной тщательностью: их определили на спецкурсы для дальнейшего использования на сверхсекретной работе. Это были возглавляемые будущим маршалом Коневым и подчиненные непосредственно Сталину «колледжи», где обучали от трех до пяти человек. «Учеников» отбирали по принципу пригодности к террористической деятельности (чувство дисциплины, слепое повиновение, абсолютный аморализм, хладнокровие, хитрость...). Никакие дискуссии

или критика не допускались: в любой момент «ученик» должен был быть готовым убить не только заведомого врага, но и недавнего друга... За всё это им предоставили максимум привилегий... «Колледжи» были независимы друг от друга и состояли из людей разных национальностей. Знали о них лишь сам Конев и его ближайшие помощники.

Из восьмерых отобранных испанцев пятеро составили «колледж», троих же выделили для выполнения особо секретного задания.

Этих троих звали Мартинес, Альварес и Хименес. Первый был в свое время депутатом и командовал знаменитым 5-м полком, полностью завися от советских военных советников и уполномоченных НКВД. Альварес во время гражданской войны был политкомиссаром. Что касается Хименеса, то это был кадровый политработник, решительный, деятельный, с редким самообладанием. Забегая вперед, скажем, что лишь Альварес был арестован после первого покушения на Троцкого, но его приняли за мелкую сошку и вскоре выпустили...

«Тройку» поместили на одну из «дач» НКВД в сорока пяти километрах от Москвы, где обучали несколько месяцев, запретив с кем-либо говорить о себе. Их фактически никуда не выпускали, лишь изредка разрешая отлучаться в Москву. Однако испанцы есть испанцы. Как-то во время пирушки со своими соотечественниками Мартинес, видимо, сказал одному из них лишнее. Ибо однажды, опять же под влиянием винных паров, старый сеvilский коммунист и неоднократный участник террористических актов в Испании Барнето не сумел скрыть своей горечи по поводу того, что его отставили от «такого дела». От Барнето и узнал об этом «Эль Кампесино».

В ходе расследования «дела Троцкого» неоднократно упоминалось имя некоего Контрераса. Однако

его так и не решились арестовать. В письме, адресованном в полицию, он заявлял о своей принадлежности к коммунистической партии и признавал, что во время гражданской войны в Испании был политкомиссаром и командиром 5-го полка. Он добавлял также, что не имеет никакого отношения ни к России, ни к НКВД; он всего лишь политэмигрант, пользующийся гостеприимством Мексики... Но за этой невинной декларацией скрывалось отнюдь не невинное лицо: Витторио Видали. Именно под этой фамилией он возглавлял в минувшую войну коммунистов Триеста, а впоследствии стал членом итальянского сената. Его называли также Энеасом Сорменти; полагали даже, что это его подлинное имя.

Если верить заявлению Контрераса, он прибыл в Мексику в конце испанской гражданской войны (то есть в течение первого полугодия 1939 года) как политэмигрант. Однако надо отметить, что впервые он побывал в Мексике еще в 1928 году как представитель Коминтерна и секретный сотрудник НКВД. Покидая в 1927 году СССР, он оставлял там в качестве заложников жену и двоих детей. Если Москва сочла это необходимым — значит, речь шла об агенте первой величины... Сначала он задержался в США, где организовал несколько боевых групп среди итальянских эмигрантов-коммунистов, потом перебрался на Кубу и, наконец, в Мексику, где и выполнял под фальшивыми именами секретные задания. О том, каковы были эти задания, говорят следующие факты.

В 1929 году на одной из улиц Мехико был убит лидер кубинских студентов-коммунистов Хулио Антонио Мелла. Коминтерн настолько ловко использовал это событие, что даже Горкин в то время писал негодующие статьи по этому поводу в «Юманите» и «Монд», обвиняя в убийстве тогдашнего диктатора Кубы — Мачадо. Теперь не подлежит сомнению, что Меллу устранил не кто иной, как Сорменти, который

на одном из заседаний мексиканского политбюро угрожал ему смертью («Оппозиционеры, подобные тебе, заслуживают лишь смерти!»).

Вскоре в Гаване был убит другой местный коммунистический лидер — Сандалио Хунко, — который слишком много знал о гибели Меллы и грозил разоблачениями.

И тут на сцене появляется новое — причем трагическое — лицо: артистка Тина Модотти, прежняя подруга Меллы, ставшая после его гибели любовницей Сорменти. Есть основания предполагать ее соучастие в ликвидации Меллы... Впоследствии она вновь выныривает на поверхность в Испании, снова рядом с Сорменти (теперь Контрерасом), под именем Марии Руис. Одновременно она дружит с «Эль Кампесино» (он же генерал Гонсалес), который ненавидит Контрераса. Однажды она призналась «Эль Кампесино» в своем страхе и ненависти к Контрерасу, требуя, чтобы он покарал этого негодяя и убийцу.

Мария Руис умерла при загадочных обстоятельствах в такси в 1943 году — якобы от сердечного приступа.

Ближайший сотрудник сталинского резидента и шефа мадридской чека Орлова (Никольского), именно Контрерас подверг чудовищным пыткам, а потом ликвидировал соратника и друга Горкина — Андреса Нина.

Но на этом не кончается перечень подвигов Контрераса-Сорменти-Видали... 11 января 1943 года в Нью-Йорке на пороге редакции возглавляемой им газеты был убит известный итальянский анархист Карло Треска. Все его уважали, в том числе и Горкин: во время процесса, возбужденного Орловым и Контрерасом против него и его друзей, Треска их горячо защищал. И вот теперь Горкин публично обвиняет в его убийстве Контрераса-Сорменти-Видали. В частности, он ссылается при этом на полученное им незадолго до

убийства письмо, в котором Треска сообщает о появлении в Нью-Йорке Контрераса и о поднятой им кампании угроз против него...

Засланная в Мехико вышеупомянутая «тройка» — Мартинес, Альварес и Хименес — была подчинена именно Контрерасу, хорошо известному ей по совместной работе в Испании. Контрерас лучше кого-либо знал испанские, мексиканские, кубинские и американские коммунистические круги. Участники вооруженного нападения на дом Троцкого в ночь с 23 на 24 мая 1940 года принадлежали как раз к этим кругам и были в основном подобраны Контрерасом, который осуществлял руководство группой, но предпочитал оставаться в тени, дабы не скомпрометировать ни себя, ни своих влиятельных друзей из мексиканской администрации. Ведь благодаря им он добывал визы для нужных людей, устраивал их на службу, инфильтровал политические организации, устраивал травлю через прессу неугодных ему лиц.

Всем этим махинациям содействовал не кто иной, как известный профсоюзный лидер (чье влияние распространялось не только на Мексику, но и на всю Латинскую Америку) Винсенто Ломбардо Толедано. В то время он был одним из главных орудий Москвы в Мексике и одним из столпов правительства Карденаса. Горкин честно заявляет, что ему неизвестно, знал ли что-нибудь Толедано о подготовке заговора против Троцкого. Но Толедано объективно служил пособником Контрераса, помогая создать нужный политический климат в стране, заполучить нужных людей и т. д. Одним из них оказался и Давид Альфаро Сикейрос, который целиком подчинялся Контрерасу, осуществляя нападение на дом Троцкого.

Сам же Контрерас непосредственно подчинялся человеку, личность которого сумел установить бывший директор американской коммунистической га-

зеты «Дейли уоркер» Луис Баденц. Горкин, еще до разоблачений Баденца, установил, что таинственная личность, о которой идет речь, именовалась подпольной кличкой Робертс. Согласно информации Баденца, это был Григорий Рабинович, делегат Красного Креста в Нью-Йорке и в Чикаго (обычный для НКВД камуфляж — прикрывать своих сотрудников официальными или полуофициальными должностями). Возглавляя советскую делегацию Красного Креста, Робертс-Рабинович мог без помех осуществлять «идейную» подготовку к убийству Троцкого. Агенты Рабиновича действовали повсюду, он же оставался за кулисами...

После провала первого покушения он немедленно бросил свою виллу в Мехико и отправился в Нью-Йорк, оставив вместо себя двух «заместителей», а также Контрераса и непосредственного исполнителя убийства, приберегавшегося покуда в резерве, — Джексона-Морнара.

Как уже говорилось, Рабинович и Контрерас были, так сказать, идейными вдохновителями преступления. Но должны были быть и технические руководители. Об их существовании поведал Горкину Энрике Кастро Дельгадо...

Несмотря на то, что Дельгадо был одним из главных организаторов знаменитого 5-го полка во время испанской гражданской войны и после прибытия в Москву занимал ответственный пост при Исполкоме Коминтерна, он впал в немилость и лишь чудом — благодаря вмешательству Димитрова — ему и его жене удалось покинуть СССР. Очутившись в Мексике и полностью порвав с коммунистами, он оказался без средств к существованию. И тут он неожиданно обратился к Горкину, который помог опубликовать (по-испански и на ряде других языков) его книгу «Я потерял веру в Москву». Горкин вскоре понял, что Дельгадо — один из самых осведомленных в деле Троцкого

людей. Они подружились, и Дельгадо рассказал ему, что в Мехико были посланы два высших офицера НКВД, которых он знал еще по войне в Испании, в Валенсии, где тогда заседало республиканское правительство. Оба они были тогда «инкогнито», но именно они осуществляли репрессии против коммунистов и чистки внутри интербригад. Оба они прекрасно владели испанским. После некоторых колебаний Дельгадо назвал имя самого главного, того, кого запомнил, — человека грубого и антипатичного. Дельгадо сказал, что в Испании его знали под псевдонимом «товарищ Пабло», а в более узких кругах — как Котова и генерала Леонова. Во Франции, где он специализировался на борьбе с белоэмигрантами и троцкистами, он был известен под другими именами. Его настоящее имя было Леонид Эйтингон...

Итак, после провала первого покушения на Троцкого НКВД решил ввести в игру своего «козырного туза» — Джексона-Морнара.

В своей книге «Это моя профессия» уже упоминавшийся нами Луис Баденц рассказывает, что некая мисс Дж., сталинистка и его бывшая сотрудница, получила приказ связаться с Сильвией Агеловой, убежденной троцкисткой, сестрой прежней секретарши Троцкого. Именно мисс Дж. сопровождала Сильвию в Париж, где представила ей Джексона. Настоящее имя мисс Дж. — Руби Вейль. Не называя ее по фамилии, Баденц не желал вредить своей бывшей секретарше, полагая, что она лишь позднее поняла навязанную ей провокационную роль. Однако впоследствии он понял, что ошибся: Руби Вейль всё прекрасно понимала...

Поручая Вейль такую ответственную миссию, Робертс (Рабинович) отлично знал о ее тесном знакомстве с тремя сестрами Агеловыми — Рут, Хильдой и Сильвией, — близкими друзьями и единомышленниками Троцкого. Узнав, что Сильвия весной 1938 года

собралась в Париж, Рабинович снабдил Вейль кругленькой суммой, дабы она могла сопровождать Сильвию и представить ей Джексона (Жака Морнара), состоятельного «студента-журналиста Сорбонны». Вскоре Сильвия и Морнар стали любовниками и Морнар обещал на ней жениться. Известно, что они побывали в Брюсселе, но под каким-то предлогом Морнар так и не представил невесту своей матери, которая якобы там обитала. Вскоре Сильвия возвратилась в Нью-Йорк... Они переписывались регулярно вплоть до сентября 1939 года.

Затем Сильвия с удивлением увидела Морнара в Нью-Йорке. Уже шла война, и он объяснил ей, что покинул Европу по фальшивому паспорту на имя некоего Фрэнка Джексона (на самом же деле его подлинный владелец — канадец — был убит в Испании), ибо не желал воевать. Они прожили вместе месяц, потом Морнар заявил, что дела торговли (теперь он выдавал себя за коммерсанта) зовут его в Мехико. Уезжая, он оставил Сильвии три тысячи (из пяти, якобы данных его матерью); переписка снова возобновилась. В январе 1940 года Сильвия присоединилась к нему в Мехико.

В конце марта, накануне своего возвращения в Нью-Йорк, Сильвия в сопровождении Лже-Джексона нанесла прощальный визит Троцкому. Так впервые убийца проник к своей будущей жертве. Покидая Мехико, Сильвия взяла с Морнара обещание, чтобы он сам не ходил к Троцкому, дабы не рисковать, если случайно обнаружат, что он живет по фальшивому паспорту. Но вскоре она получила от него письмо, где он сообщал, что отвез к Троцким из больницы их старинного друга, французского публициста Альфреда Росмера. А в конце мая он, в сопровождении жены Троцкого, отвез чету Росмеров в порт Веракрус, откуда они отбыли пароходом в Нью-Йорк... В письмах к Сильвии Морнар всячески подчеркивал свое восхищение Троцким. Тут он допустил промах, ибо впослед-

ствии, после убийства, это будет резко противоречить его версии об убийстве из-за разочарования в «вожде»...

После неудавшегося покушения 23 мая (в котором Морнар, по плану, дабы не привлекать внимания, не принимал участия) его срочно вызвали в Нью-Йорк к Рабиновичу (и Эйтингону), где ему приказали осуществить план убийства. Вероятно, тогда же и было на всякий случай написано обнаруженное на нем после ареста письмо, призванное оправдать преступника и дискредитировать его жертву (Троцкий якобы хотел забросить его через Шанхай в Россию для убийств советских главарей, диверсий и шпионажа).

По возвращении из Нью-Йорка в Мехико (вместе с Сильвией, без которой ему трудно было вновь, не вызывая подозрений, проникнуть к Троцкому) ему оставалось лишь привести план в исполнение. 20 августа во второй половине дня он принес Троцкому, якобы для ознакомления, свою статью (о возникшей тогда в троцкистских кругах полемике) и, когда тот просматривал ее, нанес ему смертельный удар по голове скрытым под плащом альпинистским ледорубом...

Вскоре после убийства и ареста преступника повсюду в прессе были распечатаны его фотографии, с наполовину перевязанным лицом — следы самосуда, учиненного над ним телохранителями Троцкого. Тем не менее несколько бывших каталонских коммунистов признали в нем одного из своих товарищей по гражданской войне — Рамона Меркадера дель Рио.

Каталонцы утверждали, что у него на правом предплечии должен быть шрам — следствие ранения. Горкину удалось убедиться, что так оно и есть.

Каталонцы хорошо знали и мать Меркадера — Эустасию Марию Каридад дель Рио Эрнандес. Она родилась в 1892 году в Сантьяго де Куба, а когда Испания потеряла эту свою колонию, вернулась с семьей

в Каталонию. Семья была богатой, и Каридад отправили учиться сначала в религиозный французский пансионат в Англии, а потом в религиозный пансионат в Барселоне. Вплоть до восемнадцати лет Каридад проявляла сильную склонность к мистицизму: она была даже послушницей в монастыре босых кармелиток (Горкин проводит любопытную параллель: в юности рыбная торговка из окрестностей Бильбао Долорес Ибаррури была также яркой католичкой, что не помешало ей стать фанатичной коммунисткой).

Девятнадцатилетней, она вышла замуж в Барселоне за вполне респектабельного господина — Пабло Меркадера. От этого брака родились пятеро детей: Хорхе, Рамон, Пабло, Луис и Монсеррат. Второй сын — Рамон — родился в Барселоне 7 февраля 1913 года.

Семейное счастье длилось лишь десять лет. Каридад все более отдалялась от своего мужа, ей хотелось «эмансипации». В 1925 году она, прихватив с собой детей, отправилась во Францию, сначала в Тулузу и Бордо (где по любовным мотивам едва не покончила с собой), а в 1928 году — в Париж. По достоверным сведениям, именно там, в том же году, она вступила в контакт с НКВД. Вместе со своей дочерью Монсеррат она активно включилась в борьбу крайне левых французских социалистов — накануне создания Народного фронта. Как кубинку по рождению, ее готовили к спецзаданиям в странах Латинской Америки.

После начала гражданской войны Каридад стала членом Объединенной социалистической партии Каталонии, связанной с Коминтерном. Она стала также секретарем Коммунистического союза женщин. Энергичная и отважная, она, кроме того, возглавила коммунистическую бригаду на Арагонском фронте в июле-августе 1936 года. В конце августа она была ранена во время бомбежки под Бухаляросом. В то же время ее сын Рамон, лейтенант и политкомиссар на том же

фронте, был ранен в плечо... Обоих эвакуировали в Барселону.

К этому периоду относится один из трагических эпизодов, характерных для Каридад. В Барселоне ее сына Пабло обвинили в нарушении воинской дисциплины. С согласия матери, его как штрафника отправили на мадридский фронт, на самый опасный участок, где он и погиб...

Бурное прошлое Каридад, при ее характере и поведении, обратили на нее внимание «товарища Педро», всесильного уполномоченного Коминтерна и НКВД в Каталонии. Его настоящее имя было Эрно Герё; это был тот самый Герё, кратковременный наследник Ракоши, при котором произошел взрыв всенародного гнева в Венгрии в октябре 1956 года. Тогда, узнав о новом наследнике Ракоши, журналисты стали в тупик, недоумевая, что писать о человеке, который всю жизнь выполнял за кулисами весьма деликатные поручения. Они утверждали, что, выйдя в 1921 году на свободу из тюрьмы, куда он был заключен после поражения венгерской «Коммуны» Бела Куна (к ликвидации коего через пятнадцать лет приложил руку), он нашел политическое убежище в СССР, откуда был послан в 1938 году с важной миссией в Испанию. Итак, между 1921-м и 1938-м зиял провал. Для секретного агента такой провал в биографии что-нибудь да значит. Не случайно по возвращении в СССР после испанской войны Герё стал правой рукой подлинного шефа Коминтерна (Димитров был лишь номинальным) — Мануильского...

В своей книге Горкин заполняет вышеуказанный пробел в официальной биографии Эрно Герё, имеющего непосредственное отношение к этому рассказу.

Вслед за падением Бела Куна и недолгим тюремным заключением Герё отправился в Вену. Вскоре он обосновался в Париже, где работал среди венгерских

коммунистов и откуда, под фамилией Зингера, его нелегально переправили в Венгрию для реорганизации тамошних коммунистических ячеек. По возвращении в Париж полиция его арестовала и предъявила приказ о высылке, которому он, однако, не подчинился, был снова арестован и приговорен к нескольким месяцам тюремного заключения. Отбыв его, он должен был быть выслан, но продолжал жить во Франции нелегально.

В 1928 году Герё вызвали в Москву, а с 1931 по 1936 год он исчезает из поля зрения Горкина. Во всяком случае, последнему достоверно известно, что, вопреки утверждениям биографов, Герё занялся специально испанскими (точнее, каталонскими) делами еще в 1933 году, а тотчас после начала гражданской войны, с июля 1936 года, почти постоянно находился в Испании. Все секретные коммунистические службы — политические, военные, карательные — были под его контролем. Под его холодным взглядом трепетал даже генеральный советский консул в Барселоне, старинный друг Троцкого и «герой Октября» (вскоре ликвидированный) Антонов-Овсенко. (Примерно через год после своего прибытия в Барселону он был неожиданно назначен наркомом юстиции, но, не успев ступить на родную землю, был арестован и исчез навсегда. После XX съезда его реабилитировали, но никто не заклеил человека, по доносам которого он был расстрелян: Эрно Герё.)

В июне 1937 года Герё помог Орлову состряпать прецесс против Горкина и его друзей.

Под прикрытием Объединенной социалистической партии Каталонии, полностью зависевшей от Москвы, Герё сколотил покорную группу коллаборантов, которые терроризировали всё и вся, включая полицию.

В ноябре 1936 года Каридад во главе испанской делегации отправили в Мехико. А после своего возвращения в Испанию она стала одной из активнейших

помощник Герё по шпионажу и террору, к чему привлекла и своего сына Рамона. Через Герё она познакомилась с Эйтингоном и вскоре стала его любовницей.

По данным Горкина, Рамон Меркадер дель Рио исчез из Каталонии во второй половине 1937 года. Его каталонские друзья увидели его снова лишь на газетных полосах тотчас после убийства Троцкого. Не странно ли, вопрошает автор, что он исчез из Испании именно в тот момент, когда международный коммунизм собирал там отборные силы? И где провел он несколько лет? Горкин считает, что в этот период он проходил спецобучение в СССР, ссылаясь при этом на заявление бывшего чекиста Н. Хохлова (автора книги «Право на совесть», Посев, 1957) на пресс-конференции в США — о том, что до отправки в Мексику под именем Морнара испанец, завербованный Эйтингоном, прошел спецподготовку в СССР. Горкин полагает, что это заняло около полугода, после чего Морнар обосновался в Париже, где вступил в контакт с анти-троцкистской агентурой и дожидался визита Руби Вейль, которая должна была его свести с Сильвией Агеловой...

Когда в 1948 году вышла первым изданием книга Горкина, ему мало кто поверил в том, что касалось личности Морнара: ведь кем только последнего не называли и кем только он сам себя не именовал!

Но благодаря мексиканскому врачу Куиросу Куарону (которому в 1940 году, после убийства, было поручено обследование Морнара), в 1953 году были получены неопровержимые доказательства подлинности идентификации личности убийцы. Свои выводы врач изложил в объемистом труде. В процессе работы он побывал в Барселоне и в Мадриде, где ему показали полицейские фотографии Рамона Меркадера, анфас и в профиль (в июне 1935 года он был арестован в

Барселоне, переведен в тюрьму в Валенсии и освобожден после победы Народного фронта), а также отпечаток указательного пальца правой руки. При сравнении аналогичные данные, полученные в Мехико, полностью совпали.

Разница была лишь в том, что на фото 1935 года мы видим молодого человека с густой черной шевелюрой и с полными огня глазами; на фото 1940 года — усталое лицо, лоб, изборожденный морщинами, горькие складки вокруг рта... Таким Морнар стал под опекой тех, кто сделал из него убийцу...

Случайно, во время одного из частых посещений Латинской Америки, Горкин оказался в Мехико 6 мая 1960 года, когда власти выпустили на волю и выслали из страны убийцу Троцкого — за три с половиной месяца до истечения срока его заключения. Под строгой охраной Рамон Меркадер дель Рио отбыл в Гавану Фиделя Кастро, откуда он отправился в Прагу, а затем в СССР. Отныне ни у кого не оставалось и тени сомнения в его связях с мировым коммунизмом.

Два дня спустя Горкин встретился с Энрике Кастро Дельгадо, который уже однажды поведал ему о совместной деятельности Эйтингона и Каридад. Тогда тот, однако, умолчал о главном — о признаниях, которые ему доверительно сделала в Москве Каридад. Умолчал он тогда и о том, что сопровождал ее сына Рамона вплоть до жилища Троцкого в момент перед убийством. Об этом в свое время рассказал Хесус Эрнандес, но Горкин ему тогда не поверил: слишком уж это разоблачение показалось чудовищным. Теперь сам Дельгадо подтвердил подлинность этого факта и на вопрос, почему он скрывал его ранее, с горечью ответил: «Пойми, моя жена и я, мы оба были в долгу у Каридад. Когда мы страшно нуждались в Москве, именно она помогла нам выжить. Кроме того, она немало потрудилась, чтобы мы смогли покинуть СССР,

когда мы были в страшной опасности — между Лубянской и границей. Имел ли я право ей навредить? Теперь всё по-другому, теперь я могу говорить...»

Итак, Каридад, которая, как мы знаем, прибыла в ноябре 1936 года в Мексику во главе испанской делегации, вернулась в Испанию почти в конце гражданской войны, в феврале или марте 1939 года, когда началась подготовка к убийству Троцкого. Она и Эйтингон работали под непосредственным руководством Судоплатова (о нем немало пишет в своей книге Н. Хохлов), одного из шефов «заграничной» службы НКВД.

(Рамон обольстил Сильвию, чтобы проникнуть в дом Троцкого, Эйтингон — Каридад, сделав ее своей сообщницей в бесчисленных преступлениях: «любовь на службе преступления»! — восклицает Горкин.)

После срыва первого покушения Берия и Судоплатов приказали Эйтингону вкупе с Каридад подготовить еще одно, и на этот раз успешное. Отсюда — встреча в Нью-Йорке Рабиновича и Эйтингона с Рамоном.

Когда Рамон в тот августовский день 1940 года проник в дом к Троцкому, Эйтингон и Каридад, каждый в своем автомобиле, следовали за ним и потом поджидали его на соседних улицах. Как было условлено, в случае успеха преступления (т. е. если бы охрана, ничего не заподозрив, дала Рамону возможность спокойно уйти), Эйтингон и Каридад подобрали бы его и помогли выбраться за границу... Страшный крик раненого Троцкого спутал все карты. Каридад видела, как кареты скорой помощи увозили: одна — жертву, другая — убийцу, причем она даже не знала, жив ли ее сын. Эйтингон велел ей немедленно скрыться. Она отправилась в США, а оттуда в СССР...

По прибытии в Москву Каридад обосновалась на Калужской, в одном из тех домов, где живут высоко-

поставленные персоны, в том числе чекисты. Привыкнув жить на широкую ногу, она продолжала роскошествовать, покупать дорогие вещи, духи, кофе, сигареты, платья и драгоценности. И тем не менее ее не переставала пожирать болезненная жажда деятельности. Хотя она уже знала, что Эйтингон женат и имеет детей, она по-прежнему была в него влюблена и четко выполняла его задания: охотилась за дипломатами, за колеблющимися, стучала на главарей болгарской компартии. (Исключая Димитрова и Коларова, перекочевавших после войны в Софию, почти все болгарские коммунистические вожди были в СССР ликвидированы — и в этом была немалая «заслуга» Кариадад.) Снабженная кубинским паспортом, она — одна или вдвоем с Эйтингоном — ездила то в скандинавские страны, то в Бельгию, то в Турцию, и повсюду находила новые жертвы...

После своей опалы весной 1943 года Дельгадо провел с ней на Калужской немало часов. Она была в меланхолии, валялась на кровати, вставая лишь чтобы выпить чашку кофе. С тоской вспоминала она Кубу, Мехико, Париж. Однажды она сказала то, что таила в глубине сердца: «Они нас обманули, Энрике. Они нас обманули своими революционными книгами, своей пропагандой, своим мнимым раем. Это наихудший ад, который когда-либо существовал. Я никогда не смогу с этим свыкнуться. У меня лишь одно желание, лишь одна мысль: бежать, бежать подальше отсюда... Ты не знаешь, как я, этих людей: у них нет ни души, ни совести. Они подавляют твою волю, они заставляют тебя убивать и вслед за тем убивают тебя самое, сразу или медленно, как они заставляют сейчас умирать меня. Теперь они во мне больше не нуждаются, понятно? После моего последнего подвига в Турции я им больше не нужна. Им отлично известно, что я уже не та, что была прежде... Просто преступники постепенно устают от своих преступлений и начинают ис-

пытывать к ним отвращение. Если бы я тебе только сказала всё...»

Дельгадо заклинал ее замолчать: ведь если бы кто-нибудь это услышал, они бы погибли оба. «Но мы и так погибли! — воскликнула она. — Здесь или в другом месте, если нам удастся ускользнуть, мы всё равно приговорены!»

И она рассказала затем в деталях всю историю убийства Троцкого, подготовленного ею и Эйтингоном. Она рыдала, закрыв лицо руками: «Я сделала из Рамона убийцу, из моего бедного Луиса — заложника, а из двух моих других детей — отбросы. И что я получила взамен? Две мерзости!!!»

Она встала, открыла ящик комода и с гримасой отвращения вытащила два высших знака отличия: орден Ленина и Золотую звезду Героя Советского Союза; орден — для себя, Звезду — для Рамона...

Мысль о бегстве и убеждение, что, если она останется, ее убьют, сводили ее с ума. Она жила с задернутыми наглухо шторами, страдая от бессонницы, поглощая без счету кофе и сигареты, пока не заболела окончательно. Ее навещала каталанка Кармен Брюфо (разумеется, чекистка). Она писала Берии и Судоплатову, умоляя выпустить, угрожая. Ей отвечали любезными открытками, коробками конфет, цветами. Эйтингон рекомендовал ей набраться терпения. Только визиты Луиса облегчали ей душу... Ожесточившись, она пригрозила покончить с собой или искать убежища в посольстве Кубы. Эта угроза возымела действие: Берия разрешил ей отправиться на Кубу, но, опасаясь компрометации, запретил ездить в Мексику. Однако, не успев покинуть СССР, она поспешила туда в надежде добиться освобождения сына: был конец февраля 1945 года. Заложником она оставляла Луиса, который должен был бы своей жизнью оплатить ее молчание: молчание под страхом смерти...

Горкин пишет далее, что вскоре после убийства Троцкого в Мехико была прислана чекистская комиссия во главе с крупным агентом — Купером. Во время гражданской войны он был в Испании, где специализировался на терроре. Группа Купера осуществляла в Мехико функции защиты и вместе с тем строгого наблюдения за убийцей Троцкого. Всё: адвокаты, комфортабельное пребывание в тюрьме (шелковая пижама, кофе, сигареты, ликеры, радио, даже свидание с женщинами, — что, впрочем, предусматривалось мексиканским законом), а также контакты с внешним миром — всё осуществлялось через Купера. От начала ареста до освобождения его группа израсходовала на преступника круглую сумму в четверть миллиона долларов (!).

Покидая СССР, Каридад имела на руках советский паспорт, что обеспечивало ей возможность сохранять в тайне свое происхождение и свою личность. Однако этот паспорт стал источником ее конфликтов с группой Купера, который хотел любой ценой помешать ей войти в прямой контакт с заключенным. Однажды она отправилась в тюрьму, где он находился, но так и не смогла его увидеть. Она потребовала нового процесса: неудача. Она намеревалась через адвоката добиться уменьшения срока — напрасно. Мнимый Джексон не был обыкновенным пленником — за ним следила мировая пресса, и преждевременное освобождение могло вызвать скандал. Мексиканская юстиция объясняла: если требовать пересмотра дела, нельзя настаивать на сокращении срока. К тому же, кто он был на самом деле? Того, за кого он себя выдает, не существует, его подлинная личность официально не установлена...

Тогда Каридад потребовала, чтобы организовали побег: опять неудача. Видя ее все возрастающую настойчивость, Купер — явно по приказу из Москвы — решил ее запугать. Дважды на нее совершали покуше-

ние; однажды лишь случай спас ее от автомобильной катастрофы. В ноябре 1945 года, опасаясь за свою жизнь, она покинула Мехико и отправилась в Париж, который больше не покидала. Получив кубинский паспорт, она обосновалась там со своей дочерью Монсеррат и с ее мужем. В Париже поселился и ее старший сын Хорхе, калека. Из некогда отважной, энергичной женщины Каридад превратилась в старуху, в существо, полное горечи и разочарований...

После провала организации побега Рамона Купер был отозван в Москву. Он погиб в период послебери-евских чисток, когда одновременно исчезли почти все, кто приложил руку и к убийству Троцкого. Виктор Гюго был прав, заключает Горкин, — на палачей всегда найдется палач.

ЧЕРНЯВСКИЙ Владимир — род. в 1930 г. в Москве. Окончил филологический факультет МГУ. Занимался литературной, редакторской, переводческой работой. В 1971 году эмигрировал из СССР. Сейчас живет в ФРГ. Автор ряда публикаций в русских зарубежных изданиях.

ИСТОКИ

ДВА ДОКУМЕНТА

ИЗ МАТЕРИАЛОВ СБОРНИКА «ПАМЯТЬ»: КОЧМЕС, 1937

Устное сообщение А. О-вой

В конце 1937 г. на лагпункт в пос. Кочмес прибыла с Воркуты Зинаида Немцова. О том, что ее этапируют к нам, мы узнали еще до ее приезда от урки; урки же предупредили, что она стукачка, работала на Воркуте на оперчекотдел.

В Кочмесе у нас был свой известный стукач — начальник КВЧ Феофилов, на воле учитель-словесник, осужденный по какой-то бытовой статье. Как по должности (КВЧ), так и по званию (стукач), он был в привилегированном положении: легкая работа, отдельная спальная кабинка при КВЧ. В круг его обязанностей входило, например, уничтожение «крамольных» книг в библиотеке. Приходил очередной список «крамолы», и он с помощью дневального-урки устраивал аутодафе.

Немцова считалась медсестрой; осужденная за КРД (контрреволюционную деятельность), она формально не пользовалась льготами, жила в общем бараке. Вообще же она дневала и чуть ли не ночевала в КВЧ. Они быстро спелись с Феофиловым — оба сотрудились с начальником оперчекотдела Никитиным.

Самиздатский исторический сборник «Память» ставит целью восстановить замалчиваемые или искаженные факты истории нашей страны после 1917. Первый выпуск сб. «Память» только что вышел в Нью-Йорке, в издательстве «Хроника». Второй, из которого мы берем настоящий материал, находится в печати.

Это было время, когда начались расстрелы — известные кашкетинские расстрелы на Кирпичном Заводе. Немцова и Феофилов составляли списки на расстрел. Однажды и мне довелось увидеть их список, когда я вошла в КВЧ, — но издали, фамилий я не могла разобрать, только хорошо помню, что это был стандартный лист бумаги, на котором шли фамилии в два столбца. Потом этих людей увозили, и большинство из них было расстреляно; уцелело буквально несколько человек — из тысячи с лишком. Из нашего лагеря были увезены и расстреляны: Керим Мензатов, татарин, студент Тимирязевки; Рая Васильева из Ленинграда; Рахиль Яновская (или Янковская) и еще многие, кого я не знала или чьи фамилии теперь не могу вспомнить. Знаю еще, что с Воркуты увезли и расстреляли на Кирпичном кинорежиссера Вознесенского (или Воскресенского). Расстрелял его сам Никитин, лично.

Однажды в Кочмес приехал за списками на расстрел оперуполномоченный, фамилия его, кажется, Канторович. Феофилов сам отдал ему списки, и он остался ночевать в КВЧ, в отдельной запирающейся кабинке. Утром до него не могли достучаться, а когда взломали дверь, увидели, что он застрелился. Говорили, что он оставил записку: «Больше так жить не могу». Портфеля его, в который он положил список, в кабинке не было. Стали искать портфель — и вскоре сетями выудили его из реки, из-под льда. Список размок, ничего нельзя было прочесть. Но это, конечно, никого не спасло: Феофилов и Немцова составили новый.

Немцова чувствовала себя в это время на верху блаженства, упивалась своей властью над жизнями людей, а может быть, даже искренне торжествовала, что вот она — настоящая коммунистка — и здесь приносит посильную пользу партии. «Кругом контрики, я веду за ними наблюдение по заданию Никитина, —

говорила она, не скрываясь; и грозила: — Я вас, контриков, всех прижму».

Между прочим, эта пара стала подкапываться и под начальника лагеря Подлесного. Думаю, что они это делали по указанию Никитина, у которого с Подлесным были личные счеты. Немцова и Феофилов стряпали доносы на Подлесного: что, мол, он слишком гуманно относится к заключенным — врагам народа, допускает непопозволенное обращение (не «гражданин начальник», а по имени-отчеству). Подлесный действительно был хороший, мягкий человек. Однажды он «украл» две баржи с продовольствием и одеждой. Баржи шли на Воркуту через Чекмес, и Подлесный сумел задержать их отправку, пока они не вмерзли в реку; тогда он приказал разгрузить их — и одел всех заключенных Чекмеса в бушлаты первого срока. Бывало, что начальник лагеря отправлял заключенных на сенокос без конвоя; и насколько это от него зависело, назначал туда пары — мужчину и женщину, о которых знал, что у них роман.

Обо всем этом и строчились доносы. Это знали многие заключенные, так как Феофилов и Немцова не особенно таились в этом случае. Знал, вероятно, и сам Подлесный. Он постарался избавиться от них. Когда Феофилов освободился, он отправил его на Воркуту с отличной характеристикой — на повышение, в культурно-воспитательный отдел (КВО). Но Немцова и одна не унималась, да и новый начальник КВЧ оказался не лучше прежнего.

Зимой 1938 г. Подлесный поехал в командировку в Усть-Усу; вслед за ним туда же пришло на него «дело». Узнал ли он об этом, предчувствовал ли что — а только взять его не успели: он застрелился.

Недавно, уже в 1977 году, я смотрела по телевизору передачу «От всего сердца». Передача была посвящена, кажется, юбилею ленинградского производственного объединения «Светлана». И вот среди ветеранов «Светланы», на почетных местах, в окружении молодежи, перенимающей эстафету поколений, я увидела бывшего секретаря парткома «Светланы» — знакомую мне по Кочмесу Зинаиду Немцову.

Примечание редакции сборника «Память»: Кашкетинские расстрелы — одна из наиболее драматических страниц истории ГУЛага. О них слышали все, рассказывают многие — и в то же время достоверных сведений о них крайне мало.

Мы почти не знаем имен погибших на Старом Кирпичном Заводе, в печорском лагере уничтожения. Поэтому нам представляется ценным свидетельство А. О-вой — хотя некоторые его детали имеют, возможно, легендарный характер (например, версия составления расстрельных списков лагерными стукачами, по их собственной воле).

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ И ГЕРМАНСКИЙ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМ

Публикация Михаила Агурского

В архиве Центра документации современного еврейства в Париже хранится документ (СХ III-324), датированный 27. 1. 1938 года, который проливает свет на отношение немецкого нацизма к русской интеллектуальной эмиграции. Этот документ представляет собой внутреннюю рецензию нацистского отдела печати на сборник статей о науке и куль-

туре в СССР, направленную в гитлеровский официоз — газету «Фелькише беобахтер».

Книга, как видно из документа, подверглась резкой критике и даже была запрещена из-за того, что ее авторы, а в особенности известный русский философ Николай Онуфриевич Лосский (1870—1965) остались полностью чужды всяким попыткам вносить расовые мотивы в оценку тех или иных произведений русской общественной мысли. То, что среди высланных из СССР в 1922 году ученых оказались С. Франк и А. Изгоев (Ланда), вовсе не давало повода исключать их из русской культуры, коллеги оценивали их вклад в русскую и мировую культуру не по расовой принадлежности авторов, а по тем идеалам, которые они развивали и защищали.

Заметим также, что публикации русских авторов, включенные в данный сборник, были выбраны составителями из уже имевшихся на русском языке материалов, а не написаны специально для издания в нацистской Германии.

Стремление видеть во всем еврейские и масонские проiski было свойственно для нацистской идеологии. К сожалению, то же самое порой приходится слышать и по адресу новой эмиграции не только со стороны ответственных сотрудников советского партийного аппарата и КГБ, которые мало чем отличаются по своему характеру и по своим воззрениям от нацистских чиновников, но и в некоторых кругах русского зарубежья.

Но пусть этот документ заставит призадуматься тех, кто, по-видимому, забывает, что их собственные архивные документы рано или поздно будут раскрыты и предстанут перед судом истории.

Заместителю главного редактора
«Фёлькише беобахтер»
г-ну КРАНЦУ
Берлин S. W. 68
Циммерштрассе 88-90

Название книги: «Большевистская наука и политика в отношении культуры», Фон Болько, Фрайхер фон Рихтгофен.

Высокоуважаемый товарищ Кранц!

В отношении вышеприведенной книги, переданной мне на рецензию, я должен сказать следующее.

Книга эта не только не годится для публикации в «Фёлькише беобахтер», но, напротив, в данной редакции должна быть запрещена. Основания для этого следующие.

Книга состоит из различных разделов и соответственно глав, написанных учеными совершенно различных идейных направлений. В то время как статья проф. Аусея (Рига) — «Духовное рабство», исключительно интересна и очень ценна как контрпропаганда против большевиков на чисто научной основе, следует выдвинуть самые резкие возражения против концепции русской истории проф. Пфицнера (директор исторического семинара Немецкого университета в Праге). Проф. Пфицнер, по-видимому, не имеет ни малейшего представления о масонских влияниях в старой России, хотя на эту тему появились новые и хорошие книги. В разделе «Историческая наука в Советском Союзе», написанном Пфицнером, можно, например, на стр. 174

прочитать следующее: «То, что русское отечество лишилось драгоценных сил в потоке беженцев (Примечание: при большевистском режиме), могут показать имена таких историков, как Милюков и Ростовцев». Милюков был масоном высокой степени посвящения и, как исторически доказано, являлся одним из главных виновников отречения царя и распространения большевизма. Во время одного из собраний в Веймарский период в него стреляли русские патриоты, но, к сожалению, попали в его товарища по партии, Набокова.

Милюков ныне является издателем наисквернейшей русской эмигрантской газеты «Последние новости» в Париже, клеветущей на Германию.

Другой раздел «Сборника» «Философия и психология в СССР» написан доктором Николаем Лосским, профессором Русского университета в Праге. В 1922-1923 годах из Советского Союза был выслан ряд профессоров, в том числе и евреи. Среди этих высланных был и Лосский. Группа, эмигрировавшая в Берлин во главе с проф. Ясинским, организовала здесь т. н. «Русский научный институт», который поддерживался евреями Веймарской системы из круга Кутискера, и евреи составляли почти 88% всех посещавших. Позднее стало известно, что один из этих ученых получал помощь от советского посольства (!!).

Надо было бы еще установить, не является ли сам Лосский евреем, ибо фамилия его звучит крайне подозрительно. В любом случае он в своей статье не проводит никакого разделения между еврейскими и русскими учеными, и вообще слово «еврей» им ни разу не упоминается. Вся советская философия «диалектического материализма», хотя Лосский ее и отвергает, кажется мне представленной слишком уж подробно. В такой статье (которая предназначена для распространения в Германии) должна быть по крайней мере

упомянута хоть раз точка зрения национал-социализма, чего, разумеется, у Лосского нет и в помине.

Статья проф. Мирчука «Основы советской педагогики», в которой я не нашел ничего предосудительного, имеет, однако, неверное название, ее следовало бы озаглавить «Судьба Украины при большевистском господстве».

Я полагаю, что этих выдержек вполне достаточно. Поскольку в статьях книги Рихтгофена несомненно содержится очень много интересного, по моему мнению, вся книга должна подвергнуться радикальной переработке, прежде чем быть переданной в «Фёлькише беобахтер». Я полагаю, что работа эта оправдывает себя, поскольку в таких книгах имеется большая нужда.

Хайль Гитлер!

Литература и время

Виолетта Иверни

СМЕРТЬЮ — О ЖИЗНИ

Валентин Распутин — удивляет. Вдвойне: сначала — сам по себе, неожиданностью своей; потом удивляешься собственному удивлению. Это беспокоит. Я не знаю другого прозаика в современной русской литературе, который, сам оставаясь дружелюбно-спокойным, беспредельно корректным, изысканно вежливым по отношению к читателю, вгонял бы его в такой пот и панику, в такое физически буквальное ощущение сердца комочком мышечной ткани, готовым к смертной судороге.

Бросающееся в глаза несоответствие между характером повествования и характером реакции на него делает Распутина загадочным — почти по-женски: со всем набором расхожих признаков, от «*таинственного*» мерцания глаз до «*таинственной*» улыбки Джонокды. Однако несоответствие — кажущееся, загадка же остается и тогда, когда, торопливо разобрав, разворошив игрушку, как будто понимаешь, как она сделана, что движет ее, какой механикой достигается неожиданная сила воздействия на читателя. Найти, поймать, назвать технические приемы — несложно; исчерпав их все, отерев со лба честный трудовой пот, понимаешь, что за пределами определенного, зафиксированного остается еще нечто: мир. Не больше, не меньше как целый мир, кладезь его собственной, Распутина, премудрости, которого он от нас отнюдь не прятал — наоборот, щедро им нас кормил-поил, но отчего-то так получилось, что, отложив прочитанное, мир этот мы все-таки наблюдаем со стороны, испы-

тывая при этом стыд за то, что мы в этот мир не вписываемся: по недостатку великодушия, или терпения, или жалости, или любви, или мудрости — Бог весть, но недостатку; по недогадливости о чем-то главном, что движет жизнью. Ощущение это тем более странно, что Распутин не только избегает укора в чей бы то ни было адрес — виноватить конкретного человека для него плоско, неточно и бессмысленно: это ничего не разрешит, не облегчит, — но и решительно никаких жертв не требует от читателя на алтарь своей истины: ни праведного гнева, ни растекающейся сентиментальной умиленности. Он нас не вербует, не агитирует, не принуждает, не ведет с нами войны с помощью тщательно подобранных и с адвокатским блеском расставленных аргументов; он не шаманит, не пытается заморозить нас нашим полузабытым родством со своими персонажами, — короче говоря, он не тенденциозен.

Свойство это для русского писателя редкостное, русская литература — проза в особенности — к пастьерству, к учительству тяготеет всегда: от вины ли перед мужиком, от священного ли трепета перед словом как таковым (назвать зло по имени — значит, победить: «изыди!»), от веры ли в то, что слово само по себе находит дорогу к истине, ибо в нем — не простое сочетание звуков, но некая благодать, которой оно осенено было изначально, словно бы еще до того, как его сумели произнести и начертать. Слово есть откровение для русского писателя, как и для русского читателя, — не инструмент, не орудие, не средство, но путь, избрание. И оттого проповедничество, свойственное нашей литературе, и делателями ее и восприимчиками ощущается как законное и привычное — не в меньшей степени, чем, скажем, идиома.

Советская литература (сущностно советская) тенденциозность эту довела до абсурда, что в доказатель-

ствах не нуждается, — ловко подменив ее духовные корни обыкновеннейшей желудочной утилитарностью.

И вот когда на этом двухэтажном слое вдруг появляется писатель-реалист, притом еще и пишущий о деревне («деревенская проза» — дивный термин советского производства: деревню, землю задавили, душа ее словно бы отлетела и стала бестелесностью — прозой: чем не признание?), и писатель этот не то чтобы отказывается от тенденциозности, отрицает ее, но он о ней как будто и не слышал, не заметил, не прочел, не знал — есть чему подивиться, есть обо что споткнуться в недоумении — да как же ему это удалось, как он сумел, осмелился?

А кажется — уж если не распутинская проза лежит в самой густоте, на самой стремнине русской реалистической традиции, то чья ж еще? И реализм его — откровенный, неспешный, внимательный, хозяйственный, пристальный, с любовным перебиранием мелких подробностей быта, природы, житейских неважных движений и предметов. Все это Распутин обсказывает аккуратно — как оглаживает: каждую вещичку, или дерево, или избу, да и в избе все углы, до самых темных и теплых запечных укрыток; человека — до самых дальних, забытых каморок души, до которых в спешке и труде у самого у него и руки не доходят, а автор все в ладонях подержал и опустил осторожно — на лист бумаги и в память. То же и с солнцем, лесом, рекой, со всякой сухой травинкой, со всякой живой веткой — он непременно все держит в руках, он пишет их наощупь, а не на взгляд, обонянием и осязанием, а не разумом. Ему удастся написать целое, не препарировав его, — и в этом как бы знак глубокого, внеразумного и подкожного единения писателя с описываемым им миром. Он пишет великой тайной жизни — не потому, что она известна ему в большей степени, чем другим, но потому, что он ежемгновенно ощущает свою причастность к ней.

Именно это ощущение уводит Распутина от тенденциозности, от каких бы то ни было попыток поповедничества, от какой бы то ни было претензии поразить ближних своих неким прорицанием. Но мы, привыкшие к басенной морали реалистической прозы, ждем ее, ищем, а не дождавшись, останавливаемся в изумлении. Кто же он такой, что дерзнул не поучить нас?

А он, в языческой заботе написать каждый предмет одушевленным, стоящим на своем, мудро осмысленном и необходимом месте, и не помышляет открывать нам новые земли. Он топчется на вечном пятачке, который одновременно — и весь Божий мир: случайность и неслучайность жизни, связь ее видимой, короткой, реальной, плотской части с невидимой, духовной, вечной. То самое великое таинство, с которым Распутин чувствует свою сопричастность, становится для него и целью, и средством изображения. Поэтому тот факт, что Распутин пишет о деревне, ощущается не первичным, а вторичным — производным от его писательской цели. Разумеется, в нем нет ни малейшего элемента случайности: деревня для Распутина не п р е д л о г потолковать на философские темы. И не рассудочно избранный фон событий. И не иллюстрация к заданной проблеме. Пришел ли Распутин к деревне как средоточию общечеловеческих проблем путем личного опыта — т. е. натолкнула ли его на это собственная биография, или он свою тему вычислил, вывел как формулу, не имеет ни малейшего значения. Значение имеет другое: Распутин не выступает плакальщицей по гибнущей деревне как таковой, он не пишет сусальных картинок про «доброе старое время» и не об уютных деревенских пейзажах печалится; он обращается к ней, следуя генетической памяти, ибо только кровная связь с землей, спасающая человека от страха перед ней, приводит его к небу, включает духовное, бесплотное в действительность

как естественный ее ингредиент и делает, таким образом, внутренний мир человека частью внешнего мира, не путая его с сиюминутной, суетной утилитарностью. Это означает, что человек обладал изначально — и теперь обладает, но это скрыто от него мелкой суетой, — врожденной религиозностью, столь же естественной, неизбежной и необходимой, как любая из частей его тела; столь же аксиоматичной, как его физическое строение.

Мироощущение, покоящееся на этой органической религиозности, добавляет к трем пространственным измерениям четвертую координату — «земля-вечность», повязывающую пространство и время и являющуюся категорией духовной, но отнюдь не абстрактной. Оно воспринимает и воссоздает мир в его наиболее полном объеме, оно ближе к конечной истине, чем любые, самые тонкие философские выкладки, одной безыскусностью своей, непридуманностью, одним естественным, богоданным провидением.

В стремлении воссоздать этот мир на бумаге, напомнить о нем видится мне суть творчества Распутина, глубинные причины верности его деревенской тематике.

Это отнюдь не означает, что Распутин деревню идеализирует. Вернее — людей деревни, ибо понятие «деревня» в его устах звучит как символ близости к истокам человеческого существования. Что до людей, то они, как водится, человеки. Со своими заботами, привязанностями, несправедливостями, со своей завистью и своей добротой. Но на фоне того самого, «земляного», «деревенского» мироощущения, которым обладают по большей части старики, не искушаемые соблазном «прогресса» и ближе молодых стоящие к земле, ибо им скоро в нее ложиться, конфликты между людьми внутри деревни выступают гораздо резче и крупней, чем при тех же обстоятельствах они обозначились бы в иной среде.

Распутин лепит микрокосм, давая понять, что в него вмещаются все общечеловеческие масштабы и виды проблем. Что в конечном счете национальная узнаваемость, явственность этой деревни как именно русской, при всей нежности к ней автора, играет второстепенную роль. Ласково подробничая в описаниях мельчайших деталей быта, он, тем не менее, переступает порог буквальности, он пристально следит за тем, чем стал человек и чем ему еще предстоит стать.

Малое количество людей, сосредоточенное на малом пространстве, связанное теснотой судеб, воспоминаний, родственных или враждебных, или дружеских уз, позволяет рассматривать любые проблемы в самой ясной, глазной близости. Как героиням двух повестей Распутина — старухе Дарье («Прощание с Матерой») и старухе Анне («Последний срок») — не надо было видеть всей земли, простирающейся за пределами родной деревни, чтобы сподобиться великой мудрости, так и для любого другого человека, имеющего глаза и уши, маленького деревенского мирка достаточно, чтобы увидеть в нем все начала и концы, причины и истоки всех мук и радостей. В этом нет ничего от ретроградства, от заскорузлого консерватизма: Распутин хочет показать тем самым, что глубина мудрости человеческой не зависит от формального, арифметического количества информации, не зависит от формального знания (значит, и от технического прогресса), не зависит от степени нашей искушенности в вопросах культуры, философии и истории, она лежит и ближе, и дальше — в способности не забывать о четвертом измерении. Обладание же этой способностью никак не исключает и не отрицает знания как такового. Однако человек слаб и часто бывает неспособен отличить сути от суеты и суетой подменяет суть.

Уже в ранней повести «Деньги для Марии» Распутин обнаружил явственное нежелание писать рождественские сказки со счастливым концом. Более того, он ставит в центр своего произведения героя, все действия которого определяются именно надеждой на счастливый исход, на чудо. Но чем живет надежда, чем больше она согревает Кузьму, тем меньше ее оставляет ему и нам автор. Без подсказок и назиданий, без сокрушенных жалоб и сетований — одним только фактом слишком сильного ожидания чуда, чтобы чудо могло действительно свершиться. Ибо чудес не бывает. А если и бывают, то случаются они отнюдь не тогда, когда их делают последней ставкой в игре.

Жене Кузьмы Марии грозит тюрьма за растрату. Она работает продавщицей в деревенском магазинчике, где работать бы ей совсем не надо было, потому что она решительно ничего не понимает ни в торговых делах, ни в финансовых документах, — человек она малограмотный, и не она ведет дело, а дело — ее. Но она сама этого места не только что не добивалась, а пошла-то на него потому, что уговорил председатель сельсовета. До того магазин был закрыт целых четыре месяца, и за всякой малостью людям приходилось ездить в район — хоть за щепоткой соли. Настоящих, квалифицированных продавцов райпотребсоюз не присылал, советовал искать на месте, а для деревни магазинчик этот стал проклятым местом: уже несколько человек деревенских, кто согласился когда-то, получили сроки после ревизий. Больше желающих не было поставлять тюрьмам новых обитателей, в деревне говорили, что план по зэкам они уже выполнили и перевыполнили, пусть теперь власти из других мест набирают кандидатов. Но без магазина деревня тоже жить не могла, вот председатель и уговорил Марию, ради всей деревни просил, чтобы выручила. Она и выручила. Торговала она справедливо, только очень долго не могла добиться ревизии, а когда ревизор при-

ехал, то оказалась у нее недостача в тысячу рублей. Ревизор по доброте своей дал отсрочку на пять дней — если за пять дней внесут в кассу эту тысячу, то он промолчит, докладывать не станет. Но больше он не может, не имеет права, уже и эта отсрочка — незаконная. А не внесут — тогда Марии суд и тюрьма. А у нее четверо детей.

О том, как достать деньги, Мария и думать не могла — только все плакала, и пришлось мужу ее, Кузьме, этим заниматься. Председатель обещал дать ссуду, но только через полгода, раньше невозможно, так что Кузьме уже надо было не просто у людей просить на неопределенный срок, а под обещанную ссуду, — все-таки полегче. Но вся беда заключалась в том, что денег у людей не было — то есть не было у тех, кто дал бы, не пожалел, а у кого были, так те не всегда и хотели дать. Требовать же Кузьма ничего не мог: всякий имел право сказать — сама виновата, зачем, дура, согласилась. В деревне Кузьма набрал едва половину, осталась одна надежда — на брата, давным-давно уехавшего в город, про деревню свою забывшего и свою деревенскую родню отнюдь не привечавшего. Марии ясно, что брат денег не даст, — ему и дела нет до того, что там с ними происходит, но Кузьма все равно едет, все равно надежды не отгоняет, потому что он и представить себе не может, что Мария, без всякой своей вины — оттого только, что хотела всех выручить, попадет в тюрьму, и вся жизнь, дом, дети — все пойдет прахом.

Повесть кончается чисто кинематографическим кадром: Кузьма подходит к дому брата, «делает последние шаги до двери и стучит. Вот он и приехал — молись, Мария! Сейчас ему откроют». Распутин отказывается продолжать свой рассказ дальше — он отказывается исчерпывать сюжет до конца. Он останавливает его внезапно на том самом месте, с которого должна бы только начаться обычная повесть; распу-

тинская же — одна долгая, на сто страниц, завязка — обычной повестью быть не желает, ибо автор в сюжетные развязки не верит. Сюжетной развязкой бывает для него только физическая смерть героя, потому что во всех остальных случаях жизнь не кончается завершением какого-то определенного события или событий, она катится дальше, впитывая по дороге множество других, побочных основному, течений, и обрывать рассказ о ней на завершении произвольно избираемой сюжетной коллизии означает, во-первых, совершать насилие над непрерывным и многослойным потоком бытия, а во-вторых, — отдавать сюжету предпочтение перед проблемой, не поддающейся разрешению. В соседстве с вечными, «проклятыми» вопросами внешний, событийный ряд произведения, действие как таковое выглядит слишком легко строящимся, слишком игрушечно — как из кубиков — возникающим зданием. И Распутин ни в одном из своих произведений — во всяком случае, крупных — не ставит точку, всегда многоточие, или вопросительный знак, или многоточие с вопросительным знаком. Он тщательно избегает максимализма в оценках людей и ситуаций и ограничивается обнажением язвы, обреченной воспалиться и гноиться без конца.

Повесть «Деньги для Марии» начинается сном Кузьмы, воплощающим его надежду: ему видится, что он едет в машине по бесконечной тьме от одного невидимого дома к другому, и возле каждого из домов, где есть деньги, фары сами собой зажигаются, кто-то открывает дверь, и Кузьма говорит: «Деньги для Марии!» И тогда из темноты протягивается рука с деньгами, Кузьма берет их и едет дальше. Сон этот снится ему накануне поездки к брату, когда все другие пути уже испробованы, все возможные попытки предприняты и в большинстве своем провалились, а от отпущенного добрым ревизором срока осталось два дня. Для упований места больше нет. Нет. Мария с

самого начала была убеждена, что толку не выйдет. О брате она и слышать не хочет: само собой понятно, что денег не даст. И, в сущности, Кузьма ведь тоже должен был бы это понимать, но он не хочет. Не умеет. И чудесный сон, с которого Распутин начинает свое повествование, снится герою уже на краю надежд. И расстаемся мы с ним тоже на краю надежд: перед дверью, за которой наверняка его не ждет чудо. Повесть Распутина — о светлой надежде обреченного. О самой светлой, которая только у обреченного и бывает. И которая не сбывается. Можно ставить тысячу вопросов: почему — так? Кто виноват? Кто должен отвечать? Райпотребсоюз? Наверняка у райпотребсоюза нет свободных кадров, да никто и не хочет, наверное, ехать в эту глушь. Председатель колхоза? А что он мог сделать — надо же было открывать несчастный магазин! Те, кто денег не дал? Так ведь у многих их и не было, а у тех, у кого были, все равно не набралась бы такая чудовищная сумма, даже и часть ее. Кто же? Где прячется вина, когда страдает невинный? Далеко. Хорошо, когда можно отыскать, но тогда и беда еще не самая большая. А самая большая — когда концов не найти. Вот тогда и маячит перед человеком мираж чуда.

Распутин обрывает действие не потому, что щадит нашу чувствительность, а потому как раз, что он ее не щадит. Ибо предоставляя нам возможность самим вообразить себе трагедию этой семьи, он заставляет нас рисовать себе сцены, гораздо более страшные, чем они представлялись бы нам в его авторском описании, — таково уж свойство воображения человеческого. Оттого что копеечная надежда на хороший исход дела нам все-таки остается — а вдруг брат да спасет брата? — более вероятный трагический конец представляется более тяжким, чем если бы он заранее был задан как единственный.

Самое страшное, что мы знаем о «последствиях», «постдействии» повести, — это то, что произошедшее ничего не изменит в этом мире. И даже для самих героев повести оно станет скоро частью быта, и от надежд на спасение Марии они перейдут к другим — очередным, насущным надеждам. Пренебрежением к сюжетной завершенности Распутин вводит нас в заколдованный круг Безвыходного.

Этот прием Распутин применяет и в другой своей повести — «Живи и помни». Героиня ее, Настена Гуськова, не выдержав безысходности, накладывает на себя руки, и смерть ее, в контексте повести, тем тяжелее и невыносимее, что она ничего не упрощает и не разрешает, не разрушает никаких узлов.

Настенин муж Андрей в самом конце войны стал дезертиром. Всю войну провоевал не хуже других, и трусом не был, от пуль не бегал, ранен был несколько раз. Но, в последний раз попав в госпиталь, он был почему-то уверен, что получит потом отпуск и съездит повидаться с родными. Отпуска ему не дали, и Андрею показалось, что это знак — его непременно и сразу убьют, как только он вернется на фронт. И так эта мысль в него запала, что он решил без позволения съездить домой, а тогда уж — обратно. Но чем ближе подходил он к родной деревне, тем яснее понимал, что вернется он не в окопы, а под трибунал и к стенке, — по законам военного времени он уже дезертир.

И Настена его скрывает. Но все это должно неминуемо выплыть наружу, потому что однажды она понимает, что беременна. В маленькой, Богом забытой Атамановке, где все у всех на виду, где и мужиков-то никаких нет — они на фронте, а Андрея уже разыскивают, уже известно, что он из госпиталя не вернулся на фронт, и охота за ним началась, — что могут подумать о Настениной беременности односельчане? Она обречена. Оба они обречены — и она, и Андрей. И неродившийся их ребенок — тоже.

Узнав, что мужа собираются искать, Настена бросается в лодку ночью — предупредить его, чтобы ушел подальше в лес, — и слышит за собой погоню. Ее выследили. И пути ей нет теперь ни назад, ни вперед, только в воду.

Герои этой повести живут в ожидании неминуемого конца, гибели. Андрей чувствует себя смертником с первого шага своего, нелепого, бессмысленного шага, уведшего его за пределы общества. Он неожиданно для себя самого вышел из круга понятий, которых раньше не ставил под сомнение и которые неведомо для него составляли смысл его жизни и поддерживали ее на плаву. Понятия эти были — долг и подобие другим. Всю свою жизнь Андрей был частичкой огромного целого и жил по правилам, придуманным для всех. Он был, как все, и не требовал для себя особой судьбы. Уверенность в том, что после тяжелого ранения всегда полагается отпуск, была частью той же слепой веры в незыблемый порядок вещей и той же готовности ему подчиняться. Но отпуска ему почему-то не дали, правило было нарушено — нарушено извне по отношению к нему одному, и тем самым он был выделен из общей массы. Он больше не был «одним из...», он внезапно осознал себя как отдельную личность и столь же внезапно ощутил потребность в свободе действий. Новизна и неожиданность этого ощущения толкали его к первозданно-ясной логике: коль скоро он выделен из понятия «все» не своей, а чужой волей, то, стало быть, этой же волей ему передается забота о собственной жизни и право на нее. Теперь он видел связь свою с другими людьми не внутри одного огромного существа, частью которого он был раньше, но со стороны, и связь эта перестала быть для него единственно возможной формой существования. Но никаких других форм он не знал, поэтому смерть представлял себе самым естественным следствием первого и последнего в своей жизни сво-

бодного поступка. Кроме того, он признавал за людьми право мстить ему за нарушение долга, за разрушение связи, за отрыв от целого, которому он таким образом нанес рану. Однако мысль о том, что никто не захочет увидеть и понять, что происходит в его душе, что никто не будет разбираться в причинах его поступка, никто не станет взвешивать, измерять, разделять его вину и беду, рождала в нем враждебность к людям и исключала покаяние.

Мог ли Андрей отказаться от общения с Настеной — самым близким человеком и единственным, не то что существом, но — фактором, обстоятельством, связывавшим его с нормальной человеческой жизнью, единственным свидетельством того, что он еще не умер? Таких сил у человека нет. Он понимал, что увлекает ее на опасный путь, но ведь ее-то жизни ничего не грозило! Он так привык считать смертником себя, по такой кромке над гибелью ходить, таким подарком судьбы видеть каждое мгновение, когда еще не оборвался, выторговал, выскочил, что Настенино положение казалось ему куда легче!

Узнав, что она беременна, он сходит с ума от счастья — это как воскресение после смерти, это не случайно, это знак — ведь какой-то высший, тайный смысл должен быть в том, что Настенино бесплодие, с которым оба они давно и горестно смирились, вдруг чудесным образом исчезло! Ребенок, который родится от него, — это восстановление обрубленной связи, это новый корешок, который повяжет его, прирастит его снова к его роду; маленький сосудик, который опять введет Андрея в кровеносную систему Целого; это высшее милосердие и прощение. Это больше, чем прощение, — это оправдание его бегства.

Но именно это счастье и оборачивается проклятием. Счастье, выпавшее из общего порядка вещей, подлежит уничтожению. Счастье, выпавшее из общего порядка вещей, уничтожает. Настена погибает.

Снова, как и в «Деньгах для Марии», Распутин обрывает повествование, не доведя его до логического конца: мы не только не знаем, что произойдет потом с Андреем, но мы уже и не видим его после смерти Настены. Он еще не знает, что остался один. Он еще не знает, что остался один, — это уже навсегда, это как вечные адские муки. Обрывом, незавершенностью, презрением к сюжету автор снова загоняет нас в корчи додумывания, догадок, предположений — он загоняет нас в корчи молчанием; не тем, что написал, а тем, чего не написал! Такого еще не было.

Обрыв этот тем более внезапен, что мы попадаем в него из долгого потока педантично-подробной авторской речи, ревнивой к деталям, боящейся не углядеть, уронить из рассказа мельчайший жест, не только движение, но даже намек на него. Поэтому неопределенность тьмы, в которую погружается развязка, множественность вариантов, в ней заключенная, становится самостоятельным действующим лицом в повестях Распутина. Эта неперемнная фигура умолчания преследует нас за пределами повести, заставляя бесконечно возвращаться мыслью к началу, чтобы там угадать ее тайный смысл. Так эпическое художественное произведение, обыкновенно имеющее четкую векторную направленность, под пером Распутина превращается в магический меловой круг, и читатель оказывается внутри этого круга, внутри некоей системы с особой питательной средой, созданной именно этим писателем, только ему принадлежащей, в которой он царит монопольно, властен над нашей смертью и животом.

Отсюда — то странное ощущение загадочности Распутина, о котором я упомянула вначале; загадочности — при внешней простоте, иногда даже простоватости повествования; при бросающейся в глаза наивной готовности откровенничать; при поспешности

сообщить нам новые обстоятельства как бы для того, чтобы двинуть действие вперед.

На поверку оказывается, что простота скрывает сложнейшие переплетения человеческих связей, переклестнувшихся намертво и навечно: их нельзя разрубить ничем, в том числе и смертью, смерть — это только одно из обстоятельств, перипетия, деталь. Взаимозависимость судеб подобна петлям в вязанье: каждая существует и сама по себе, необходимость в ней сомнений не вызывает, но она не может отделиться от других, и стоит поползти одной, как все стройное целое превращается в бесформенную, аморфную груду ниток — сыря.

Откровенность автора оказывается двойственной: чем больше произносится слов, тем больше остается за их пределами не вмещающегося в них, не поддающегося материальному воплощению смысла; слова — это только осадок, выпадающий из перенасыщенного раствора.

Что касается новых обстоятельств, услужливо предлагаемых нам автором, то они на самом деле ничего и никуда не движут, ибо самое главное обстоятельство, непреложное условие, в котором живут и действуют персонажи повестей Распутина, задается им в самом начале. Причем, как правило, это условие не зависит от воли героев, поэтому они никогда не бывают свободными в своих поступках, а по тому же закону вязальных петель вынуждены подчиняться строго определенному порядку — кружению внутри рамок, поставленных раз навсегда заданным им условием. Таким образом, любая информация, сообщаемая нам автором, является только статическим описанием хода болезни, о которой заранее известно, что она неизлечима. Поэтому повести Распутина превращаются в мучительно, мучительно долгое описание агонии. Оно цепко держит читателя, не позволяя ему ни минуты отдыха, оно впивается гипнотически, заво-

раживает и тащит — не вслед за собой, но в себя, внутрь, в сердцевину, в медленную пытку судороги и головокружения. Позволь себе Распутин хоть крупицу натурализма, позволь он себе хоть гран авторского произвола, тенденциозности — и он стал бы глумящимся мизантропом, садистом, смакующим человеческие страдания, злорадно открывающим людским глазам пропасть, к которой они приговорены.

Но в том-то и состоит поразительный талант Распутина, непридуманное, Богом данное его свойство, что его мельчайшая — рисунок пером — детализация абсолютно здорова, без единого симптома натуралистической эррозии; его непредвзятость по отношению к персонажам щепетильна до мнительности; взаимоотношения между ними, события, обстоятельства, подробности их внешнего и внутреннего мира он выстраивает не только с абсолютной честностью, правдивостью, точностью и гармоническим равновесием составных, но и с великодушным благородством, заставляющим нас вспомнить о потерянном где-то впопыхах в погоне за прогрессом кодексе чести.

Темная печаль, с которой Распутин глядит на мир, не больна ни злобой, ни злостью, ни раздражением. Она придает трагической обреченности земных судеб его героев странноватый отсвет тайного покоя, скрытого до поры обещания; мудрости последнего искупления.

Поэтому и смерть, часто подолгу живущая рядом с его персонажами, не превращает произведения Распутина в мелодраматические страсти-мордасти.

Повесть «Последний срок» — лучшее тому доказательство.

Умирает старуха Анна. Умирает спокойно, несуетливо, с пониманием, что пришло ее время сделать эту последнюю на земле работу. Она совсем уж было отошла, но дети, которых она давно не видела, собрались у ее постели, и смерть отпустила старуху по-

смотреть на детей. Однако приехали не все — нет младшей, самой любимой, самой ласковой — Таньчоры, и старуха решила дожидаться дочери, а тогда уж умереть. Но Таньчоры все нет и нет, а две другие дочери и сын — старуха понимает — приехали на похороны, оставили и дела свои, и заботы, и теперь получается, что мать их как бы подвела, что ли — все живет и живет. Старухе перед ними совестно, но, не повидав Таньчору, умереть она никак не может, и, подгоняемая виной, старуха страстно молит дочь бессонными ночами: ну что же ты, где же, приезжай! Отпусти меня!.. Но дочь не приезжает, а другие дети ее начинают ссориться между собой, и старуха видит, что все они — чужие друг другу, такие разные, что и самой ей трудно поверить, что все они вышли из одного — ее — чрева.

Дети же старухины тоже оказываются в нелепом положении: они и впрямь собрались на похороны, уже и водки два ящика закупили, и платье черное Люся себе наскоро сшила, сидя ночью на кухоньке, а мать — ожила. И они чувствуют свою вину перед ней, что раньше времени вроде бы похоронили, и теперь, оставаясь у ее постели, как будто ждут, когда же она, наконец, умрет. Ждать нельзя, стыдно, и они обманывают себя и мать, что она поправится теперь, что они приедут попозже, в отпуск, а теперь им надо возвращаться по домам, к своим делам. И еще им стыдно за младшую сестру, что не приехала, хотя никто из них не знает — и мы так до конца повести и не узнаем, — почему Таньчора не приехала. Как только дети разъезжаются, старуха Анна умирает.

Как и в повести «Живи и помни», здесь все вызвано чувством взаимной вины и растерянностью — как быть? Как жить, поступать, где истина? Братья и сестры едва выносят друг друга, и каждый из них не лучше и не хуже других, просто они оторвались, стали незнакомыми и ненужными друг другу людьми, слов-

но случайные попутчики. Все они оторваны от своего корня, рода. Последняя слабая ниточка, привязывающая их к родной деревне, к семье, — это мать. Но мать умирает, и с нею умирает кровное родство между детьми. Отныне они одиноки и подставлены всем ветрам, и всем ветрам вольно разнести их в разные стороны, закрутить, засыпать песком, погнать к обрыву — у них нет корней и им не будет успокоения и утешения. Сами они об этом не знают, им кажется, что их ждет свобода, что в этом мире им известны все законы и пружины, что они твердо стоят на своих ногах и способны на выбор. На самом же деле смерть матери подвинула их ближе к смерти, которой они не понимают и страшатся; забвение кровного родства отомстит им вечной несытостью, проклятием вечного бега, вечной погони за искушением, завистью, досадой, бездуховной, бесплодной пустотой.

Все это висит в воздухе повести — в душном воздухе агонии. И это не агония старухи Анны, как уверяет нас сюжет произведения, это — духовная агония ее детей. За пределами повести, после завершающей ее фразы: «Ночью старуха умерла» начинается настоящая развязка — неизбежная духовная, а быть может и физическая, гибель детей.

И здесь тоже есть фигура умолчания: не приехавшая и не приславшая телеграммы младшая дочь. О ней старуха думает неотступно, о ней думают, ее вспоминают братья и сестры, мы видим ее едва ли не яснее, чем других, реально присутствующих действующих лиц, и именно Таньчора, наряду со старухой Анной, — главная героиня повести «Последний срок». Но почему она не приехала? Почему она, единственная из всех детей писавшая матери нежные, ласковые письма, да и до замужества удивлявшая мать такой непривычно открытой любовью, что старухе становилось неловко и блаженно-тепло; почему она, одна умевшая всех простить, понять и примирить, не при-

ехала? Молчание. Молчание. Что-то осталось неоконченным, незавершенным, какая-то дверь чуть приоткрыта, словно готова пропустить новую судьбу. Но все это — «постдействие».

Самое крупное произведение Распутина — его последняя повесть «Прощание с Матерой». Матера — остров на Ангаре, который вскоре должен быть затоплен: строится мощная электростанция, Ангари перегородили плотиной. Деревенька, испокон веков обживавшая Матеру, укоренившаяся на ней памятью и тяжким трудом поколений, кладбищем, привязанностью сегодняшних ее обитателей, будет уничтожена дважды, трижды: сначала опустошена, потом сожжена, потом затоплена. Вот и весь сюжет повести. Как и все другие произведения Распутина, это повесть о смерти, о гибели. Но если в «Деньгах для Марии» причины трагедии лежат вне воли героев; если в «Живи и помни» они заключены в героев частично; если в «Последнем сроке» распад рода и гибель родства ложатся на плечи героев почти полностью, — то в «Прощании с Матерой» мы присутствуем при казни: люди казнят землю. Это — убийство.

Односельчане Марии отнюдь не хотели подвести ее под статью. Андрей Гуськов не желал смерти жены — это и для него означает смерть. Дети не желали смерти старухи Анны, хотя и приложили к этому руку. Но Анна умерла естественной смертью, дети только укоротили последний срок, отпущенный ей на земле. Матеру убивают сознательно, с убежденностью в том, что это необходимо, важно, что это — для лучшего.

Жители еще не покинули деревню, а бригада рабочих, присланная из поселка, уже снимает памятники с могил на кладбище. Им и в голову не приходит, что они оскверняют память мертвых, нарушают их покой. И что живых оскорбляет это зрелище, что для них, для живых, лежащие на маленьком деревенском клад-

бище родители, дети, родственники, род — умирают сейчас во второй раз. Наемники исполняют приказ — они привыкли не задумываться над тем, что делают.

Жгут избы, в которых рождались, жили и умирали поколения. Некоторые из деревенских — непутевые бездельники — жгут свои избы сами: скорее деньги получить. Рубят и жгут деревья, много повидавшие на своем веку, связанные с людской жизнью всем, что видели, что знали о людях. Огонь съедает не просто деревьяшки — он съедает рождение, детство, юность, любовь, потери, привязанности, привычки — весь уклад, весь быт, весь порядок жизни людей, разрушает стройный ряд поколений, разлучая живых с мертвыми.

И только старики понимают настоящий смысл происходящего. Только старики — потому что для них уже не существует суеты, жажды преуспеть, жажды иметь больше, чем у них есть. Их будущее — это их прошлое, они смотрят теперь назад, как в свою очередь суждено потом обернуться назад их детям. Это не только личное прошлое — биография, судьба, это общее прошлое их рода, неохватимой взглядом пирамиды, ушедшей в землю, на вершине которой они пока еще стоят, чтобы затем уступить это место детям. До сих пор они ощущали эту пирамиду под своими ногами, они готовились лечь в землю рядом с теми, кто их породил. Но их вырывают из ряда, их хотят пересадить на другую почву, которая, быть может, и ничем не хуже, но чужда и пуста.

Упрямое нежелание стариков уходить со своей земли Распутин не сразу раскрывает как выражение определенной философии, представления об определенной конструкции мира. Он начинает с поверхности — с естественной для стариков инерции, нелюбви к переменам, брюзжания, недовольства. Но уже с первого большого события, переворачивающего всю деревню, до того словно не совсем еще понимавшую, что ее об-

рекли на смерть, — со сноса кладбища — устами главной героини повести, старухи Дарьи, Распутин открывает нам, что старики, и сами себе и окружающим кажущиеся балластом, на самом деле — хранители стройной системы, связывающей воедино землю, людей и небо. Им известна самая большая тайна, которую только способен понять и постигнуть человек: что, лишь оставаясь внутри этой системы, только двигаясь внутри нее, человек и может остаться человеком, то есть сохранить нравственный фундамент, способность к любви и творчеству, способность к плодотворной деятельности. Тайные пружины, конечные причины всего, что происходит на земле, неизвестны никому, но старики знают, что ключи от последних секретов лежат за пределами бытия и те, кто там теперь находится, видят и судят живущих. За каждым из живых следят невидимые глаза, к каждому протянуты невидимые руки, и потому каждый сам ответственный за все дела свои на земле. Разрубая эту связь, забывая о мертвых и о той стране, куда рано или поздно придет любой человек, люди теряют связь с той самой общей системой мироздания, они начинают слепо метаться по жизни, не понимая и не видя смысла в своем рождении, бесцельно волоча дни и оставляя за собой одни руины. Убивая землю, память, традиции, они превращают свою жизнь в короткий отрезок дороги между двумя обрывами, в то время как земное человеческое существование есть только малая часть огромной замкнутой сферы.

Старуха Дарья говорит своему внуку, только что пришедшему из армии и торопящемуся уехать из скучной деревни в город, на большую стройку, что ей жалко людей. Все-то они суетятся, все-то стараются достичь чего-то, а на самом деле ни один из них не свободен в своих поступках, никто не делает того, чего хочет сам, а подчиняется некоей необходимости, а откуда берется эта необходимость и действительно

ли необходимость она, никто не знает. Вот люди понастроили машин, а для чего? Чтобы легче было жить, говорят. Но и сам-то человек не замечает, что уже давно не машина ему служит, а он машине. А поскольку машина выносливее человека и снашивается медленнее, то, стало быть, человек, поспевая за машинной скоростью, только укорачивает свою жизнь. По законам машины он жить все равно не может, а свои, человеческие законы ему в этой спешке и беготне некогда помнить и исполнять. Оттого и совести теперь меньше стало на свете. Людей больше, а совести меньше. Это оттого, что совесть-то, она на всех одна. Люди нынче не под Богом ходят, а под машиной, а машине совесть зачем? Ей мясо человеческое нужно. Вот так и есть — мяса много, а людей мало.

Губя свою землю, люди разрушают систему, созданную изначально — и не ими. Разрушая систему, они губят себя.

Повесть Распутина — это эсхатологическая картина. Нечто вроде современного Апокалипсиса. Тот факт, что строится она на бытовом материале, на спокойной, разговорной интонации, без примеси выспренности, истерики, без громогласных проклятий и пригвождающего перста, делает ее еще глубже, страшнее и безнадежнее. Сколько нужно еще поколений, чтобы возродить порванную сегодня связь? Сколько поколений, чтобы род человеческий услышал снова в себе голос Бога и голос земли? Кто знает!..

Не дает покоя вопрос: как появился сегодня на нашей иссохшей официально-литературной ниве такой писатель, как Валентин Распутин? Но его можно искренне поздравить: дай Бог ему покоя и доброй работы. Он не из тех, кто приходит в литературу бедным родственником, он из тех, кого литература ждет. «Много званных, да мало призванных». Валентин Распутин относится к меньшинству — к призванным.

ЧУТЬ-ЧУТЬ О ФИЛОСОФИИ ВЛАДИМИРА НАБОКОВА

A word about K.¹

*Freudians are no longer
around, I understand so...²*

Это — не памяти Набокова. За столь короткий срок память не может сформироваться. И не о книгах. О них было и будет написано в свое время. И, конечно, не о жизни; слишком много сказано им самим в книге «Говори, память», а также в замечательном биографическом опыте Эндрью Филда «Набоков, частичное описание его жизни»³. Шедевр Филда, как бы предваривший смерть писателя, совершил необходимое для конца (или — перед концом) *отстранение*. Отстранение Набокова от его собственной эмигрантской судьбы (судьба — это не жизнь) — уже было в его русских романах и рассказах. Будущие биографы и мемуаристы будут из кожи вон лезть, чтобы снова вернуть, вставить, вдавить Набокова в эмигрантскую судьбу и тем приравнять себя к нему, «приставить» его к себе. Набоков же, если судить по *им* написанному, не был великий охотник до компании. В вещах важных — особенно.

В этой маленькой заметке я попытаюсь только частично осмыслить самую «некомпанейскую» линию его писательства, где отстранение выражено сильнее всего, — его внутреннюю философию. То есть ту линию, в смысле которой всякий разговор человека не имеет ни начала, ни конца и уходит в бесконечность. Или, точнее, ту линию, которая уводит человека от реального повода и причины разговора и отстраняет его от фактов и обстоятельств, которым данный раз-

говор обязан своим появлением и продолжением. Поэтому, когда кто-то говорит: «о чем бы Набоков ни писал, он писал только о...» — то не верьте! Он писал о том, о чем писал, а не «только о...» («только о...» — подразумевается его эмигрантская судьба, или эмигрантская судьба вообще, или русская, или чья угодно). И здесь — нескончаемая война открывателей правды с искателями смысла (смысл нельзя открыть или даже раскрыть; его можно только искать — Набоков это прекрасно знал).

Будучи определенно модернистским писателем и современно мыслящим человеком (и то и другое для его времени, конечно), Набоков с большим сомнением относился к модернистскому мировосприятию и полностью отвергал один из важнейших элементов этого восприятия — фрейдизм. Почему? Откуда такая стойкая неприязнь и даже презрение к психоанализу у человека столь динамичного и так хорошо ощутившего американское ощущение жизни, как Набоков? Ответ прост и ясен, как Божий день: герой набоковской «Лолиты» Хамперт Хамперт *сам знает, что с ним происходит*. Ему для этого не нужен ни Фрейд, ни Юнг, ни Лакан, ни Маркс с Энгельсом, ни чёрт в стуле. Он, конечно, понимает (как и Цинцинат из «Приглашения на казнь»), что ему уже не выпутаться (а жаль!). Но все равно, он точно знает, *отчего* он попал в эту переделку, откуда выход один — на эшафот или в газовую камеру. Другое дело, что ни Хамперт Хамперт, ни Цинцинат ничего не могли с этим поделать. Но это — уже совершенно другое дело.

В удивительно странном рассказе «Ультима Туле», написанном по-русски еще в 1940 году, Набоков изобразил человека, по имени Фальтер, который получил *подлинное знание* или *Знание* — *извне*, из чего-то внешнего этому миру (не то что бы «свыше», но — не отсюда). Из той сферы, где вся истина этого мира — песчинка. Но сам Фальтер со своим телом и интеллек-

том является как бы миллиардной частицей этой песчинки и гибнет от необъятности полученного знания. Здесь знание существует объективно, но получено — *индивидуально*. Во фрейдизме, как и в марксизме, знание есть сама объективная действительность, но *коллективно* отражаемая и передаваемая. Врач и пациент — уже коллектив, так же, как следователь и допрашиваемый, палач и жертва, и т. д.

Почти одновременно по эпохе (с разницей в одно «писательское» поколение) и совсем в другом смысле и духе относятся к знанию герои Кафки — Иозеф К. и Землемер. Они просто *не знают*. Вообще-то, может быть, *кто-то* там и знает, но об этом можно только догадываться. Незнание этих двоих есть другая сторона их вины. Или ее причина? Или следствие? Или условие? — но ни в коем случае не смягчающее обстоятельство. Кафка — тоже «антифрейдист», но только объективно. Набоков же смотрит на Фрейда, как на «Сократа навыворот», говорящего «познай самого тебя» или «я знаю, что ты ничего не знаешь». У Набокова проблемы вины просто нет. Ни в мистическом смысле, ни даже в этическом. Кто знает, тот сам и будет платить, и притом — за собственное несчастье. Поэтому Хамперт Хамперт в «Лолите» не оправдывается и не жалуется. Просто объясняет, как знает. Поэтому и счастья здесь не подразумевается, как и вообще конечного результата попыток и усилий. Поймать редкую бабочку — это прелесть, очарование. Вообще само это занятие — счастье. Но оно всегда относится как бы к другому времени и месту, где в данный момент я не присутствую. Иозеф К. и Землемер жалуются, оправдываются и стремятся к цели (в первом случае цель — оправдание). Это — от незнания. Несчастье здесь подразумевается как достижимость результата.

Может быть, в самом деле, дело тут только в этом одном поколении, отделяющем Набокова от ге-

роев Кафки, которые существуют еще в обществе, точнее, в общине. Через нее на них действуют какие-то неведомые им силы. К ней они стремятся, в ней гибнут. Всё, что происходит в «Процессе» и «Замке»: действительность и кошмары, добро и зло — всё это совершается в едином монотеистическом мире, и даже отвержение Бога (как и эпизодически, на ходу совершаемые прелюбодеяния) ничего не меняет в единстве и целостности этого мира. Мир набоковского знания раскрыт наружу, а внутри четко расчленен, аналитичен. Никакой общины. Вместо нее — *цивилизация вещей*, которой противостоит... *мысль человека*. Кафкианского смутного противостояния Богу здесь нет.

Я думаю, что дуализм набоковского мироощущения и выражается прежде всего в этом постоянном подчеркивании различия между мыслью человека и вещами, сделанными людьми или так или иначе очеловеченными. Грубо говоря, все эти вещи и можно было бы назвать «цивилизацией», хотя это и не полностью верно. Не полностью, потому что цивилизация — это понятие объективное, в то время как то, что отличает мысль от вещи у Набокова, обычно (хоть и не всегда) — субъективно. И это субъективное выступает у Набокова как *чуждость*. А всё, что чуждо мышлению, есть вещь. Мир вещей у Набокова *динамичнее*, сколь это ни парадоксально, чем мир мысли: не только неживые предметы, но и всё одушевленное, включая души людей, переходит в него, когда становится чужим *моему* мышлению. Мышление *статичнее*; оно остается самым собой, развертываясь (скорее чем «развиваясь») по своим собственным, т. е. субъективным законам. Оно *субъективно* не меняется. Меняется лишь *объективное* соотношение между мышлением и вещами, которое зависит от вещей. Но об этом — потом. В «Защите Лужина» эта идея присутствует еще, так сказать, в «коконе психологии», в невероятно сложном хитросплетении лужинского и авторского —

их нельзя отождествлять — отношений к игре, т. е. к творчеству как к игре.

Игра бесцельна, как аналог неосознанного бытия, и оттого дурна. Это она превращает Лужина в монотоманьяка, а Валентинова в его демона. Но Лужин хочет познать игру саму по себе, вне ее внешних целей — выигрыша, например. Оттого Валентинов становится настоящим демоном, ибо, с одной стороны, он — дьявол-соблазнитель (ему нужен лужинский выигрыш, т. е. цель), хотя с другой — он возвращает Лужина к познанию, осознанию им единственной его действительности — шахмат в их божественном бесцельном приближении к бытию. Психология — здесь монотомания Лужина — только оболочка для игры двух безличных сил: мышления и жизни. Жизнь побеждает личность шахматиста — он совершает самоубийство. Но его мышление побеждает жизнь. Он ей «не дался живьем» (как Григорий Сковорода со своей эпитафией), со своим гностическим внутренним аскетизмом. (Вообще я думаю, что главное отличие христианского гностицизма от христианства лежит в их отношении к жизни, а не к человеку или Богу.) Вещи мира окружают Лужина, но он не понимает, зачем, т. е. он не занимается пониманием этого. Вещи не враждебны его мышлению — если бы это было так, то Набоков был бы романтиком или психологистом, чем он никак не был. Мышление само отталкивается от вещей — тоже не из враждебности, а из-за чуждости его природы этим вещам. Но так жить нельзя — ни в жизни, ни в романе; чтобы жизнь возникла, нужна хотя бы одна вещь, в которой мышление (не «душа» — говоря о Набокове, лучше быть осторожнее) могло бы получить минимальный *опыт отношения* к миру. Его мышление наткнулось на шахматы — доска и фигуры стали пространством мышления, полем опыта. Перестали быть вещью и стали мышлением. Так можно включить в мышление целый мир, превратив его в

одну вещь. Для Лужина одна вещь стала миром. Как для Хамперта Хамперта... Лолита.

Модернизм романа несомненен, но он — не в рефлексивности героя и не в откровенности эротических сцен. В первом моменте обладания Лолитой — а всё *движение* романа, написанного в английской традиции путешествия, есть стремление вернуться к этому исходному моменту — Хамперт Хамперт находит тот «фокус вещности» для своего мышления, благодаря которому оно само становится для него реальным. А дальше происходит, как всегда, потеря. Убегая, скрываясь, он ловит Лолиту (как чудесную бабочку во сне), алча в ней «чистую вещь», «только вещь» и панически боясь, что она исчезнет в цивилизации баров, автомобилей и бетонированных дорог, сольется с *другими* вещами. Заметим, современная цивилизация не бездушна, как думают одухотворенные пошляки, ругающие ее вместе с модернизмом. Это у нас нехватает души, чтобы ее одухотворить. Модернизм мышления Набокова в Лолите (слово «модернизм» здесь вполне заменимо словом «гений») — в кошмарном противоречии мышления Хамперта Хамперта; Лолита для него вещь, ей отказывается в одушевленности, и одновременно, как вещь, она не может полностью принадлежать его мышлению, отказывающему ей в одушевленности (само имя Лолита на санскрите означает «возбужденный желанием», а другое слово от того же корня, Лалита, — «любовная игра»). Философски, сюжет романа — «антипигмалион»; одушевленное превращение в вещь для обладания... мышлением (с чисто буддистической точки зрения, такой эксперимент возможен и оправдан, только если он производится с самим собой). Лолита — это бабочка, которая одно мгновение — душа, другое — вещь. Мышление здесь не найдет промежутка между ними или — чего-то третьего, лежащего как бы в ином измерении, нежели оно само и противопостав-

ленные ему вещи. Но, чтобы найти это «третье», надо отказаться от того привычного дуализма мышления и вещей, который гораздо раньше, в «Приглашении на казнь» (по Э. Филду — «самый философский из всех романов Набокова»⁴), был доведен до полной натуралистичности — почти как в современном фантастическом романе. Вещи остались материальными, но их материя утонилась, изветшала до того, что они стали как бы проникаемыми — так изменилась материя в «процессе мира» (обо всем этом прекрасно сказал Георгий Адамович, отметивший в своем предисловии к роману «гностический» характер этой идеи). Но что особенно важно, наше собственное умственное бытие оказывается зиждящимся на очень хрупком балансе между состоянием материи и мышлением (последнее как бы не имеет состояния). Этот баланс зависит таким образом не от мышления, а от материи, от — скажем так, степени ее тонкости и текучести. Поэтому катастрофа цивилизации не предвидится (мы привыкли думать «революционно», считая, что думаем «эволюционно»). Просто предметы и даже места теряют свою определенность в отношении мышления, превращаются одно в другое. Так, позднее, в романе «Ада», куски России, которая не Россия, «прививаются» к Америке, которая тоже не Америка. Так, еще до «Ады» в удивительном рассказе «Solus Rex» сама идея «переделывания природы» (сумасшедший прожектор превращает равнину в плато и затем кончает самоубийством) является не симптомом прогресса, а симптомом вырождения жизни.

Ну, хорошо. Мышление остается мышлением. А что же происходит у Набокова с «я» и его судьбой, с истиной и ее знанием? Это возвращает нас к фантастическому рассказу «Ультима Туле», где такой примерно вопрос Синеусов задает всезнающему Адаму Ильичу Фадьтеру. Ответ последнего, если дать его в предель-

но сконцентрированном виде, будет выглядеть примерно следующим образом.

1. Истина, вернее, знание о ней не содержится в субъективном мышлении отдельного человека, но существует в своей полноте *объективно*, будучи в отношении мышления рассеянной, разбросанной, подобно мельчайшим осколкам разбитого сосуда.

2. Соединение этих осколков, фрагментов истины в *одно знание* есть Случай, вероятность которого ничтожно мала. То есть для этого, очевидно, необходимо наличие, по крайней мере, двух условий: чтобы налицо были *все* осколки и чтобы они сложились вместе *единственно* правильным образом. Можно думать, что состояние и качество мышления данного человека играет в этом деле лишь второстепенную или косвенную роль. Ну, скажем, как умение человека играть в азартные игры. Или поставим вопрос так: «не совсем умение» играть в «не совсем азартную» игру. Синеусов недаром делит людей на любителей и профессионалов — к первым он относит Фальтера и самого себя. Лужин-шахматист, как и Набоков-энтомолог, — тоже «недопрофессионалы», ибо для них *это* — «не совсем наука» и «не совсем занятие» (чтобы не сказать — спорт), а более игра как таковая.

3. Как случай, это Знание неопределимо в терминах исключенного третьего. Своим вопросом, требующим «да» или «нет», мы уничтожаем ответ. Знание есть ответ на *незаданный* вопрос. Таким образом, получить ответ на вопрос, скажем, «есть ли жизнь после смерти?» — невозможно, ибо он ложно содержится в самом вопросе. Но можно задать совсем другой вопрос (или не задать) и получить совсем другой ответ. Но и задать такой вопрос — дело случая. Поэтому задавать вопрос о *своей* судьбе *бессмысленно*, ибо мы не знаем, ни о *чьей* судьбе идет речь, ни о *чем* своем.

4. Знание Фальтера не есть знание о всём *одновременно*. Просто всякий раз, когда задается *правильный* вопрос (что тоже, напомним, дело случая), он может дать на него абсолютно правильный ответ, как будто в его распоряжении есть гигантский словарь таких ответов; он их не знает все наизусть и заранее, но может мгновенно найти нужные.

5. Мышление человека не может вынести объективности Знания, ибо (или — пока) оно работает внутри субъективной человеческой психики. Точнее, мышление может, но психика не может. Оттого случайная встреча с Истиной психически губительна, так же, как и физиологически, биологически⁵.

Таким образом, человеческая Игра — почти полностью проигрышна. Набоковский герой либо погибает от своей определенной мании (шахматы Лужина, страсть к женщине у почти всех других), когда его мышление намертво вверчено в одну-единственную вещь, либо — он умирает от случайно «пойманной» его мышлением Истины, с которой не в силах совладать субъективность его тела и души. Но где судьба? В неувиденном узоре ковра? В непрослеженном полете бабочки? И не тот ли она момент, где вещь и мышление перестают мыслиться как разное? Набоков не отвечает. Но вернемся к тому, с чего начали. Набоков в своих романах и рассказах не смотрит на судьбу прямо, в упор (как на прямой вопрос — здесь не получишь ответа). Что-то можно заметить лишь где-то на краю зрительного поля. «Философия бокового зрения» — так я называю его философское мироощущение. Для этого надо все время отодвигаться в сторону. Так, отстраняясь, он начинал видеть Лужина, но развилась эта «привычка» гораздо позднее (в «Даре» она незаметна). Может быть, то, что отъезд семьи его «отодвинул» от России, было первым шагом, а его произвольный переход от русского к английскому — вторым. Нелегко отыскать в двадцатом веке другого рус-

ского писателя, которому было столь глубоко чуждо чувство трагедии, как Набокову; трагическое — результат прямоты взгляда. А если взглянуть «сбоку», то обнаруживается что-то, смысл чего еще не найден. Это — только место, за которым его можно искать. А когда найдешь — случайно, конечно, — то может оказаться, что нашел не то, что искал. То есть смысл может оказаться ответом, никогда не содержавшимся в вопросе.

¹ «Одно слово о К». Из предисловия Набокова к «Ультима Туле». V. Nabokov. *A Russian Beauty and other tales*, London, Penguin Books, 1975, p. 139.

² «Я так понимаю, фрейдисты уже уходят в прошлое». Там же, стр. 140.

³ Andrew Field. *Nabokov: his life in part*, NY, 1977.

⁴ A. Field, p. 208.

⁵ Этот мотив был в точности повторен в книге сэра Фреда Хойла «Черное облако», вышедшей через пятнадцать лет после опубликования «Ультима Туле» на русском и за 14 лет до перевода этого рассказа на английский. Я не думаю, чтобы здесь было заимствование. Скорее — конгениальность знаменитого британского астронома. Fred Hoyle. *The Black Cloud*, London, 1977 (1957), p. 208-216.

Литературный архив

ПЕРЕПИСКА БОРИСА ПАСТЕРНАКА С ТОМАСОМ МЕРТОНОМ

*Публикация, предисловие и перевод англ. текстов
В. Пруссакова*

ТОМАС МЕРТОН И БОРИС ПАСТЕРНАК.
ДУХОВНОЕ СРОДСТВО

Американский траппистский монах Томас Мертон был одним из самых значительных духовных писателей XX века. Одну из его книг — «The Seven Storey Mountain» («Семиярусная гора») относят к современной духовной классике и даже сравнивают с «Исповедью» св. Августина. К настоящему времени книги Мертона переведены более чем на 20 языков народов Востока и Запада. Однако русскому читателю имя «болтливой трапписта» практически неизвестно. Правда, недавно эмигрировавший из СССР бывший политзаключенный, литературовед Евгений Вагин сообщил автору этих строк, что ему довелось читать самиздатский перевод одной из книг Мертона ... в лагере. Этот факт, пожалуй, довольно симптоматичен и показывает, что творчество американского трапписта вызывает интерес в духовно пробуждающейся России.

Надо сказать, что популярность Мертона в разных странах, особенно в Америке, не является данью какой-то быстропреходящей моде, а вполне закономерна, ибо монастырские стены не сделали его далеким от жизни анахоретом, а скорее наоборот, помогли ему лучше понять и полюбить всех людей. Мертон всегда живо откликался на важнейшие события современной политической и литературной жизни. Он проявил себя

активным борцом за мир и за гражданские права. Его голос был слышен как в Америке, так и далеко за ее пределами. Кое-кто даже говорил, что «траппист занялся не своим делом». В одном из писем Мертон четко изложил свою социальную позицию и как бы ответил всем тем, кто обвинял его во «вмешательстве в дела мирские»:

«Я против войны, насилия, насильственной революции, — за мирное устранение разногласий, за ненасильственные, но, тем не менее, радикальные изменения. Изменения необходимы, но насилие не может реально что-нибудь изменить. Самое большее, что оно может сделать: передать власть одних бычьеголовых другим. Я говорю обо всем этом совсем не потому, что больше интересуюсь политикой, чем Евангелием. Это вовсе не так. Но сегодня, больше чем когда-либо, преданность Евангелию подразумевает причастность к политике, так как Вы не можете быть «за Христа» и в то же время проявлять бездушное равнодушие к нуждам миллионов человеческих существ или даже содействовать их уничтожению».

Мертон необычайно чутко реагировал на любую несправедливость, в особенности его возмущали попытки подавления человеческого духа и свободомыслия. В 1958 г., в разгар антипастернаковской кампании в СССР, Томас Мертон выступил в защиту травимого советскими властями поэта: он написал открытое письмо тогдашнему председателю Союза советских писателей Алексею Суркову. В этом письме, в частности, говорилось:

«Неужели Вы, коммунисты, неспособны видеть, как великая книга («Доктор Живаго». — В. П.) прославляла Россию? Можете ли Вы понять, что эта книга побуждает весь мир любить, восхищаться и почитать русский народ, который с небывалым героизмом несет тяжелую ношу, возложенную на него историей. Если Вы наказываете Пастернака, то делаете это лишь по-

тому, что не любите ни Россию, ни человечество, а преследуете исключительно интересы политического меньшинства.

...Я пишу Вам как друг, а не как ненавидящий Вас враг. К русскому народу я чувствую величайшую, искреннейшую любовь и безграничное восхищение. К теперешним же руководителям России не испытываю ни ненависти, ни страха, а одну только печаль».

Следует заметить, что поэзию Пастернака Мертон узнал, полюбил и ощутил необыкновенно близкой себе еще до знакомства с «Доктором Живаго». Именно поэтому-то в августе 1958 г. он написал свое первое письмо Пастернаку, после чего между ними завязалась переписка. Всего было шесть писем: три со стороны Мертона и три от Пастернака. Письма Мертона преисполнены самой искренней и горячей любви к нашему великому поэту; ответные же письма весьма лаконичны, и на них лежит печать какой-то непонятной, на первый взгляд, скованности. Почему? Чем объясняется эта скованность? Может быть, Пастернак пренебрегал перепиской с католическим монахом из далекого Кентукки, считал ее ненужной тратой времени? Нет, с полной уверенностью можно сказать, что все обстояло иначе. Поэт испытывал глубочайшую благодарность к Мертону за его письма, но, живя последние годы в условиях строжайшего полицейского надзора, он был вынужден соблюдать чрезвычайную осторожность в переписке. О том, что это именно так, красноречиво свидетельствует следующий отрывок из письма Пастернака к его немецким друзьям Курту и Елене Вольф:

«...Я беспредельно благодарен Вам ...за два письма от Томаса Мертонна... Он писал мне, а также послал свою поэму «Прометей». Я ответил ему дважды, хотя и кратко, но вовсе не уверен, что мои письма дойдут до него. Поэтому, пожалуйста, как можно скорее, передайте ему мою благодарность за безграничное

великодушие и доброту ко мне. Скажите ему, что, за исключением некоторых преувеличений (Пруст, западная литература и т. д.), его безошибочное понимание и способность проникновения в сущность моего творчества кажутся совершенно невероятными».

В 1978 г. исполняется десять лет со дня трагической гибели Томаса Мертона в Бангкоке (погиб из-за прикосновения к неисправному электровентилятору) и двадцать лет со дня первого издания романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

Публикация писем русского поэта и американского католического монаха, ощущавших подлинное духовное сродство, посвящается их светлой памяти.

Валентин Прусаков

ПИСЬМА ТОМАСА МЕРТОНА БОРИСУ ПАСТЕРНАКУ

Первое письмо

22 августа 1958 г.

Дорогой Борис Пастернак,

Нас разделяет огромное расстояние и разного рода барьеры, но мне доставляет огромное удовольствие сказать, что я чувствую подлинное духовное сродство с Вами. Мы — оба поэты: Вы — великий, а я — очень незначительный. Нас издает в Америке одно и то же издательство — «Новые Пути». По крайней мере, нашу поэзию; Ваша же проза выходит в «Пантеоне», а моя — в другом издательстве.

Я не имел еще удовольствия читать Вашу недавно вышедшую автобиографию, хотя знаком с ранней — «Охранной грамотой», произведшей на меня сильнейшее впечатление. Возможно, что это явится для Вас

сюрпризом, если я откровенно признаюсь, что, судя по Вашим произведениям, Вы мне более близки, чем кто-либо из современных великих писателей Запада. Мне кажется, что я разделяю Ваш опыт более глубоко и интимно, чем опыт других писателей, как, например, Джойса, которого, тем не менее, очень люблю и хорошо понимаю. Но когда Вы пишете о Вашей юности на Урале, в Марбурге, в Москве, то я ощущаю ее как свою собственную, как если бы Вы и я были одним и тем же лицом. С другими я могу разделять идеи, с Вами же мы связаны чем-то более глубоким. Будто бы мы встретились на том уровне, где личности уже не являются раздельными существами. На языке, близком мне — католическому монаху, как если бы мы знали друг друга в Боге. Для меня это очень простое и ясное выражение, и я не чувствую никакой потребности извиняться за него. Убежден, что Вы отлично понимаете меня. Безусловно, личность всегда остается личностью и отделена от другой. Но в равной степени правда и то, что каждой личности предназначено достигнуть такого понимания и единства с другими личностями, в которых совершается переход за пределы индивидуальности. Подобное состояние русская традиция называет соборностью.

Мне доставляет удовольствие послать Вам книгу моих стихов в прозе — «Прометей», недавно напечатанную частным образом. По крайней мере, Вам понравится красивое издание. Надеюсь, что книга дойдет до Вас. Я пишу на адрес Вашего загородного дома, вблизи Москвы, о котором мне довелось недавно читать в английском журнале. Если Вы получите лишь письмо и не получите книги, то, пожалуйста, дайте мне знать об этом. Тогда попытаюсь еще раз.

Я собираюсь начать изучать русский язык, для того чтобы знать русскую литературу в оригинале. Предпочел бы читать Ваши произведения по-русски, хотя, вероятно, пройдет много времени, прежде чем

станет возможным это осуществить. То, что мне приходилось читать из современных русских поэтов в переводе, — очень стимулирует к изучению языка. Я люблю Маяковского и очень интересуюсь Хлебниковым. Что Вы думаете о нем? Блока, конечно, я нахожу также интересным. Что Вы скажете о новых поэтах? Есть ли хорошие среди них? Кого бы Вы могли рекомендовать? Известно ли Вам о многих прекрасных поэтах в Латинской Америке? В частности, я отношу к ним великого негритянского поэта Бразилии Хорхе да Лима. Чилиец Неруда, возможно, известен в СССР, и полагаю, что Вы знаете его.

Дорогой Пастернак, как приятно писать Вам и благодарить за Вашу прекрасную поэзию и великую прозу! Голос, подобный Вашему, имеет громадное значение для всего современного человечества. Советские вожди, вероятно, не в состоянии полностью понять Ваше значение для России и всего мира. Что бы ни случилось в дальнейшем, я верю, что люди, похожие на Вас (и надеюсь, на меня!), также могут иметь шанс участвовать в диалоге, что реально приведет к эре мира и благоденствия для всех. Основа для подлинного мира и благоденствия — духовные реальности, к которым Вы имеете доступ, а другие еще не имеют.

Эти духовные реальности превыше всего, ибо в них суть. В подтверждение и свидетельство этого, жму Вашу руку с искренней дружбой и восхищением. Я всегда помню Вас в моих молитвах и прошу Божьего благословения для Вас.

Братски Ваш во Христе

отец Луи Мертон
*(Fr. Louis Merton)**

* Fr. Louis — так называли Мертон его братья по монашескому ордену.

Второе письмо

23 октября 1958 г.

Дорогой Пастернак,

Получил два Ваших письма. Они дали мне повод для многих размышлений. Чего стоит лишь сам факт нашей переписки! В то время, когда наши страны не могут относиться друг к другу серьезно и откровенно, но тратят миллионы на средства сообщения с Луной... Большое дело для человека в наше время заключается в нахождении себе подобного на другом конце планеты. Только благодаря таким контактам может установиться мир, может сохраниться и развиваться духовность жизни, а образ Божий проявлять себя в мире.

После моего первого письма я получил и прочел книгу, изданную «Пантеоном». Это было чрезвычайно благодарное чтение. Прежде всего, меня поразило огромное количество Ваших высказываний, что могли бы быть написаны мною и, действительно, вероятно, написаны. Вот лишь один пример, взятый буквально наугад. Мною написана книга о духовном искусстве, в которой одна из основных мыслей следующая: «Подлинное искусство напоминает и продолжает Откровение св. Иоанна». Для меня это настолько очевидно, что я со всей серьезностью спрашиваю: много ли подлинно религиозных произведений искусства дала эпоха Возрождения?.. Однако хватит, не хочу задерживаться на этом.

Ваша книга — целый мир: рай и ад, где мистические фигуры Юрия и Лары стоят подобно Адаму и Еве и проходят сквозь тьму, ведомые Всевышним. Земля, по которой они идут, освящена ради них. Это святая земля России, с ее восхитительной судьбой, остающейся таинственной и скрытой в Божьих замыслах.

На меня произвел особенно большое впечатление прекрасный и трогательный отрывок, в котором описывается, как Юрий, лежа в другой комнате, слушает религиозный разговор Лары с какой-то женщиной. В этом отрывке, словно в спокойной точке в центре вихря, при слабом свете лампы, истина говорит тихими голосами со всей полнотой.

Трудно вообще что-либо предпочесть в Вашей книге. Через всю нее проходят необъятные волны красоты, поглощающие читателя подобно только что открытому морю. Благодаря Вам я полюбил Урал. Восхитительно путешествие на Восток. Интересно и то место, где говорится о партизанах... Конечно, я нахожу, что в книге чересчур мало о дяде Николае и его взглядах. Это моя единственная жалоба и, может быть, несправедливая, так как идеи дяди Николая сказываются во всем, что происходит.

Прав ли я, предполагая, что по своей сути Ваша книга очень близка «Смыслу любви» Соловьева? Имеется большая схожесть. Обе книги напоминают нам, что мы должны бороться, никогда не довольствуясь сделанным, и что основная наша работа еще впереди — работа преобразования, которая есть работа любви, и только любви. Нет нужды говорить Вам, что я принадлежу к тем, кто пытался глубоко вникнуть в «Великого Инквизитора» Достоевского, и убежден, что в нем — самый важный урок для нашего времени. Важный как там, так и здесь; и равно повсюду.

Можно ли признаться Вам, что я знаю Лару, встречал ее? Это достаточно простая история, но понятно, что я не рассказываю ее всем, — Вы четвертый, кто узнает ее, и, мне кажется, в данном случае не должно быть места ложной осмотрительности, сдерживающей меня, ибо ясно: у нас так много общего.

Однажды ночью приснилось, что я сижу с юной еврейской девушкой 14 или 15 лет и что она, проявив неожиданно сильное и чистое чувство ко мне, обняла

меня так, что я был тронут до глубины души. Я узнал ее имя — Proverb, показавшееся очень простым и красивым. Затем подумал: «Она из рода св. Анны». Назвал ее по имени, но она, казалось, совсем не гордилась им, ибо другие девушки насмехались над ней. Я же сказал ей, что это — очень красивое имя, но тут сон оборвался. Несколько дней спустя мне пришлось быть в ближайшем городе (что крайне редко для нас!), я шел по людной улице, и вдруг увидел: в каждом была Proverb, сиявшая необыкновенной красотой и непорочностью. Хотя люди и не знали, кто они, и, возможно, даже стыдились своих имен. И не знали они, что каждый из них, в сущности, есть Дитя, столь дорогое Богу, сущее прежде начала всех времен и продолжающее пребывать в мире.

Итак, Вы посвящены в скандальную тайну монаха, влюбленного в девушку, и к тому же еврейку! Никто не может ожидать многого от монахов в наши дни. Героический аскетизм прошлого больше не существует.

Я счастлив, что Вам понравились лучшие места «Прометей». Недавно послал некоторые другие свои поэмы, которые не стоят высоко в духовном смысле, но, может быть, Вам понравятся сами стихи. Впрочем, трудно производить разделение между духовностью и искусством, так как думаю, что все, исходящее от духовной личности, — духовно в своей основе. Вот поэтому-то не принимаю всерьез Вашего отречения от Ваших ранних произведений. Правда, они не достигли зрелости поздних работ, но содержат множество их зерен. Например, меня глубоко тронуло описание цветочного погребя в «Охранной грамоте», который, подобно всему в жизни, глубоко символичен.

Попытаюсь послать Вам мою автобиографическую книгу «Знак Ионы», содержащую множество размышлений о монашеской жизни. Возможно, они

заинтересуют Вас. Издательство «Новые Пути», вероятно, пошлет также какую-нибудь книгу моих стихов, но они, увы, не слишком хороши.

Теперь, кажется, приближаюсь к завершению письма. Писать же Вам и слышать что-то от Вас — огромное удовольствие. Как и прежде, вспоминаю Вас в своих ежедневных молитвах, а одна из моих Рождественских месс будет посвящена специально Вам.

Между тем, дружески жму руку и молю Св. Богородицу дать свет, мир и силу Вашей душе. Да хранит Вас во все времена Ее Святое Дитя.

Преданный Вам во Христе

о. Луи Мертон

Третье письмо

15 декабря 1958 г.

Дорогой Пастернак,

Вот уже долгое время я слежу за вздорной шумихой вокруг Вашего имени, поднятой по всему миру. Для меня было огромным облегчением косвенным образом узнать от Вас, что постепенно все вновь начинает приобретать подобие здравого смысла. Вы, как Иов, были окружены лжеутешителями, но, в отличие от него, не тремя или четырьмя, а целым сонмом сумасшедших. Однако, кажется, только несколько человек смогли понять написанное Вами. Что может быть более нелепым и абсурдным, чем превратить в политическое орудие книгу, которая со всей определенностью выступает против любых попыток разрушения человека в его духовной основе? Тем не менее, такова судьба, вероятно, любого свободного человека, живущего в нашем глупом и гниющем мире, но,

по-видимому, подобное положение является не всегда приятным.

Когда я услышал о деле с присуждением Вам Нобелевской премии, то, прежде всего, написал письмо Суркову, в Союз писателей, в котором говорил от имени всех тех, кто понял, что Ваша книга не политический памфлет и не намеревалась им быть, но великое произведение искусства, и что советская Россия должна ею гордиться. Я не знаю, принесло ли какую-либо пользу мое письмо. Кстати, у нас здесь нет ни газет, ни радио, и совершенно случайно или, скорее, лишь по воле Провидения, я услышал столь скоро об этом деле.

Мне трудно сказать, что может случиться в дальнейшем. Если же будет поставлен вопрос об экранизации «Доктора Живаго», я бы советовал Вам не придавать этому никакого значения, еще лучше — воспротивиться такому плану. Кинофильмы теперь очень плохие, и я всегда настойчиво сопротивляюсь любой попытке использования какой-либо из моих книг для постановки фильма. Конечно, я не самый лучший знаток, но нет никакого сомнения в том, что голливудская продукция «Доктора Живаго» должна принести больше вреда, чем пользы, во всех отношениях.

Я постоянно молюсь за Вас, а вместе со мною молятся молодые послушники — юные и чистые души, которые знают Вас и которые были глубоко тронуты Вашим замечательным стихотворением о Христе в Гефсиманском саду. Мы будем продолжать молиться за Вас.

Не допускайте, чтобы друзья или враги беспокоили Вас слишком много. Я надеюсь, что Вы избавитесь от разного рода помех и продолжите Вашу великую работу, столь необходимую всем. Может быть, Вы вновь обретете глубокое внутреннее спокойствие, которое является источником истины, окном, обращенным к Вечности и Богу. Это то самое удивительное

спокойствие, когда Юрий писал свои поэмы, в то время как волки завывали кругом; есть нерушимое царствие мира, крепость в глубинах нашего существа — девственность души, в недрах которой мы, подобно Благословенной Деве Марии, даем храбрый и смиренный ответ жизни, то «Да», что приносит Христа в мир.

Я не могу удержаться от того, чтобы не напомнить Вам об Аврааме — о его смехе и смятенном состоянии, когда Бог сказал ему, что он, столетний старик, должен стать отцом великой нации и что из его тела, почти мертвого, должна прийти жизнь всему миру. Вершина свободы в этом смехе, в котором есть таинство воскресения, чистая наивность души, освобожденной Богом от собственного ничтожества. Вот что Филон Александрийский сказал об этом:

«Обличая нас, столь гордых и жестоковыхных по малейшему поводу, Авраам падает ниц, смеясь в глубине души: печаль на его лице, но смех внутри. У мудреца, получающего сверх ожидания, оба состояния одновременны. В падении ниц — сознание ничтожества своего смертного существа, смиряющее гордыню. Он смеется, потому что только Сам Всевышний — добро и источник даров, укрепляющих набожность. Дайте созданию Божьему пасть ниц: этого требует природа. Затем дайте ему встать и смеяться ради Бога, ради Того единственного, Кто его опора и наслаждение».

Я желаю Вам такого смеха в любой печали, возможной в Вашей жизни. Курт В. (Курт Вольф — друг Пастернака и первый издатель «Доктора Живаго» в Америке. — В. П.) послал мне *Essais Autobiographiques*, и я читаю их с большим удовольствием. В ответ я посылаю Вам мою книгу, также автобиографического характера, — «Знак Ионы». Надеюсь, что она быстро дойдет до Вас. «Новые Пути», вероятно,

пошлют книгу моих стихов, которыми, по правде сказать, я не очень горжусь.

Изучаю понемногу русский и был бы весьма благодарен Вам, если бы Вы помогли мне достать какие-нибудь не слишком сложные русские книжки для чтения. Есть ли на русском книга о святых? Кто-то высказал мнение, что их жизнеописания проливают свет на характер Ваших героев. Как бы там ни было, я не знаю ничего о русских святых, за исключением, конечно, св. Серафима Саровского. Меня очень интересует борьба между св. Нилом и Иосифом Волоцким, и полагаю, что Вы догадываетесь, почему.

Надеюсь, что это письмо дойдет до Рождества и принесет Вам мои благословения и самые искренние дружеские чувства. Одна из моих Рождественских месс будет посвящена Вам и Вашей семье; и духовно я буду праздновать с Вами, в свете Божественного Дитяти, который входит, робко и молча, в самую среднюю тьмы и превращает зимнюю ночь в Рай для тех, кто, подобно пастухам и смиренным волхвам, приходит туда, где никто не ожидает найти Его: в повседневность и скудость обычного человеческого существования.

Преданный Вам во Христе

о. Луи Мертон

ПИСЬМА БОРИСА ПАСТЕРНАКА ТОМАСУ МЕРТОНУ

Первое письмо

27 сентября 1958 г.

Дорогой друг,

Благодарю Вас от всего сердца за Ваше теплое, необычайно близкое мне письмо. Оно настолько полно родственными мне мыслями, что, кажется, наполовину написано мной самим.

Меня только огорчает, что Вы уделяете много внимания «Охранной грамоте» и моей ранней поэзии и прозе. Они не заслуживают Вашего интереса. Роман же, вышедший в «Пантеоне» («Доктор Живаго». — В. П.), напротив, возможно, стоит того, чтобы Вы его прочитали.

Ваш «Прометей» еще не дошел до меня. Я с удовольствием прочту эту поэму. Но не будьте нетерпеливы к моему ответу. У меня часто имеется слишком много писем, на которые нужно отвечать.

Я благодарю от всей души за Ваши молитвы, и желаю Вам здоровья и сил для доброй жизни и добрых дел.

Я не подписываю письма для того, чтобы оно имело больше шансов дойти до Вас.

Переделкино

Второе письмо

3 октября 1958 г.

Дорогой Мертон, благодарю Вас за «Прометея» и за доброе, незаслуженное мною посвящение. Я получил книгу вчера. Думаю, что строфы четвертая и седьмая — наиболее удачны, в последней же — восхитительное личное осязание Христовой мудрости.

Я пользуюсь возможностью еще раз повторить Вам, что за исключением «Д. Ж.», который стоило бы прочесть, все остальные мои произведения лишены какой-либо значимости. Основную часть моих зрелых лет я отдал Гете, Шекспиру и другим трудоёмким и объёмным переводам.

Благодарный Вам

Б. П.

Третье письмо Пастернака

7 февраля 1960 г.

Любезнейший Мертон,

Τό κήρυγμα ὑμέτερον ἀναννώομαι ὡς τάχιστα. (Приблизительный перевод с греческого: отвечаю на Ваше воззвание так скоро, как только могу. — В. П.) Чрезвычайно благодарен за то, что Вы даете мне такое неисчерпаемое, изумительное чтение на ближайшее будущее. Я снова обрету себя после длительного и продолжающегося еще периода писания писем, скучных хлопот, бесконечных стихотворных переводов, бессмысленной траты времени и самоукоров из-за невозможности продвинуться в уже наполовину начатой, много раз прерываемой, почти недосыгаемой новой рукописи.

Благодарю Вас еще более за извинение моего долгого молчания; сердечная слабость и вялость лежит в основе моего печального состояния, пребывая в котором, будучи смертельно перегружен и постоянно страдая от недостатка отдыха и личного времени, я погибаю от вынужденной непродуктивности, которая хуже, чем совершенная бездеятельность.

Но я поднимусь, Вы увидите это, возьму себя в руки, и однажды вновь заслужу и обрету Ваше замечательное доверие и снисходительность.

Любящий Вас

Б. Пастернак

Не пишите мне, не смущайте меня Вашей безграничной щедростью. Следующая попытка возобновить переписку будет исходить от меня.

29 октября 1958 г.

Уважаемый г-н Сурков!

Я пишу это письмо как искренний друг литературы. Пишу, полагая, что Вам, как и мне, небезразлично будущее человека и что для нас обоих имеют огромную важность основные человеческие ценности, несмотря на различие средств, с помощью которых мы беремся охранять их. Я знаю, что для Вас литература и политика неотделимы, но уверяю Вас, что мое письмо не имеет никакого отношения к политике. Сам же я, и это вполне очевидно, совсем не политический писатель. Говорю об этом лишь по той простой причине, что Вы, вероятно, знаете немного или вообще ничего не знаете обо мне. Я намерен написать объективное и беспристрастное письмо о деле большой важности как для нас обоих, так и для наших народов.

Для того чтобы Вы не думали, будто я имею какое-то неосознанное политическое пристрастие, скажу Вам откровенно: мне не слишком трудно поверить в то, что капиталистическая система будет со временем заменена другой, и я не буду слишком горевать, если это произойдет. Лично я против любой формы насилия, где бы оно ни проявлялось: в войне, революции или политическом терроризме; не имеет значения кто совершает насилие, как не имеет значения и во имя каких «высоких» целей оно совершается. Я выступаю за мир, справедливость и права каждого человека: гражданина, рабочего или, в данном случае, писателя.

Я обращаюсь к Вам от имени бесчисленных западных интеллектуалов, не терявших на протяжении многих лет надежды, что им все-таки доведется прочесть великое произведение, вышедшее из современной России. Я обращаюсь к Вам как один из тех, кто испытывает самое искреннее восхищение перед величайшим

богатством русского литературного наследия. Но я также обращаюсь и от имени тех, кто был неоднократно разочарован неудачными попытками современных русских писателей осуществить большие надежды, которые на них возлагались и которые были вызваны великими писателями прошлого.

Именно поэтому с чувством огромной радости и глубокого уважения многие приветствовали последнюю работу Пастернака, где столь выразительно показаны героические страдания русского народа, его сражения, жертвы и достижения. В присуждении этой работе Нобелевской премии, безусловно, нельзя видеть лишь простой политический трюк. В высокой оценке произведения Пастернака выражено, прежде всего, восхищение мира русским гением, являющимся достойным продолжателем великого Толстого.

Почему Вы думаете, что мы, на Западе, стремимся воспользоваться теми отрывками, которые показывают коммунизм не в слишком хорошем свете? Разве мы не слышали значительно более сильные высказывания самого Хрущева о Сталине на XX съезде партии в 1956? Разве не естественно, что когда Пастернак услышал подобное, то он ощутил, что должно быть позволено сказать и ему самому, хотя и намного меньше и значительно более косвенным образом?

Пастернак пишет в своей книге, что в начале революции было много бессмысленной жестокости. Если же Вы заставляете Пастернака молчать теперь, то не даете ли Вы тем самым потрясающего доказательства, что приписываемое им лишь начальным дням существует и до сих пор? Я не вижу, как, осуждая Пастернака, Вы можете избежать осуждения самим себе, ибо, совершенно понятно, он писал свою книгу с убеждением, что тирании и жестокости положен конец. Если же Вы осуждаете его и утверждаете ошибочность его взглядов, то как следует все это понимать?

Если Ваше правительство, действительно, чувствует себя сильным и преуспевающим, то почему Вы испытываете страх перед сказанным Пастернаком о первых годах революции? Если Вы заставляете его молчать, то это может быть истолковано лишь как признак Вашей неуверенности и слабости. В 1956 г. весь мир надеялся, что свобода и процветание, наконец, должны прийти к русскому народу как награда за долгие годы тяжких страданий при правлении Сталина. «Доктор Живаго» написан именно с такой надеждой. Ваше же осуждение книги и ее автора доказывает, что эта надежда оказалась трагической иллюзией и что над страной сгущается мрак более глубокий, чем когда-либо. Осуждая Пастернака, Вы осуждаете самих себя. Если Пастернак страдает несправедливо, и ему мстят за его роман, вдохновленный добрыми намерениями, то всему миру остается только испытывать чувство горькой печали по отношению к России. Если Пастернака наказывают несправедливо, когда он, преисполненный искренней верой, говорит то же самое, что и высшие партийные бонзы, то это не что иное, как лишнее доказательство того, что советская система не может выжить там, где разрешена свобода слова, и, следовательно, деспотизм является ее неотъемлемой чертой и будет существовать столько, сколько и сама советская система.

Неужели Вы, коммунисты, неспособны видеть, как великая книга прославила Россию? Можете ли Вы понять, что эта книга побуждает весь мир любить, восхищаться и почитать русский народ, который с небывалым героизмом несет тяжелую ношу, возложенную на него историей. Если Вы наказываете Пастернака, то делаете это лишь потому, что не любите ни Россию, ни человечество, а преследуете исключительно интересы политического меньшинства.

Я утверждал, что мое письмо не будет носить политического характера, но все же, как вижу, последние

заявления имеют политический смысл. Вы, по-видимому, назовете их лживыми. Но, пожалуйста, поверьте мне: я буду радоваться больше всех в мире, если кто-нибудь сможет доказать несправедливость моих утверждений. Прошу Вас дать мне какие-нибудь доказательства такого рода. Мне доставит удовольствие принять их и донести до сознания всех. Но если Борис Пастернак наказан и подвергается преследованиям за его творчество, то любое Ваше «доказательство» является неприемлемым. Лучшее доказательство: оставить Пастернака в покое!

Вероятно, Вас может обидеть написанное мною. И все же я пишу Вам как друг, а не как ненавидящий Вас враг. К русскому народу я чувствую величайшую, искреннейшую любовь и безграничное восхищение. К теперешним же руководителям России не испытываю ни ненависти, ни страха, а одну только печаль.

В заключение я призываю Вас опубликовать это письмо в «Правде» вместе с Вашими аргументами против него. Возможна ли такая вещь в России? Полагаю, что это было бы вполне осуществимо здесь!

Искренне Ваш

Томас Мертон

«ВРЕМЯ И МЫ»

Главный редактор Виктор Перельман

В странах Европы и Америки продолжается подписка на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем «Время и мы». Вышло 26 номеров журнала. Среди опубликованных произведений: Виктор Некрасов «Персональное дело коммуниста Юфы», Александр Галич «Блошинный рынок», Виктор Перельман «Гайд-Парк при социализме», Зиновий Зиник «Перемещенное лицо», «Извещение», Лев Мелаид «Ехать не ехать», Борис Хазанов «Час короля», «Страх», «Частная и общественная жизнь начальника станции», Фаина Баазова «Дело Рокова», Михаэль Стефанек «Прага, 26 августа», Владимир Марамзин «Человек, который верил в свое особое назначение», переводные произведения Артура Кестлера («Тьма в полдень» — впервые на русском языке), Олдос Хаксли («Счастливый новый мир» — полностью впервые на русском языке), Сола Беллоу («Рукописи Газаги» — впервые на русском языке). На страницах журнала выступают ведущие критики и публицисты третьей эмиграции Андрей Синявский, Александр Пятигорский, Ефим Эткинд, Михаил Шрагин, поэты Иосиф Бродский, Наум Коржавин, Анри Волохонский, Лия Владимировна и другие.

Стоимость годовой подписки — 39,20 долл., или 184 фр., или 92 нем. марки. Чтобы подписаться на журнал, необходимо прислать заказ по адресу: «Time and We», Nachmany Str. 62. Tel Aviv. Можно сделать также перевод на счет редакции, по адресу: Israel Discount Bank, Tel Aviv Hakirja branch acc. 140317. «Time and We».

Адреса представителей:

Англия: Александр Штротас
Croft House, Top Flat 32 New Hey Road Rastrick, Brighouse
W. Yorkshire HD6 3PZ ENGLAND.

Зап. Берлин: Лотар Ролл
Buschkrugallee 98, Berlin 47, t. 606-77-61

Канада: Юрий Лурье
305 Robson Hall Winnipeg, Manitoba Canada R3t 2N2
t. (204) 474-9773

США: Эдуард Штейн
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 t. (203) 387-05-97, USA

Франция: Ричард Кернер
24, rue Lecluse, 75017 Paris 17e, t. 292-12-61

ФРГ: Арий Вернер
Postfach 50 1968 5000 Köln 50, West Germany

Наша почта

Уважаемая редакция!

Статьей С. Рафальского «Болезнь века» «Континент» открыл дискуссию по одному из наиболее остро стоящих в современном мире вопросов — национальному. Некоторые неясности, возникшие при чтении этой статьи (возможно, вызванные не только путаницей в мыслях автора, но и его не всегда удобочитаемым стилем), заставляют меня обратиться к Вам с этим письмом.

В первой части статьи автор дает, так сказать, теоретическое обоснование своих взглядов: он «рассматривает национальный вопрос в перспективе — пусть далекого, но неизбежного — всепланетарного объединения человечества» и корень зла видит в «национализме», явлении, по его мнению, безусловно «регрессивном», поскольку борьба «народов и народиков» за свою национальную независимость «правит против ветра истории», приносит людям массу несчастий, и уж лучше согласиться на какого-нибудь «сверхзавоевателя», чем глядеть на те «'па', которые вытанцовывает Европа в поисках объединения»... Знание направления, в котором дует «ветер истории», невольно вызывает у меня ассоциацию с марксистским познанием «законов» той же многострадальной истории, тем более, что мне не совсем понятно, почему С. Рафальскому кажется, что ветер этот дует именно в сторону обязательного объединения, да еще с допущением «сверхзавоевателей»? «Сверхзавоеватели» далекого прошлого (Александр Македонский, Тамерлан, Чингисхан и т. п.) «объединяли» гораздо больше народов и территорий и на гораздо более длительное время, чем «наши» Сталин и Гитлер, но и в те давние времена, и в наше время «народы и народики» стремились почему-то именно к *освобождению* от своих объединителей — хоть бы и через триста лет... Империи создавались — насильственно, и вовсе не по

воле и желанию «имперских» народов, а по воле «сверх-человеков», никакого желания своих народов не спрашивавших, — но они неизбежно и распадались. А если к этому историческому прошлому приплюсовать еще и столь возмущающее С. Рафальского настоящее — «мечты о государственной самостоятельности басков и бретонцев» (и еще не одного десятка «народов и народиков»), то, пожалуй, можно предположить, что «ветер» дует в сторону, противоположную той, которую указывает нам автор.

Что национальная независимость достигалась и сохранялась народами ценой многих жертв (и жертв кровавых) — это, конечно, бесспорный факт. Что при этом в отношениях между нациями возникало много досадных «накладок», недоразумений, психологических барьеров — тоже факт. Но виновны в этом вовсе не те, кто стремился к национальной независимости, а именно сверхзавоевательные «объединители». Если же следовать логике С. Рафальского, то в том, что убийцу посадили в тюрьму, виноват — убитый!

Национальное самосознание, считает С. Рафальский, существует из-за того, что сохраняется национальная культура; следовательно, культуру эту надо сделать интернациональной (или «сверхнациональной», что одно и то же), тем более, что «парижанки пьют утренний кофе в пестрых кимоно, модели от Диора гуляют по улицам Токио», а «национальность» абстрактной живописи не определит «не только рядовой зритель, но и опытный профессионал»... Ну, а как же быть с тем, что, скажем, турки или индусы и в чужих странах носят свои национальные одежды? И даже в таком «Единстве», как СССР, ни узбечки, ни грузинки, например, не ходят в сарафанах, а русские и украинцы не щеголяют ни в халатах, ни в тибетейках? Да ведь и для парижанок-то кимоно, ей-же-ей, не «обычная форма одежды», а — экзотика... И хотя я тот самый «рядовой зритель» (к тому же, сознаюсь, и не очень интересующийся абстрактной живописью), но уж своих-то, русских художников от «чужих» всегда отличу! — так какая же может быть гарантия, что французы не отличат «своих», англичане — «своих» и т. п.?

Больше же всего мешает «универсализации культуры», по мнению С. Рафальского, язык. Но и тут автор считает дело поправимым, полагая, что сие «орудие человека в борьбе за существование» (весьма, кстати, оригинальное определение, по «материалистичности» своей переплюнувшее даже марксистов!) должно стать «наиболее эффективным, наиболее экономным», т. е. «замениться общепланетарным языком». Непонятно только — каким? Английским, русским, французским..? Или эсперанто, чтоб никому не обидно было? И почему, кстати, «ветер истории» давно уже сдул это эсперанто в неизвестном направлении? — что-то этот ветер всё время куда-то не туда дует! Вдобавок к этим неясностям, автор еще ошарашивает нас весьма странным призывом брать пример с Государства Израиль, которое-де строит свою культуру «на искусственно введенном в жизнь языке» (!). Но, простите, г-н Рафальский, на языке этом не только говорили и творили далекие предки современных израильтян, но и велось преподавание в еврейских школах на протяжении всей истории рассеяния народа Израиля! Для любого еврея язык этот гораздо более родной, чем, скажем, русский или украинский для потомка татарина... Однако приведенный С. Рафальским пример имеет и свою оборотную сторону: он показывает, что автор безусловно прав, когда, желая ликвидировать «национализм», прежде всего стремится к «универсализации» языка. Язык ведь и вправду одно из важнейших «орудий в борьбе за существование», но не шкуры отдельного человека, а — духа и жизни нации. Не сохрани евреи своего языка (хотя бы и только в религиозных обрядах и изучении Святого Писания), кто бы теперь, через 2000 лет, отличил их потомков от испанцев, французов, русских и т. д.? Да, пожалуй, и русского народа сейчас не было бы, если бы наши предки «через два-три поколения» под татаро-монгольским игмом все поголовно перешли на татарский язык...

Все эти «теоретические» предпосылки автора, основанные, мягко сказать, на весьма странной логике, ведут и к

дальнейшим несообразностям в его высказываниях и рекомендациях.

Так, «государственная самостоятельность» народов «жизненным интересом считаться не может». Но — «пожертвовать суверенитетом» должны, оказывается, не все, а только те, «для кого это было бы выходом из положения», — то есть, видимо, те, кто послабее? — что за варварская мораль!

Далее: «не может считаться культурным угнетением» введение одного общего «официального языка» («культурного» тут действительно ничего нет, но угнетение национальной культуры — налицо!). Справедливости ради надо отметить, что С. Рафальский готов предоставить «националистам» право «конкурировать» с официальными (и, отметим, субсидируемыми государством) радио, телевидением, кино, издательствами, газетами, журналами и т. п. — изданием какой-нибудь газетенки на «своем» языке, которую «не должно удерживать правительственными субсидиями» (ну и конкуренция! право, не знаешь — смеяться или плакать!). А если еще учесть, что «официальный» язык будет преподаваться во всех учебных заведениях и применяться во всех сферах рабочего и делового общения людей, то судьбу национальных языков (и национальных культур) легко представить... Ну что ж, зато будет укреплен и упрочен Союз Советских Республик, или — Единство — как торжественно (с большой буквы!) именует его С. Рафальский. Ибо цель всех «теоретических» выкладок автора — решение национального вопроса именно в СССР. Однако, когда автор переходит непосредственно к этой проблематике, он вдруг заявляет, что народы, доказавшие свою религиозность («литовцы или греко-католики галицкие»), «имеют все основания к выходу из принципиально безбожного Советского Союза». Опять остается в недоумении только руками развести: ведь если религиозность дает право на самоопределение, то, следовательно, имеют его и верующие татары, туркмены, грузины, калмыки... да и русские тоже? — или г-н Рафальский считает все эти народы поголовно «безбожными»?

И что, собственно, означает такой странный кентавр: «принципиально безбожный Советский Союз», который в то же время представляет собой похвальное «Единство», не подлежащее разрушению?

Перечень подобного рода недоуменных вопросов можно было бы и продолжить, но, полагаю, достаточно уже сказанного. Единственно, о чем еще нельзя не упомянуть, это об оскорбительных — несправедливых по существу и злобных по тону — высказываниях С. Рафальского по адресу украинцев, поляков, евреев (да и русских — «националистов»). Евреям (израильтянам), например, С. Рафальский вообще категорически воспрещает «вмешиваться в чужие (т. е. советские. — Д. С.) дела» (впрочем, полякам тоже этого делать нельзя), поскольку они «изменники» своей советской родины и ее ненавистники (а что, разве не так? — вот и газета «Правда» уж сколько лет про то пишет!). Что же это за такое страшное «вмешательство»? Уж не поставляют ли израильтяне врагам Советского Союза автоматы «Калашников» и самолеты? Да нет, оказывается, «вмешательство»-то всё в том, что они мнения свои высказывают... а — какое им дело?! А какое, собственно, дело было лорду Байрону до Греции? А какое дело генералу Григоренко до крымских татар? А какое дело было тем, кто вышел в августе 1968 года на Красную площадь, до чехословацкой свободы? А какое дело самому г-ну Рафальскому до израильтян, если он тут же считает возможным указывать им, что они должны делать и чего не должны? И как, интересно, г-н Рафальский, так ясно высказавший свое весьма недружелюбное отношение к упомянутым народам, собирается совместно с ними бороться за «сознательное, свободное и демократическое сожителство» в государстве со странным названием «Свободный Советский Союз»?..

С самого детства я жила в СССР в общей квартире. Она была не такой уж большой — всего пять семей, — но почти ни одного дня не проходило без ссор и драк между соседями на нашей маленькой кухне. То кто-то пришел домой поздно

и громко хлопнул дверью, то кто-то жжет электричества больше, чем другой, то кто-то жарит лук, а другой не выносит запаха... Потом, постепенно, все разъехались по отдельным квартирам. И вдруг — когда отпали проблемы дверей, электричества, лука и т. п. и каждый смог делать в своей квартире, что ему заблагорассудится, — оказалось, что все мы, бывшие соседи по «коммуналке», очень любим друг друга. До сих пор все ездят в гости друг к другу, перезваниваются, вместе отмечают радостные события и наперебой стремятся помочь в любой беде... Мне кажется, что Советский Союз сейчас — та же коммунальная квартира народов, с неизбежными при этом между ними склоками на «общей кухне». И я не вижу лучшего пути к установлению настоящей, искренней дружбы между нашими (да и всеми другими) народами, как тот, чтобы дать каждому из них успокоить нервы в собственной отдельной квартире.

Да, и еще одно: поскольку С. Рафальский такое большое место уделил своей генеалогии, то, во избежание кривотолков, могу заверить, что я — чистокровная русская, во всех поколениях.

С уважением

Д. Соболева

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СИНДРОМ ВНЕЗАПНОГО ЕДИНОДУШИЯ

У нас нет ни времени, ни охоты, чтобы вдаваться в анализ той беспрецедентной по ожесточению кампании, которая ведется сейчас против «Континента» на страницах «Франфуртер Альгемайне», настолько она — эта кампания — недостойна по тону, характеру и целенаправленности.

Хотелось бы только отметить целый ряд удивительных совпадений, сопутствующих этой кампании.

Как нам стало известно из достаточно информированных кругов, в конце октября ЦК КПСС принял решение о ликвидации диссидентства, как внутри страны, так и за рубежом, а уже семнадцатого декабря на страницах вышеупомянутой газеты появляется столь же хлесткая, сколь и бездоказательная статья против нашего журнала некоего А. Разумовского.

31 декабря газета «Вельт» перепечатывает в сокращенном виде интервью, данное «Континенту» Зденеком Млынаржем, одним из лидеров «Пражской весны», которое практически опровергает основные доводы этой статьи.

Но уже четвертого января Пражское радио передает следующее сообщение:

РАДИО—ПРАГА, 4 янв. 1978

«Нелегко приходится эмигрантам» — вот приблизительно основное содержание разговора Зденека Млынаржа с редакторами русского эмигрантского листка «Континент», который выходит в ФРГ. Названный журнал возвышенно

ставит себе целью объединить все антисоциалистические силы в эмиграции, что ему, однако, не удастся. Ревность господствует в самой редакции, и это несмотря на обильные дотации и подсказки западных агентств печати. В этом упрекнул, кстати, и Млынарж, сказав, что журнал предоставляет мало места людям, которые имеют взгляды, как у него. Однако нечему удивляться: украинские националисты, бывшие фашисты и религиозные мечтатели хотели бы вести игру, главным образом, на своей собственной почве. Сейчас Млынаржу, который, по его собственным словам, остается честным социалистом и марксистом, все-таки удалось проложить дорожку.

В согласии с этим он и вел себя в своем разговоре. Вплоть до того, что пришел к заключению, что люди из стран социалистического общества имеют, цитируем, «родственные традиции и общие интересы». Господин Млынарж просто неузнаваемо изменился, ибо некогда утверждал совершенно обратное. Сегодня, однако, речь идет об объединении эмигрантов, потому-то Млынарж свои прежние слова и забыл. Однако и это не помогает: в следующих фразах своего разговора он жалуется на отношения в антисоциалистической эмиграции. Эмигранты якобы забывают об общей цели. Особенно жалостно он говорил об антисоциалистической эмиграции из Чехословакии: дело якобы доходит до споров и ссор, до открытой вражды. И этому не приходится удивляться: ведь ни одна из эмигрантских групп не имеет надежды вывести себя вперед или каким-либо образом повлиять на развитие в странах социалистического содружества. Доказательством являются успехи реального социализма, потому-то эмигранты вцепляются друг другу в волосы, потчуют друг друга крепкими словами и дерутся за то, кто будет вождем. На это место вождя кандидатов больше всего. Хотя бы господин Йонаш в Вене или другой ревизионист Иржи Пеликан, а у господина Млынаржа слезы текут, и, несмотря на то, что ему удалось пробиться к фашистам в «Континент», акции его все-таки остаются низкими.

Читатели, знакомые с вышеуказанной статьей во «Франкфуртер Альгемайне», могут подтвердить, что основные ее положения полностью совпадают с сооб-

щением Пражского радио, несмотря на пропагандистскую лапидарность этого сообщения.

Но затем газета продолжила нападки на «Континент» в столь же по-советски агрессивном тоне и столь же по-советски негодными средствами.

Разумеется, всё это может быть и, мы уверены, окажется чистой случайностью, но, на наш взгляд, уже самый факт, что журнал, выходящий прежде всего на русском языке и почти целиком посвященный проблемам России и Восточной Европы, подвергается такой длительной осаде со стороны одной и той же немецкой газеты, наводит нас на весьма грустные размышления.

Возникает естественный вопрос: зачем? для чего? кому это выгодно?

Как это ни прискорбно, сообщение Пражского радио так или иначе отвечает на все эти вопросы.

Книжный Магазин

LES EDITIONS REUNIS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВА YMCA-PRESS

\$

Домбровский Ю. — Факультет ненужных вещей (роман), стр. 480	15,60
Александров Г. — Я увожу к отверженным селениям (лагерный роман), в 2-х томах, стр. 376 + 400	20,00
оба тома в одной книге, на тонкой бумаге	21,00
Чуковская Л. — По ту сторону смерти (стихи), стр. 136	7,00

Серия «ПЕРЕИЗДАНИЯ РЕДКИХ КНИГ»

Нольде Б. — Юрий Самарин и его время (с изд. Париж 1926), стр. 248	8,00
О религии Льва Толстого — Сборник статей Булгакова, Бердяева, Зеньковского, Эрна и др. (с изд. Москва 1911), стр. 260	9,00
Метнер Н. — Муза и мода (Защита основ музыкального искусства), с изд. Париж 1935, стр. 160	8,30
Карсавин Л. — <i>Saligia</i> (Размышления о добродетелях и о семи смертельных грехах), с изд. Петроград 1919, стр. 80	4,50
Анциферов Н. — Душа Петербурга (Петербург в творчестве русских писателей), с изд. 1922	9,00
Памяти Блока — Сборник статей (с изд. 1922), стр. 112	5,00
Волконский С. — Быт и бытие (книга посвящается М. Цветаевой), с изд. 1924, стр. 215	9,00

НОВИНКИ ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ

Беттелл Н. — Последняя тайна, стр. 267, 1977	10,65
Булгаков М. — Ранняя неизданная проза (сост. Ф. Левин), стр. 215, 1976	11,70
Устами Буниных — Дневник И. А. и В. Н. Буниных, в 3-х томах: Т. 1 — До перелома и Одесса, стр. 366, 1977	19,15
Галич А. — Когда я вернусь (стихи и песни 1972-1977), стр. 126, 1977	7,00
Григоренко П. — Сборник статей, стр. 121, 1977	6,00
о. Дмитрий Дудко — Воскресные собеседования, стр. 112, 1977	8,—
Духовный мир Д. П. Кончаловского — (Записи и отрывки из Дневника), стр. 179, 1977	5,75
Копелев Л. — Вера в слово (Выступления и письма 1962-1976), стр. 80, 1977	3,00
Международное Слушание Сахарова в Копенгагене — Выступления 24-х свидетелей, стр. 436, 1977	11,70
Олейников Н. — Стихотворения, стр. 107, 1975	3,40
Рыбаков В. — Тяжесть, стр. 204, 1977	14,05
Франк С. — Этюды о Пушкине, с изд. Мюнхен 1957, стр. 127, 1978	10,20

Пересылка за счет покупателя

Критика и библиография

ПАМЯТЬ

В послесловии к «Архипелагу», словно бы извиняясь перед теми, о ком не было у него возможности сказать, — ни материала, ни времени, ни сил не достало — А. И. Солженицын мечтал о продолжении книги, уж не сам, «потому что не осталось больше на нее жизни», но руками друзей, что решатся взвалить на себя ее груз. Огромность и тяжесть этого груза не вполне осознали мы еще и сегодня (а уж пять лет прошло) — слишком страшен он оказался со всею кровью своей, с бесконечными именами замученных и названиями боен. Так страшен, что и взгляда от лагерей не оторвать, и не осмыслить всего здания, не увидеть его во весь рост. А оно ведь много больше «архипелага», больше всех зон — и больших и малых — и не пространственно, не ими только определяется. И эти-то дополнительные «координаты» делают книгу Солженицына не просто свидетельством, пусть самым полным и правдивым, не только гениальной книгой, но точкой отсчета в чем-то гораздо большем — в истории народа, в восстановлении его памяти, без которой история как ощущение преемственности, связи с прошлым и ответственности за прошлое и будущее — немыслима. Именно к этому восстановлению нашей памяти и звал Солженицын, открыв одну из самых зловещих и страшных ее страниц. Но без нее нет осмысления пройденного, нет осознания вины, нет и покаяния и надежды на будущее...

Такие отнюдь не новые мысли приходили на ум, когда почти год назад газеты объявили о выходе нового самиздатского сборника «Память». И ждали его с нетерпением, и тревожились одновременно. Уже названием книги издатели заявляли о причастности ее к тому ряду, что начат был «ГУЛагом». А двигаться от такой точки отсчета непросто. Сколько выпущено за это время воспоминаний, сколько свидетельств, иные издательства уж и прекратили принимать

«лагерные» рукописи — а многие ли из них вышли за рамки мемуарного жанра?

«Память» безусловно выходит, выбивается из него, прежде всего по своему замаху, по общему замыслу издания. Это не отдельная книга, а лишь первый сборник в задуманной авторами большой серии, объединенной не столько тематически, сколько направленностью своей. «Первоочередной своей целью редакция ставит сбор исторических свидетельств и последующую публикацию их... Редакция считает своим долгом спасти от забвения все обреченные ныне на гибель, на исчезновение исторические факты и имена, и прежде всего имена погибших, затравленных, оклеветанных, судьбы семей, разбитых или уничтоженных поголовно; а также имена тех, к т о казнил, шельмовал, доносил».

Постановка столь огромной задачи требует и особого к ней подхода. Составители принципиально отвергают какую бы то ни было идеологизацию, принимая единственным критерием в сборе фактов их достоверность. Не судить, не строить подтверждаемую умело подобранными свидетельствами концепцию цель «Памяти» — но ввести в научный оборот пропущенное, забытое или тщательно скрываемое официальной историографией. И это очень важно помнить при чтении книги. Иногда она напоминает ковчег — нарочито академический подход составителей сборника чрезвычайно расширил его рамки, сведя в пределах одной только части коммуниста, которого лагерная школа не оттолкнула от марксизма (так и хочется сказать — ничему не научила), и монархистку, для которой она стала лишь подтверждением ее взглядов, социалистку и пожилую учительницу, удивительно чистое и духовное мировосприятие которой открывает совсем иное измерение лагерного опыта... Эта мозаичность способна озадачить, но она же создает и полноту картины. «Память» ведь не учебник истории, а сама живая история — тот незаменимый справочник, без которого, вероятно, и не может быть написан ни один из будущих учебников.

Сборник состоит из четырех крупных разделов: воспоминания, историографические работы, рецензии и документы. Четвертый раздел может быть выделен лишь довольно условно, поскольку значительное число документов помещено в виде самостоятельных публикаций, снабженных обшир-

ным комментарием. Таковы письма М. Волошина, Н. Я. Мандельштам, три письма «старому революционеру», письма из ссылки М. О. Левицкого и т. д. Другая часть, меньшая по объему и составившая собственно документальный раздел, служит дополнением к историографическим материалам (документы по делу «Колокола», письма Анны Скрипниковой). Структура сборника будет еще, по-видимому, меняться — «Память» лишь в процессе становления, — но уже в первом выпуске видно отчетливое стремление авторов к гибкости издания, диалогичности его. А на диалог с читателем, на активную его реакцию, поправки и дополнения миллионов свидетелей и участников истории нашей — составители серьезно надеются. И не в том лишь дело, что большинство материалов дымом ушло в лубянские трубы, погребено в спецхранах, надежно упрятано в партийных архивах, — а просто не под силу этот труд горстке энтузиастов. И не контора, о которой мечтал Солженицын, тут надобна, а вся страна, та сила, что издавна звалась «русской общественностью». Может быть, самая заветная, хоть и не высказанная цель сборника и его составителей — разбудить эту силу, снова вызвать ее к жизни. Судя по потоку писем, что обрушился на автора «ГУЛага», эта надежда не столь безосновательна.

Одна из самых привлекательных черт «Памяти» — интерес авторов к наименее изученным периодам и областям нашей истории. Материалы такого рода присутствуют во всех ее разделах. Прежде всего, это воспоминания М. Штейнберг об условиях заключения в прифронтовой зоне в начале последней войны, статья о московском процессе 1944-45 гг. над «молодежной террористической организацией», рецензия И. Вознесенского на юбилейный сборник Академии наук. Последний материал, несмотря на общеизвестность многих отдельных посадок и неписанного правила об изъятии неудобных имен, производит впечатление ошеломляющее. И чудовищным мартирологом отечественной науки, включившим сотни фамилий, весь цвет интеллигенции страны, и открывающейся картиной целенаправленного систематического искажения ее истории, уничтожения не только людей, но и самой памяти о них. После этой статьи примыкающие к ней интересные заметки Л. Надвоицкого о Собрании фотографий и кинокадров Ленина, в которых автор восстанавли-

вает первоначальный вид документов заботливо препарированной «фото-ленинианы», выглядят легкой игрой.

Есть в «Памяти» и менее удачные публикации. Как ни досадно, к ним приходится отнести рецензию Револьта Пименова на книгу А. Шифрина «Четвертое измерение». Блестящие логические построения, столь эффектные в разысканиях Пименова по делу Рэйли, здесь явно не срабатывают, и гипотеза автора относительно места работы и причин ареста Шифрина остается по сути бездоказательной. У читателя статья Пименова оставляет чувство какой-то неловкости. Правда, составители в примечаниях оговаривают эти недостатки рецензии, но вряд ли стоило включать в сборник, претендующий на научность и достоверность, материал, построенный на одних предположениях, даже при популярности его в самиздате. А научность издания «Памяти» особенно нужна. Ведь ситуация создалась парадоксальная. Разнообразная беллетристика под именем «мемуарного жанра» просто затопила литературу последних десятилетий. Вспоминают буквально все: политики и театральные администраторы, отставные генералы и спортивные обозреватели, экс-шпионы и чекисты на покое... Словно страх перед оплотневшим, сгущенным временем гонит — переиграть, обмануть его, заставить время (и себя в нем) окаменеть в литых строках типографского набора. И порой трудно разобраться, чего же больше в этих суррогатах воспоминаний — правды ли, вымысла, желания оправдать себя и свое прошлое... И ведь читают. Пожалуй, никогда еще не пользовались мемуары такой популярностью, как в последние пятнадцать-двадцать лет. И в интересе этом сказывается не только усталость от официальной литературной политграмоты и стремление к более человечному, неидеологизированному чтению, но и зреющая в стране потребность в исторической правде, в восстановлении забытой, изуродованной истории. Потому так важно становится любое неотретушированное, на подлинных фактах основанное свидетельство о прошлом. К этому стремится «Память»: и в документальном подтверждении материалов, и в обширных комментариях составителей, сопровождающих каждую публикацию, дополняющих, а иногда и исправляющих неточности текстов, забытые детали и имена. Этот же критерий, по-видимому, должен сохраняться и при отборе самих текстов сборника.

Нет смысла подробно разбирать все материалы книги. «Память» наконец вышла в свет, и читатель сможет оценить ее сам. В целом первый выпуск связан с «гулаговской» тематикой. Объяснение этому уже в позиции составителей: «Не приоритет у мертвецов Воркуты, Норильска, Колымы — великое право встать в центр возрождающейся памяти». Но авторы отнюдь не собираются ограничиваться лишь «лагерной» темой. В распоряжении редакции материалы по истории литературы, религии, науки, советской дипломатии и др. Все они увидят свет в ближайших выпусках сборника, готовящихся в настоящее время к печати. Хотелось бы, чтобы они нашли тот отклик, на который так рассчитывают и надеются издатели. Для жизни сборника, для продолжения работы восстановления нашей истории этот отклик необходим. Потому что силу и значимость преемственности для будущего страны понимают не только составители «Памяти», но и те, кто заботится об ее утрате. И еще потому, что работа, которую взяли на себя составители сборника, могла бы сегодня объединить все живые силы страны для общего и, может быть, самого нужного ей дела — возрождения ее истории.

В. Аллой

В ПОИСКАХ ЗЕЛЕННЫХ ЦВЕТОВ

Прошло семь лет после смерти Николая Рубцова. Популярность поэта все растет, и на ней непрочь поспекулировать все те, кто старается понятие родины отождествить, искусственно срастить с понятием социализма. В это второе понятие входит, как необходимая часть, идея прогресса любой ценой. Поэтому обязательность воспевания этого прогресса — для поэта действительно советского есть аксиома. Вот тут-то и видно, что все попытки притянуть имя и поэзию Рубцова к пустому звуку «советского патриотизма» не

Н. Рубцов. Подорожники. М., «Молодая гвардия», 1975.

Н. Рубцов. Избранная лирика. Архангельск, Сев-зап. кн. изд., 1977.

только шиты белыми нитками, но просто диаметрально противоположны всему духу его поэзии — русской и только русской.

Вся поэзия Рубцова стоит на равновесии двух враждующих мотивов: притяжение к родной земле и отталкивание от своей эпохи.

И храм старины, удивительный, белоколонный,
Пропал как виденье меж этих померкших полей.
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей.

Неприятие своего времени вместе со всеми социальными причинами гибели прошлого, утраты корней, заставляет поэта не только упорно «скакать по следам миновавших времен», но отрицать даже те явления прогресса, которые не связаны с намеренной политикой отрыва народа от национальных ценностей. Просто пропаганда приписывает государству всё, что так или иначе выглядит прогрессом, — и Рубцов воюет поэтому со всяческим его проявлением как с попытками обезлички национального духа, как с силой злой, отрывающей человека от земли, кормящей душу живу. Гордыня бездушной цивилизации воплотилась в его стихах в образе поезда, который мчится «...с полным напряженьем / мощных сил, уму непостижимых, / перед самым, может быть, крушеньем / посреди миров несокрушимых. / Поезд мчался с полным напряженьем / где-то в самых дебрях мироздания / Перед самым, может быть, крушеньем, / посреди явлений без названья...»

Этот поезд — как всадники Апокалипсиса. Простой мир природы, человека, земли и хлеба, отступающий перед этой страшной силой, — вот что оплакивает поэт вместе с родной, задыхающейся все более и более в тисках бездуховной машинной жизни:

Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,
Что выплыв на лодке — повсюду достану шестом...
Что все понимая, без грусти дойду до могилы...
Отчизна и воля — останься, мое божество!

Всего лишь эти четыре строки, своим глубоким религиозным и антипрогрессистским настроением, боязнью конформистских сдач — всем духом и каждым словом, строки эти опроверга-

ют попытки таких критиков, как Друзин или В. Дементьев, втащить Рубцова в число хористов «социалистического реализма». Подлог, рассчитанный лишь на тех, кто не читал стихов Рубцова, а судит о его поэзии лишь по количеству упоминаний его имени в официальной печати. Но такие читатели — не читатели.

Символом своей судьбы Рубцов делает коня, везущего телегу по мертвым асфальтам душасящего города. Немногие светлые строки, которые попадают в его трагической и осенней поэзии, все без исключения относятся к родной Вологодчине, куда еще не успел добраться прогресс, отождествляемый поэтом (и как мы знаем, не им первым и не им одним) с удушающей атмосферой «советской действительности». Он пишет о Ферапонтовом монастыре, затерянном в вологодских лесах, о храме, который расписал когда-то «небесно-земной Дионисий», о тайне, которая есть в ночном плаче природы... «И так тревожно в час перед набегом / кромешной тьмы без жизни и следа, / как будто солнце, красное над снегом, / огромное, погасло навсегда». Или еще такое: «А туча шла, гора горой, кричал пастух, металось стадо, / и только церковь под грозой молчала набожно и свято...» На реке Сухоне — «много серой воды, много серого неба...» Как у Верлена «над городом дождик и в сердце дождит», так в стихах Рубцова дождь становится невыносимым, он заполняет всю душу, от него некуда деться, когда — «Неделю льет, другую льет, картина / такая — мы не видели грустней, / безжизненная водная равнина / и небо беспросветное над ней. / На кладбище затоплены могилы, / видны еще оградные столбы, / ворочаются, словно крокодилы / меж зарослей затопленных гробы...» Они, гробы эти, для поэта символ того прошлого, которое пытаются убить во имя прогресса, а на деле — чтобы лишить корней всех, кого могут и кого не могут... Кладбище затоплено дождем — век нынешний не пускает уйти «по следам миновавших времен». Но Рубцов все равно тянется в былое, зная, что найти его так же невозможно, как отыскать зеленые цветы. Утраченное время, на погоню за которым обречен поэт, утрачено безвозвратно, и все же стремления к нему — не избыть: «Как не найти погаснувшей звезды, / как никогда, бродя цветущей степью, / меж белых листьев и на белых стеблях / мне не найти зеленые цветы». Последняя прижизненная кни-

га Рубцова так и называлась: «Зеленые цветы». За ее выходом наступил период замалчивания, и только года три тому назад вдруг имя поэта кому-то понадобилось приспособить «к вящей славе *советской* литературы», к которой Рубцов не принадлежал ни при какой погоде... В 1971 году, в первую годовщину смерти поэта, ленинградский обком КПСС запретил подготовку вечера памяти Рубцова, и никакими силами не удалось добиться разрешения. Вечера памяти Рубцова прошли тогда на частных квартирах. А потом — вдруг — Рубцова стали издавать и переиздавать, снабжая предисловиями, в которых иногда стыдливо прощали ему «пессимизм, проскальзывавший порой в его стихах». Вообще-то говоря, сама оценка поэзии по критериям «оптимизм — хорошо, пессимизм — плохо» — просто неквалифицированный подход к литературе. Причем тут поэзия? Разве что это потому, что предполагается, будто оптимист всегда восхваляет советскую действительность, тогда как пессимист...

Но ведь и это не так! Уж каким ярким оптимистом был Александр Галич! Так вот — Рубцов ничуть не больше мирился с этой действительностью, чем Галич. Только разные поэты по-разному выражают себя. Это тривиально, но об этом приходится напоминать...

«Так что же нам делать?» — на этот традиционно-русский вопрос поэт дает свой ответ — негромкий и смиренный: «А ты, говорит, полюби и жалея / и помни хотя бы родную окрестность, / вот этот десяток холмов и полей». Так много ли человеку надо? Вот одна из проблем, постоянно занимавших Рубцова. «Жизнь порой врачует душу... ну и ладно... и добро...» Привязанность не к абстрактной отчизне с большой буквы, а к родной земле, которую не щадят, «словно чья-нибудь месть, проливные дожди»... Поэт осени, поэт дождей и грусти по прошедшим временам и утрачиваемой душе живой, Рубцов грустными, в ритмах дождя, мелодиями лечил души, заглушая стуком дождя монотонность тоски по тому миру, который мог бы жить и поныне, слившись с настоящим в естественном ходе вещей. Но естественный ход их был нарушен, и поэту оставалось лишь пытаться связать если не сегодняшний день, то хотя бы одного себя, с тем прошлым, без которого всякое будущее — только звук пустой.

В. Волков

ИТОГИ ЛЕНИНИЗМА

За десятилетия сталинской эры критика «первого социалистического государства» велась на Западе более всего коммунистами, которые именовали себя «истинными ленинцами». Было их не так-то много. А критика более глубокая — критика ленинизма и самих основ марксизма — была печальной монополией русской эмиграции. Большинство западной интеллигенции обвиняло русскую эмиграцию в антисоветизме, антикоммунизме, в общем, в субъективном подходе к проблеме. Сами же эти западные левые интеллигенты с трепетом и надеждой продолжали наблюдать за продолжением «исторического опыта».

Чтобы отрезвить западных интеллигентов, понадобился XX съезд. Понадобился Берлин, Будапешт, Прага, понадобился Солженицын. Поиски методов усовершенствования старого домарковского социализма продолжались, а то, что именовалось «советским социализмом», было как бы запретной темой и замалчивалось.

Процесс «десталинизации» вызвал в левых кругах политический, социальный и даже моральный кризис. Не обошел он и западных коммунистов. Стали появляться многочисленные труды о сталинизме. Переиздавались старые книги на эту — вдруг злободневную — тему. Левая западная мысль, продолжая анализ советского социализма, добрела, наконец и до критики Ленина. Начали протаптывать дорожку и к самому Марксу. Попытки развенчать философию, которая была оружием коммунистов при захвате ими власти и осталась орудием сохранения этой власти, продолжаются и в наши дни, хотя порой эти попытки очень стыдливо-осторожны.

Среди книг, посвященных истории мирового коммунизма, одна из самых обстоятельных — книга Ференца Фейто «Ленинское наследство». Ф. Фейто — старый член венгерской социалистической партии. В 1949 году, когда венгерские социалисты были уничтожены коммунистами, так же, как их российские собратья за тридцать с лишним лет до того, Фейто открыто порвал с правительством Будапешта. В 1955 году он получил французское гражданство, уже будучи авто-

F. Fejto. L'héritage de Lénine. Pluriel, Paris, 1977.

ром многих книг, известным советологом и специалистом по Восточной Европе. Ему, в частности, принадлежит двухтомная «История стран народной демократии».

«Ленинское наследство» — монументальная работа, охватывающая историю современного коммунизма, начиная с Ленина.

Согласно автору, традиция «доктрины» представляет собой некую «естественную смесь» понимания Маркса Лениным и Сталиным. Фейто пишет: «Ленинизм превратился в сталинизм, потому что среди противников на политической арене, начиная с 1923 года, Сталин был самым решительным и энергичным политическим зверем, и еще потому, что сохранение и стабилизация системы, «построение социализма в одной стране» — других соцстран ведь не было — настоятельно требовали единства идеологии, власти, сосредоточенной в одних руках».

Автор не только возлагает вину за кровавое начало советской истории на Ленина, но и доказывает, что для Ленина Сталин был естественным и желанным наследником. (Ссора в последние месяцы жизни Ленина была, в основном, вызвана личными причинами.)

Автор констатирует тот факт, что советское государство, несмотря на свою идеологию, «революционность» и прочее, неуклонно стремится лишь к одному — к стабилизации режима.

Описывая структуру партии, созданной Лениным, Фейто переходит к анализу сталинской модели партии: «Именно Ленин запретил существование фракций, основал демократический централизм (который позднее сам называл бюрократическим централизмом). В руках же Сталина запрещение фракций стало мощным оружием, позволившим ему любую неугодную тенденцию в партии квалифицировать как деятельность антипартийной группы».

Анализ любого события сталинского времени приводит в книге к Ленину как к первопрочине. Это очень важная сторона его работы.

Кроме того, Фейто — один из немногих на Западе историков, который отвечает на вопрос «почему», когда дело касается хрущевской десталинизации.

«...Возвращение к социалистической законности мне видится попыткой власти обеспечить безопасность руково-

дящему составу, а в результате и всему населению». Разумеется, безопасность верхушки еще не означает автоматическую безопасности населения, чаще — наоборот, но Фейто по крайней мере пытается в этом разобраться.

Естественно, что подобное стремление коммунистического руководства СССР (переход от террора тотального к ограниченному) вызвало, прежде всего, распад Коминтерна. Но Фейто, специалист по Восточной Европе, показывает, что гибель Третьего Интернационала произошла гораздо раньше. В сущности, автор утверждает, что этот Интернационал в чистом виде просуществовал довольно коротко. Уже в 1922 году, по мнению Фейто, Интернационал представлял собой централизованную мировую компартию. Базисом ее был «демократический» централизм, руководство ее находилось в Москве. Кроме того, этот Интернационал усиленно русифицировался. Для Фейто именно в конце двадцатых годов возникла первая трещина между «западным коммунизмом и коммунизмом русифицированным». Излагая историю Третьего Интернационала, образование и гибель сначала Коминтерна, а затем и Коминформа, автор подчеркивает разницу между восточным и западным коммунизмами. По сути дела, Фейто относит возникновение национал-коммунизма ко временам, когда еще не возник сам термин.

Автор считает главными отклонениями «ревизионизм» и «маоизм», а отклонениями второстепенными — различные виды национал-коммунизма. Фейто пишет: «Соппротивление империалистическому коммунизму СССР породило коммунистические национализмы». Основываясь на этой, весьма спорной идее, он, тем не менее, оригинально и талантливо обрисовывает общий кризис марксизма-ленинизма.

Еврокоммунизм — действительность или миф? После тщательного анализа структур европейских компартий, вступивших на путь национал-коммунизма, автор без колебаний заключает, что, несмотря на теоретический отказ от многих догм, компартии остаются верны основным принципам марксизма-ленинизма (демократический централизм, руководящая роль рабочего класса и партии, пролетарский интернационализм).

В последней главе — «Перспективы» — Фейто констатирует, что настоящий социализм не был еще построен ни на Западе, ни на Востоке, и он уверен, что идея социализма

переживет гибель наследства Маркса и Ленина, так как она родилась гораздо раньше марксизма, ленинизма и марксизма-ленинизма.

Эту огромную работу, интересную для человека с любыми политическими взглядами, Фейто написал как настоящий учебник по теории и практике мирового коммунизма. Можно ли писать учебники на такую тему? Вопрос этот вполне закономерен. Учебное пособие предполагает своего рода объективизм, вряд ли совместимый с этой многоликой и трудноохватываемой темой.

Чтобы это пособие не казалось искусственной попыткой подхода к теме с подчеркнутой невозмутимостью энтомолога, чтобы затрагивать вопросы о судьбах половины человечества, необходимо оперировать четко очерченными понятиями.

К сожалению, советология еще не принадлежит к области точных наук. Какие же нежелательные последствия дает такой подход? Автор не всегда находит достаточно убедительные схемы для описания каждого события или явления, а так как в рамках учебного пособия все явления или события необходимо классифицировать, то автор поневоле пользуется марксистскими терминами.

Однако недостатки книги не мешают ей быть таким трудом, с помощью которого изучение истории мирового коммунизма сделало серьезный шаг в своем развитии.

В. Рыбаков

ИЗМЕНЧИВОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО

Знаменитое выражение В. А. Жуковского — «переводчик в стихах — соперник автора» давно затерли, заболтали во всех работах и статьях, в которых приходится (к сожалению еще приходится) доказывать, что перевод — «высокое искусство» (К. Чуковский). А между тем, представляется, что не в соперничестве тут дело: соперничество пловца и

Георгий Бен. Изменчивость. Поэты Англии и Америки. Изд. во «Время и мы», Тель-Авив, 1977.

лыжника, к примеру, весьма проблематично. Автор и поэт-переводчик движутся в разных языковых средах. Это тривиальная истина, иначе сам факт перевода теряет смысл.

Если говорить о переводе всерьез, то личность переводчика должна проявляться так же, как проявляется личность актера на сцене, ибо переводчик *играет* Байрона, Кипплинга, Шелли или Нэша... Личность его проявляется прежде всего в выборе «роли» — то есть в выборе не только переводимого автора, но и тех или иных его произведений. И как у актеров бывает более узкий круг ролей или более широкий — сообразно с его личными данными, так и переводчик может быть более или менее разнообразным в широте выбора. Оставаясь в этом, и прежде всего в этом, самим собой, неповторимо индивидуальным, он способен на большее или меньшее количество трансформаций. Поэтому название книги переводов Георгия Бена — «Изменчивость» представляется наиболее удачным из мыслимых названий для сборников такого рода.

Универсальных переводчиков не бывает. Или их труд уже не искусство. Но в пределах избранного круга авторов и произведений перевоплощаться всякий раз с максимальным приближением к подлиннику, проявлять изменчивость, оставаясь всегда «собой и только — до конца» — вот то, что можно пожелать любому переводчику — поэту.

«Земля! Лишь мертвым ты наследство дашь.

Мы — пузыри, и лопнуть — жребий наш...» Это строки Байрона.

«Недостаток котенка тот,

Что когда-то он будет кот» — афоризм Огдена Нэша...

Суровые строки У. Хенли:

«Пусть узок путь моей борьбы —

О, сердце, стоны заглуши!

Я — властелин своей судьбы,

Я — капитан своей души!»

Разговорный, уличный «кокни», которым писал многие свои баллады Редиард Кипплинг:

Мы подрались на Силвер-стрит, и я был в этом деле.
Там на бульваре вечером — зззых! — ремни свистели,
Не помню, чем все началось, но помню, что к рассвету
Я был заместо формы одет в одни газеты.
Звон блях, блях, блях — грязные скоты!
Звон блях, блях, блях — получай и ты!

(тут даже звукопись Кипплинга, передающая драку, воспроизведена по-русски:

for it was: — belts, belts, belts, an' that's one for you!
an' it was "belts, belts, belts, an' that's done for you!"

И там, где буквалист перевел бы слово belts словом «ремни», Бен уводит это слово в другую строку, но, соблюдая музыку Кипплинга, находит точный звуковой адекват — «бляхи». Это только один пример решения одного из девяти стихотворений Кипплинга, вошедших в книгу. При всем разнообразии интонаций, авторов — а книга охватывает большинство значительнейших имен за последние четыреста лет английской поэзии и двести лет американской — переводчик остается самим собой. Едва ли такое могло бы удаться тем, кто переводит не по велению сердца, а по заказам. И простейший этот принцип — переводить только то, чего не можешь не перевести, — одна, может быть, главнейшая из крупниц того наследия, которое оставила своим немногочисленным ученикам Татьяна Григорьевна Гнедич — создатель нынешней школы поэтического перевода в России. Ее памяти и памяти тоже недавно умершего переводчика и редактора, блестящего знатока английской классики Б. Б. Томашевского, посвящена книга переводов Георгия Бена.

Начиная с переводов из Лонгфелло (1958 г.) и до нынешнего времени Георгий Бен участвовал более чем в двух десятках переводных поэтических книг. Байрон, Э. По, Скотт, Кипплинг, Л. Хьюз, Ките, Харди, Суинборн — вот далеко не полный список поэтов, у которых Г. Бен нашел вещи, столь созвучные его индивидуальности, что «не мог их не перевести».

Кроме того, его же перу принадлежат переводы прозаических произведений — таких, как роман Г. Фаста «Мои прославленные братья», роман А. Кестлера «Тьма в полдень», «Счастливый новый мир» Олдоса Хаксли и множест-

во небольших рассказов и повестей разных авторов. Но не в них дело — хотя прекрасный язык и изобретательная передача авторского стиля («человек — это стиль!») и тут показывают мастерство перевода — дело в той изменчивости, которая позволяет каждого переводимого поэта не заменять своими стихами и не корезить в угоду вербальной точности. Тут вместо понятия «точность» уместнее будет понятие «верность». Верность и переводимому автору, и самому себе, и естественности русского стиха. Как будто по-русски и написали свои стихи все, кого перевел Бен. Вот строки из стихотворения Кипплинга «Песня пиктов»:

Рим идет вперед напролом,
Не глядит себе под ноги Рим,
Он нас топчет своим сапогом
И не слышит, как мы кричим.
Мы грозим ему из-за спины
И мечтаем во мраке ночей
Что пойдем на осаду Стены
С кулаками против мечей.

Когда эти стихи читались на вечерах поэзии, то сидящие в зале понимали то, что высказал однажды профессор Эткинд в предисловии к двухтомнику «Мастера русского поэтического перевода»: «Лишенные возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве русские поэты... разговаривали с читателем языком Гёте, Шекспира, Орбелиани...» Вот так же с залом разговаривал языком Кипплинга или Хьюза Георгий Бен.

В этом году исполняется двадцать лет со дня первой публикации поэтических переводов Бена. Книга «Изменчивость», хотя она вобрала в себя малую долю его творчества, — своеобразный итог его двадцатилетней работы.

В. П.

ДУЭЛЬ С КАИННОМ

Первая книга Ильи Рубина оказалась и последней его книгой. Поэтому в ней — кроме стихов — и его эссе, его статьи и даже начало романа, так и не дописанного. Книгу составили — уже после смерти поэта — его жена и друзья. Не приходится гадать, была бы иной композиция книги, если бы он сам ее готовил к изданию, или она, книга эта, мало отличалась бы от той, которую мы видим... Да и не в этом дело, и если я заговорил об этом, то лишь потому, что единственный упрек, который хочу высказать, — упрек в адрес составителей, включивших в книгу, хотя и в конце ее, стихи явно недозревшие, такие, которые сам автор наверняка бы оставил в ящике стола. Хотя этот последний раздел книги и носит название «незавершенное», но мне кажется, что лучше было бы без него, тем более, что все прочие стихи Рубина говорят о нем как о поэте на редкость требовательном к себе, как о «взыскательном художнике», который не может вынести что-либо незавершенное на читательский суд.

Я буду говорить в основном о стихах Рубина, хотя статьи его и эссе представляют немалый интерес.

«Исчезла горечь памяти моей / людских сердец непрочные союзы. / Они печальны, как судьба медузы / на лоне этих штормовых морей...»

Там, где поколение конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, с его стихом «бури и натиска» рыдало или хохотало, а порой и декламировало, Рубин, поэт новейшего поколения, зыбко, едва заметно переходит от улыбки к горечи. Вот — полупшепотом — строки о Москве: «И станут мной бедны ее соборы, и станут мной печальны острова». В самом повороте этих строк содержится не высказанная словами мысль, одновременно неожиданная и давняя, как мир: все созданное человеком нуждается в нем, ибо для кого тогда красота? Не поэт говорит о внешнем мире, это сам мир говорит, пользуясь поэтом как своим языком, — отсюда такие как бы вывернутые, парадоксальные строки, создающие глубину, афористичность и напряженность одного из лучших стихотворений Рубина «Бегство»:

Илья Рубин. Оглянись в слезах. Стихи, статьи, проза. «Москва-Иерусалим», Иерусалим, 1977.

Я так бежал, что спотыкались губы,
Припоминая ремесло коня,
Свистели флейты. Надрывались трубы.
Я так бежал, что не было меня.

.....

Не дай мне, Боже, умереть во прахе,
Мой одинокий бег благослови.
Я так бежал, что спотыкались плахи,
Припоминая ремесло любви...

Это бегство от ложного света — того, о котором так точно написал он в эссе «Кто был никем», — тема многих его стихов. И бегство не только физическое, не только от того, что, как он говорит в другом стихотворении, «приснилось мне, что я обманут / эпохой, Богом и страной», — это еще и бегство от самого себя, ибо если «царство Божие внутри нас», то и ложный свет, каиново начало, тоже не только вовне... «А вам бы всё стоять особняком, / особняком семнадцатого века...» так обращается он к одному из друзей, сам с грустью понимая невозможность такого состояния — такого стояния... Всё сущее — природа, люди, творения людские — всё увязано в один неразрубаемый узел, нейтральности нет.

Вот начало его стихотворения «Черная речка. Деревья»: «К барьеру, господа, к барьеру! Корнями чувствуя беду, / деревья делают карьеру / у секундантов на виду». Всё влияет на всё. И теперь это — не просто деревья, нет, их слава теперь сродни геростратовой, недаром кончается стихотворение такими строками: «А узловатые корни / тянули пушкинскую кровь». Вот эта всеобщая увязанность, взаимозависимость — одна из трагических тем рубинской поэзии. И не мни, что ты не имеешь, допустим, ничего общего с тем кафкианским персонажем, который назван зловещим именем Хозяин, и который отсутствует в цикле стихов, названном этим словом. Этот Хозяин не только чиновник, не только конвоир, но он — внутри тебя, он — это иногда ты сам, а иногда и Сам Господь... «Войду в приемную, где секретарши грубы, / отдам чиновнику лицо свое и губы / не смея зеркало по имени назвать...»; или в другом стихотворении: «Я слышу, как зовет меня Хозяин, среди светил и облаков скользя...» И этот зыбкий и универсальный образ

становится страшен и привлекателен, и не отделить в нем (в себе!) Свет истинный от света ложного...

И если не в силах ты противостоять злу, творимому и от твоего имени, то остается как слабое утешение — неучастие, а значит — бегство. Но полным оно быть не может, ибо частицу каинову ты уносишь с собой. Одно из стихотворений Рубина, «Завтра», трактует ту же тему ответственности и всеобщей увязанности, не называя ничего, а просто изображая картину возможной войны, когда «печальными путями Поднебесной / пошла пехота, звезд не замечая. / А Родина — ни в чем не виновата, / среди кукольных полей просторно танкам, / идут вперед рязанские ребята — / разваливая ляжки китайкам...»

Самой значительной в книге представляется мне поэма «Революция».

Это, собственно, не поэма, а тесный цикл лирических стихотворений, внутренние связи между которыми располагают все части в жестком порядке: пафос уничтожения культуры — вот смысл и суть революции. «Невыносимо низок потолок, / невыносимо гениален Блок» — революция — это массовый Сальери, призрак равенства — ценой срубания всех голов, которые торчат над веком, — вот ее неосознанная цель. А впрочем, осознанная в той мере, в какой и Каин, и Сальери ее осознают... «Уже калеки тянут кулаки, / чтоб исправлять мои черновики». Те, кто ради счастья будущих поколений, решая за эти поколения, обрекают современников в жертву Молоху утопий, не жалеют и самих себя — и тем якобы оправданы — перед собой хотя бы... И тут стих Рубина становится стремительным и напряженно-метафоричным. Исчезает вся медитативность, и строки словно наступают одна на другую, давят и толкают друг друга экспрессивные интонации:

«Очередями воздух порван, / и поезда издалека / вонзают станции, как шпоры, / в мои кровавые бока. / Уже мешочники пируют. / Искусство брошено за борт, / и полоумные хирурги / России делают аборт. / Уже людей боятся люди, / деревья просят топора, / уже деревня голой грудью / бросается под трактора...»

Невероятная сжатость этих образов дает картину страшную и точную. И финальное стихотворение, с его рефреном «Умирают боги, умирают», с его заунывной, словно плаче-

вой интонацией, с его тягучим ритмом, оказывается точным контрапунктом к стремительной напряженности средней части поэмы. Композиционно она составлена по принципу сонаты. В этом музыкальность Рубина. Именно в композиции, а не в прямой музыке стиха. Тут он предельно традиционен. Классические пятистопные ямбы доминируют среди его ритмов, но внутренняя насыщенность образов, а иногда, как в поэме, калейдоскоп их — делает звучание его стиха как бы «зрительным звучанием»: не мелодия, смена картин — главное выразительное средство этого интересного, точного и философически тревожного поэта.

Есть, видимо, всё же у поэтов предчувствие своей судьбы. В книге есть цикл стихов или, вернее, раздел, который назван «Дуэль». Это стихи большей частью о Пушкине, о его смерти, но тут же — и стихи о самоубийстве Маяковского, о смерти Пастернака... и о Гамлете. Все это — дуэль. Дуэль с веком, дуэль с Каином вне себя и с Каином в себе... И потому история у Рубина получает название «Кровавого чистописания»...

Василий Бетаки

В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

Приезд румынского писателя Паула Гомы в Париж в ноябре 1977 г. почти совпал с выходом двух книг: незадолго до этого, когда никто еще не был уверен, дадут ли румынские власти писателю разрешение на поездку, вышел составленный молодым румынским писателем и режиссером, недавним эмигрантом Виргилом Танасе сборник «Дело Паула Гомы. Писатель лицом к лицу с социализмом молчания»; вскоре после того, как писатель прибыл в Париж по приглашению французского Пен-клуба, вышел его четвертый роман «В кругу» (или, может быть, точнее «В хороводе»).

Le dossier Paul Goma. L'écrivain face au socialisme du silence. Présenté par Virgil Tanase. Albatros, Paris, 1977.

Paul Goma. Dans le cercle. (In cerc). Trad. du roumain par Yvonne Kral. Gallimard, Paris, 1977.

Широкую международную известность Паул Гома получил, главным образом, весной прошлого года, после своего отважного, уникального в румынских условиях выступления в поддержку Хартии-77, нашедшего продолжение в обращении Гома — уже не в одиночку — к Белградскому совещанию. К восьми авторам обращения за недолгое время присоединили свои подписи около двухсот румынских граждан: для страны «сталинизма с человеческим лицом», где мнимо независимая внешняя политика соединяется с удушающим подавлением всякой внутренней свободы, это было подобно разорвавшейся бомбе. Вопреки полицейским преследованиям, угрозам, усиленным попыткам изоляции (в дневнике Паула Гома, опубликованном в книге Танасе, подробно, день за днем, регистрируются все начатые и прерванные телефонные разговоры, все попытки людей встретиться с ним вопреки полицейским постам перед дверьми квартиры и дома), до самого своего ареста Паул Гома оставался для своих сограждан чем-то вроде «румынского Сахарова», «народного заступника», того, кто может передать миру и отчаянные просьбы об эмиграции, и сведения о психиатрическом заключении по политическим мотивам. (Этот вид репрессий не является монополией Советского Союза, как свидетельствуют теперь об этом выехавшие на Запад друзья Паула Гома психиатр Ион Виану и рабочий-коммунист; неоднократно объект психиатрических преследований, Василе Парашив.)

Но письмо в поддержку Хартии-77 было далеко не первым открытым протестом Паула Гома против социалистической несвободы. Выпустивший на родине единственную книгу рассказов в 1967 г. и вскоре окончательно запрещенный писатель, вынужденный публиковаться только за границей, только в переводах, Паул Гома еще пять лет назад, обращаясь к Президенту Международного Пен-клуба Генриху Бёллю, разоблачал нарушение в Румынии не только таких важных для писателя прав, как свобода слова, свобода информации, но и более широких: свободы собраний и объединений, права на забастовку, права путешествий за границу и выезда на жительство в другую страну. Выпущенный тогда же румынскими властями на год во Францию — с явной надеждой, что не вернется этот беспокойный человек, перестанет надоедать своими открытыми письмами и протестами, — Паул Гома не оправдал ожиданий и вернулся. И продолжал

открыто выступать во всех случаях, когда считал нужным выразить несогласие с политикой будь то руководства Союза писателей, будь то руководства страны и самого диктатора Чаушеску.

Если мы вместе с Виргилом Танасе сделаем еще скачок назад в биографии Гомы, мы, может быть, поймем, откуда в нем взялось такое упорство в поединке с властями. В 1956 году, после подавления венгерского восстания, молодой студент публично читает отрывок из начатой им книги и тут же попадает в тюрьму. Два года страшных румынских тюрем, которых не коснулась никакая оттепель, четыре года в ссылке, в специальной «деревне-лагере», несколько лет полубезработицы и скитаний по стране, наконец — сравнительное благополучие, первые публикации в журналах, редакторская работа, первая книга рассказов, награжденная литературной премией, и атмосфера относительной свободы творчества в стране. Некоторое время свободы почти абсолютной — за одним (одним, но каким!) исключением: можно быть любым формалистом, модернистом, кем хочешь (в 70-е годы и с этим стало сложнее), только упаси Боже касаться тюремно-лагерной темы. И те, кто выжил после пыток в тюрьмах, после рабского труда на канале Дунай — Черное море, после чудовищных лагерей «перевоспитания», система которых сравнима разве что с китайской, — молчали.

Первый же роман Паула Гомы «Остинато» (в переводах названный «Камера освобождающихся») был запрещен. Из четырех вышедших на Западе романов еще один, «Герла» (Герла — это одна из самых страшных тюрем 40-50 годов), целиком посвящен этой теме. Прежде чем стать «румынским Сахаровым», Гома уже стал «румынским Солженицыным». «Герла» — скорее не роман в чистом виде, а так же, как «Архипелаг ГУЛаг», опыт художественного исследования концентрационной вселенной.

Последняя книга Паула Гомы переносит нас в более мирную обстановку. Для тех, кто читал его роман о четырех женщинах, таинственно запертых в комнате горного пансионата, эта обстановка знакома: тот же пансионат, даже некоторые герои те же. И та же изолированность, отрезанность от мира: если там четыре героини заново проживали свое прошлое, запертые на ключ, поворота которого они даже не заметили, — теперь пансионат замкнут пургой,

снежными обвалами. Но и в этих двух романах «из мирного времени» тема тюрьмы и деревни-лагеря возвращается в диалогах или внутренних монологах героев.

Изоляция — естественное качество места действия в романах Гомы. Если ты не заключенный в камере, тебя замкнет в четырех стенах стихия. И это не навязчивая идея или удобный литературный прием: четыре стены — верная модель закрытого общества. А совместная, коллективная изоляция, которая должна бы сблизить в общей беде, только подчеркивает разьединенность, отсутствие взаимопонимания и, главное, доверия между людьми.

Кружась в одном хороводе, все подозревают всех. Старик-немец Вальтер, управляющий и портье пансионата, постепенно укрепляется в своем подозрении, что писатель Зено участвовал в убийстве его жены. Зено подозревает Дамиану в том, что она и есть та таинственная Текла, которая загубила его литературную судьбу, толкнула его на гибельный путь конформизма. Муж Дамианы, бывший полицейский старого режима, ясно видит, что старый коммунист Йосуб занят слежкой — только вот за кем? скорее всего, за Зено.

А Йосуб, прототип одного из героев романа Зено «Объединенные поля» (румынской «Поднятой целины»), нежно любит писателя. А убийца жены Вальтера спокойно служит в пансионате. А Дамиана, по всей своей биографии, известной читателю, но неизвестной Зено, не может быть той таинственной Теклой. И загубил-то писателя Зено не кто иной, как он сам.

Вспомним, что отрывок из книги, за чтение которого двадцатилетний Паул Гома попал в тюрьму, рассказывал о жестокостях румынской коллективизации, что эта книга должна была бы стать анти-«Поднятой целиной», анти-«Объединенными полями», — и мы поймем, что писатель анализирует формально куда более благополучный, но, к счастью, не состоявшийся вариант собственной судьбы. И что бы с тобой ни случилось, некого винить, кроме себя самого. Не обменявшись ни словом с Дамианой, которая в душе сострадает этому явно чем-то терзаемому и пьянством заливавшему свои терзания человеку, Зено словно подсознательно чувствует, что перед ним глубоко противоположный тип личности, а следовательно враждебный, а

следовательно — этой незнакомой женщине навязывается мнимое преступление другой, из давно-прошедшего, настолько навязчиво присутствующей в мыслях и воспоминаниях Зено, что читатель, в конце концов, начинает слегка сомневаться, да существовала ли эта Текла вообще.

Дамиана, всю жизнь находящая не тех, с кем она была бы особенно счастлива, а тех, кто был бы особенно несчастен без нее, и сосредоточенный только на своей опустошенности Зено — два полюса романа, эпиграфом к которому недаром избраны евангельские слова: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ио. 12, 24).

Н. Горбаневская

Вышла из печати книга

Илья Рубин

ОГЛЯНИСЬ В СЛЕЗАХ

Поэзия, критика, проза

250 стр.

Цена — 36 фр. фр.

Трагическая и преждевременная смерть в возрасте 35 лет оборвала жизнь замечательного поэта и эссеиста Ильи Рубина. За 10 месяцев жизни в Израиле Рубин успел опубликовать часть своих стихов и несколько статей. Эти публикации привлекли внимание читающей публики как на Западе, так и в СССР.

Книготороварищество «Москва-Иерусалим» выпустило книгу Рубина, в которой собрано почти все его литературное наследие.

Заказы направлять:

В Израиле: Р. Нудельман (M-r R. Nudelman), Тель-Авив,
почтовый ящик 23121

В Европе: В. Бетаки (M-me V. Betaki), 17 av. de Celle, 92360
Meudon la Forêt, France.

Читайте в следующем номере «Континента»

прозу

**В. Ворошильского, Ф. Канделя,
В. Некрасова**

СТИХИ

**Н. Горбаневской, В. Делоне,
В. Иверни**

публицистику

Г. Андреева, М. Джиласа, А. Сахарова

Коротко о книгах

АЛЕКСАНДР ГАЛИЧ

КОГДА Я ВЕРНУСЬ

Посев, Франкфурт, 1977

Новая книга Александра Аркадьевича Галича вышла всего за несколько дней до его смерти. Так она и оказалась его последней книгой. В послесловии, вспоминая слова Эйзенштейна о том, что каждый кадр надо снимать так, словно он — последний в вашей жизни, Галич пишет: «Не знаю, насколько справедлив этот завет для искусства кино, для поэзии это закон. Каждое стихотворение, каждая строчка, а уж тем более книжка — последние. И, стало быть, это моя последняя книжка».

Открывается она той песней, которая стала классикой буквально сразу после того, как прозвучала впервые. Эта песня — «Когда я вернусь» — дала название и всему сборнику.

Впервые в этой книге напечатана одна из лучших вещей Галича — поэма «Письмо в семнадцатый век», в которой на тесном простран-

стве ста с лишним строк соседствуют глубочайший лиризм и хлесткая памфлетность, двадцатый век, с его постыдными и пошлыми «светилами из светил», и семнадцатый, в котором поэт видит «прекрасную даму» — девушку с картины Вермеера. И причудливое переплетение мира реального, мира, в котором обитатели государственных дач страшны прежде всего пошлостью, с миром идеальным, миром красоты, отнесенным автором условно на триста лет назад...

Я славлю упавшее в землю
зерно

И мудрость огня.

За все, что мне скрыть от
людей не дано, —

Простите меня!

Ибо едва ли есть что страшней, чем стыд за свое время и свою родину... И в «Песне об отчем доме» «некто с пустым лицом», словно

из мира Кафки явившийся в реальный московский быт наших дней, олицетворяет собой всё то зло, которое превратило Россию в «большую зону»...

Над блочно-панельной
Россией
Как лагерный номер —
луна...

Многие из стихов и песен этой книги публиковались отдельно в журналах «Континент», «Грани», «Посев». Теперь, собранные воедино, они видятся в ином, особом свете, в том, который в книге большого поэта всегда отбрасывают друг на друга отдельные стихи, оставаясь самостоятельными и все же сливаясь в некую метасистему, называемую книгой — именно книгой стихов, а не сборником. Само единство их при разнообразии дает книге то дополнительное — а может, и самое главное — звучание, которого в случайном подборе стихотворений не бывает. Так, после цикла «Дикий Запад» впервые опубликованный полный цикл песен о Клите Петровиче выглядит с особой остротой и беспощадностью.

Заканчивается эта книга поэмой «Вечерние прогулки» — поэмой, разрабатывающей уже существовавший ра-

нее в поэзии и драматургии жанр, так называемую «оперу нищих», состоящую из множества монологов, произносимых, как правило, в кабаке самыми разными персонажами социального дна. Галич пишет свою «оперу нищих» на сегодняшнем материале советской действительности. Сохраняя всю традиционную полифонию, он персонажей своих выпустил перед нами на сцену ленинградского шалмана, и все сегодняшнее советское «дно», от спившегося работника до «действительного члена» КПСС, заговорило, запело, закричало смехом и горем, позором и яростью...

«Когда я вернусь» называется эта книга, но есть в этом и неточность, если говорить по большому счету: Галич никогда из России не уезжал, уехал человек, вынужденный к тому позорной действительностью, но поэт Галич остался в каждом доме, где есть магнитофон, и там, где нет его. Песни Галича поет вся Россия и читающая, и даже не читающая. В этом смысле популярность его как истинно народного, всенародного поэта — безгранична.

ТРЕВОГА И НАДЕЖДА

«Хроника», Нью-Йорк, 1977

Этот очерк написан лауреатом Нобелевской премии мира академиком А. Д. Сахаровым по просьбе норвежского Нобелевского комитета для сборника, который выйдет на многих языках мира. Еще раз, еще определеннее и конденсированнее, А. Д. Сахаров формулирует свои основные положения о взаимосвязи справедливости и соблюдения прав человека в одной части планеты с безопасностью всего человечества. Нобелевский лауреат в своей новой работе дает беспощадно реальную картину современного советского общества, называя его «наиболее рафинированной, развитой формой тоталитарно-социалистического общества». Если «60-летняя история нашей страны полна ужасного насилия, чудовищных внутренних и международных преступлений, гибели, страданий, унижения и развращения миллионов людей», то в результате ее «возникло кастовое, глубоко циничное и опасно ... больное общество, в котором правят два принципа: «блат»

... и житейская квазимудрость, выражающаяся словами: стену лбом не прошибешь». Под этой застывшей, стабилизированной поверхностью академик Сахаров вскрывает массовую жестокость, бесправие рядового гражданина перед властями и полную бесконтрольность властей — «как по отношению к собственному народу, так и по отношению ко всему миру, что взаимосвязано».

Распространение советской «больной несвободы» — угроза безопасности всей планеты, и не только в силу заражения общими принципами тоталитаризма, но и потому, что «в СССР на костях миллионов рабов ГУЛага, путем безжалостной эксплуатации человеческих и богатейших природных ресурсов огромной страны удалось создать мощную, хотя и односторонне развитую (т. е. милитаризованную — Р е д.) экономику». «Закрытость» советского общества еще увеличивает эту угрозу: советская правящая клика никому не подотчетна в сво-

их действиях, ни перед кем не ответственна. Поэтому «проблема «закрытости» общества вплотную смыкается с проблемой гражданских и политических прав, почти тождественна ей. Именно поэтому вопрос о правах человека — не только нравственный, но и первостепенный практический вопрос международного доверия и безопасности».

Для достижения реальной разрядки, т. е. обеспечения международной безопасности, по мнению Сахарова, существенны: разоружение, усиление международного доверия, преодоление закрытости социалистической системы, защита прав человека во всем мире.

А. Д. Сахаров подчеркивает значение чехословацкой Хартии-77 и успешной борьбы польского Комитета защиты рабочих. Говоря о своей собственной стране,

он отмечает деятельность «Хроники текущих событий», Инициативной группы по защите прав человека, Комитета прав человека, Хельсинкских групп, а также национальных движений (евреи, немцы, украинцы, литовцы, эстонцы, армяне, грузины, крымские татары и др.).

Приветствуя новую активную позицию в деле защиты прав человека, занятую некоторыми западными парламентариями, членами правительств и главами государств, в частности — позицию президента Картера, Андрей Дмитриевич Сахаров убежден, что «можно и нужно пойти далее и принять борьбу за права человека во всем мире важнейшей составной частью всех международных отношений, гарантий их нравственной силы и практического, прочного успеха».

ПЕТР ГРИГОРЕНКО

СБОРНИК СТАТЕЙ

«Хроника», Нью-Йорк, 1977

В сборник вошли открытое письмо генеральным секретарям компартий Франции, Италии и Великобритании (ноябрь-дек. 1975), очерк

«О психиатрических больницах СССР» (январь 1976) и фрагменты из книги «Наши будни» (1977).

Открытое письмо, как пи-

шет П. Г. Григоренко, — в его жизни «не первая... попытка установить общение с международным коммунистическим движением». Вместе с А. И. Костериным Григоренко в 1968 г. уже обращался к Будапештскому совещанию компартий: «Но я за это обращение просидел год в темном сыром подвале Ташкентского КГБ и 4 года 2 месяца в самой страшной из советских тюрем, в так называемой специальной психиатрической больнице, подвергался избиениям и другим физическим и моральным пыткам». Руководители трех компартий, к которым тогда обращалась З. М. Григоренко, обошли призыв о помощи полным молчанием. Указывая на сообщения, которые свидетельствуют о — серьезном или только тактическом? — повороте этих компартий от тоталитаризма к плюрализму, П. Г. Григоренко демонстрирует коммунистическим лидерам, как выглядит социализм в «социалистическом лагере»: гонения на веру и верующих, геноцид, подавление всякого инакомыслия лагерями и психиатрическими тюрьмами, полное отсутствие свободы информации. Убедительно отвергает П. Г. Григоренко отговорку западных комму-

нистов о невмешательстве в дела других стран. Приводя цитату из статьи Луиджи Лонго по поводу смерти Франко, он пишет: «Эту программу тов. Лонго, по-видимому, не считает вмешательством во внутренние дела Испании. Ну, а если мы в приведенной цитате заменим *Франко, франкизм, франкистский режим, Испания на Сталин, сталинизм, сталинский режим, СССР*, то суждения Лонго станут неверными? В этом случае на них следует смотреть как на попытку вмешательства во внутренние дела, как на возрождение нравов «холодной войны»?»

П. Г. Григоренко считает, что доказать реальное стремление к плюрализму западные компартии могли бы, только выставив первым требованием поголовную амнистию всех политзаключенных в СССР и запрещение использования психиатрии как способа подавления «инакомыслия».

Этому способу подавления посвящен второй текст в книге, глубоко развивающий, в чем-то исправляющий и даже опровергающий прежние очерки Григоренко на ту же тему. Многолетнее за-

ключение в Черняховской спецпсихбольнице, встречи с политзаключенными, побывавшими в других психиатрических тюрьмах — всё это убедило П. Г. Григоренко, что он был неправ, предполагая, что сама «идея психиатрических специальных больниц ... ничего плохого не содержит», преступно же и античеловечно только ее осуществление. Опыт показал, что античеловечное осуществление заложено в самой идее: именно она создает «учреждения бесконтрольного и не опирающегося на закон политического террора».

Среди фрагментов из книги «Наши будни» наиболее злободневным выглядит очерк «Кто же такие эти диссиденты?» Глазами не стороннего летописца, но непосредственного участника П. Г. Григоренко показывает развитие правозащитного движения и людей, с которыми он в нем встретился и которые стали его друзьями. «Читатель мой,

ты, возможно, удивлен, — говорит Григоренко. — Я взялся рассказать о том, кто такие диссиденты, а рассказываю о своих друзьях. Не удивляйтесь. Я и сам не знаю, кто такие «диссиденты». Людей, которых что-то объединяет, принято называть каким-то общим названием. Поэтому мы и откликаемся на не нами придуманную кличку. Мы могли бы назвать себя как угодно, но всё дело в том, что сделать этого мы не можем. *Мы не организация.* И название нам поэтому противопоказано. Мы просто люди, несогласные с тем, что писать можно одно, а говорить другое... А самое главное, мы убеждены, что каждый человек свободен в своих убеждениях и имеет неограниченное право их распространять... Собственное свободомыслие и терпимость к чужим убеждениям — вот то, что создает взаимоприятие моих друзей, людей, которых называют «диссидентами».

ВЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВИЛ

Я НИЧЕГО У ВАС НЕ ПРОШУ!

Viatcheslav Tchornovil. Je ne vous demande rien! Ed. PIUF, Paris, 1977

В 1967 году В. Чорновил был осужден на три года лагерей по ст. 187-1 УК СССР

(= 190-1 УК РСФСР). Вячеслав Чорновил коротко и иронично описывает пробу-

ждение в нем вольности: «Не так уж давно я с успехом сдал экзамен по философии марксизма. Но случайно мне в руки попала украинская книга, изданная на Западе, и я тотчас же стал буржуазным националистом (без буржуазии!). Затем я прочел пекинскую брошюру об «оппортунизме КПСС» — и превратился в маоиста. Позже я услышал по радио речь папы — и вот я уже иезуит!»

Чорновил был вновь арестован в январе 1972 года во Львове. Суд над ним состоялся год спустя, в феврале 1973 г. Его осудили по ст. 62 УК УССР (= 70 УК РСФСР) на семь лет лагерей и пять — ссылки.

Часть материалов вышедшего по-французски сборника работ Чорновила посвящена описанию преследований, которым подвергаются инакомыслящие на Украине. Анализируя несоответствие между буквой советского закона и его реальным применением, Вячеслав Чорновил выявляет лицемерие и антигуманный характер советского правосудия. В книге упоминается множество имен украинских инакомыслящих, уже ставших известными на Западе: Гель, Осадчий, Светличный, Антонюк, Мельни-

чук, Мороз, Озерный, Кузнецова, Мартыненко, Масютко, Горин, Чубатый, Косив и др. О себе Чорновил пишет мало, но мы знаем, что в 1974 году на 17 лагункте он держал голодовку; что в ноябре 1974 года Чорновила, Геля и Осадчего привезли из Мордовии на Украину, где они были временно заключены в тюрьмы КГБ. Известно также, что 1 марта 1975 года Чорновил, обратившись с письмом к Подгорному, отказался от советского гражданства. А 4 апреля 1976 года Чорновил, Стус и Хейфец провели однодневную голодовку протеста против грубого обращения с заключенными в карцере. Даже будучи в тисках несвободы, Чорновил продолжает борьбу. Свидетельство этому — хотя бы «Диалог за колючей проволокой» Чорновила и Пенсона («Континент», № 6).

Книга Чорновила, являясь своеобразным путеводителем в лабиринтах советской юстиции, поднимает и множество острых вопросов, связанных с борьбой советских людей против несвободы и насилия власти. Одним из них является вопрос о так называемой социалистической законности. Борьба за соблюдение властью ею же

самой созданных законов в неправовом, тоталитарном государстве может быть только тактикой или стратегией. Или же превращается в таковую по объективным причинам, независимо от личных устремлений участников этой борьбы, — именно в силу тоталитарного характера самого государства, для которого принятие каких бы то ни было правовых норм применительно к реальности является самоубийственным.

В книге Чорновила поднимаются и другие жизненно важные проблемы — и, прежде всего, национальный вопрос. Он присоединяется к словам Валентина Мороза: «Я не считаю себя буржуазным националистом, я не сторонник ни буржуазии, ни

националистов, но я хочу, чтобы Украина обладала теми же правами, что ее социалистические сестры Россия, Польша, Чехословакия...»

Вторая часть книги посвящена выступлениям, статьям, письмам Дзюбы, Лукьяненко, Горбового, Масютко и других участников украинского сопротивления. Тут письма из мордовских лагерей, критика антисемитизма на Украине, заявления, протесты, письма в «Правду», в Верховный совет.

Можно соглашаться или не соглашаться со многими мнениями и оценками Чорновила и его товарищей, но нельзя не уважать их мужества и честности, их неколебимого стремления к правде и свободе.

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ

ПЬЕСЫ. 1970—1976.

Václav Havel. Hry. 1970—1976. Sixty-Eight Publ., Toronto, 1977.

Писать «в стол» или даже для самиздата пьесы куда трудней, чем стихи или прозу. Для драматурга, у которого перед тем вся творческая жизнь проходила в театре, в определенном театре, взрастившем его и понимающем, — как у Вацлава Гавела в пражском театре На

Забрадли — особенно трудно. А если еще запрет на постановку спектаклей и на публикацию — не просто неприятность с одним драматургом, а лишь одна из многих деталей новой эпохи, что тогда? Тогда еще трудней, потому что эпоха чего-то настойчиво требует, а че-

го? Что найти ей в ответ? Ситуации прежнего гавеловского театра абсурда слишком реалистически повторились в жизни, чтобы можно было их снова повторить в пьесе. «...Позиция неучастующего и развлекающегося наблюдателя внезапно стала какой-то неадекватной, устарелой, даже несколько уклончивой, — пишет драматург в послесловии к новой книге своих пьес. — Чересчур это начало касаться каждого из нас, и новый мир, в который мы вступали, имел совершенно иные экзистенциальные измерения, нежели те, к которым мы привыкли: пусть не только потому, что его приход был озарен пламенем человеческого самосожжения, но ведь всё общество мгновенно поняло этот акт! Нет, с 60-ми годами не было уже ничего общего! Разумеется, снова пошли в ход унижение, ложь, доносы, предательство, опять всячески навязывалась тема тождественности человека самому себе и экзистенциальной шизофрении — только всё это разыгрывалось в какой-то совсем иной плоскости... Чем высмеивать, хотелось взять и закричать. Естественно, что в такой ситуации я вдвое сильнее чувствовал, что должен писать иначе, чем преж-

де. Как — этого-то я и не знал».

Книга Гавела — не одни результаты, но и сам путь поисков. Пьеса 1971 года «Заговорщики» — попытка рационального овладения мучительной проблематикой: действие перенесено в абстрактную страну, где готовится путч, и вся пьеса исследует механизм стремления к власти и связанных с этим жестокости, а главное — постоянного, на каждом шагу, предательства. Сам Гавел считает, что слишком много расчетов было вложено в нее и вышла пьеса «без блеска, без крови, без юмора и без тайны». Следующую пьесу, «Оперу нищих» (1972), на старый сюжет Джона Гэя, Гавел писал без излишней спекулятивности и «не раздираемый чувством, что всё решается». И в старом, многожды использованном сюжете оказались и блеск, и кровь, и юмор, и тайна, и что-то очень важное относительно мира, в котором мы живем: мира, управляемого несколькими, вечно обманывающими друг друга и вечно друг с другом сговаривающимися бандами уголовников. «Опера нищих» была единственной пьесой, которую автор увидел на сцене — в исполнении люби-

тельского молодежного коллектива. Спектакль был, конечно, не разрешенным, поэтому — единственным, а автор за свою поездку в деревню, где шел спектакль, был наказан вполне в духе театра абсурда: у него отняли автомобильные права.

Самые знаменитые из пьес Гавела — «Аудиенция» и «Вернисаж», каждая в одном акте, каждая написана легко и незамысловато (Гавел и написал-то их просто для друзей). Они почти автобиографичны: герой первой, по фамилии Ванек, и герой второй, по имени Бедржих, имеют одну и ту же профессию в прошлом и настоящем — драматург, который работает грузчиком в пивоварне. Первая пьеса — разговор начальника Сладека (т. е. Пивовара) с непонятным и непонятливым, еще и пива не пьющим, интеллектуалом. Главное, интеллектуал никак не хочет понять, что надо бы всё как следует о себе рассказывать и тем облегчать начальнику его стукаческие обязанности. А ведь он, пивовар, с ним по-дружески, как с человеком... Так же по-дружески относится к Бедржиху и супружеская пара во второй пьесе: театрально агрессивные конформисты, которые уверены, что

стоит Бедржиху обставить, как они, квартиру, научить жену готовить всякие хитрые блюда да еще не связываться с «не теми» людьми — и жизнь пойдет: и в редакции будешь работать, и за границу ездить. Обе пьесы были поставлены во многих театрах, на радио и телевидении Западной Европы и Америки.

Последнюю пьесу, «Горный отель» (1976), Гавел поставил в сборнике раньше, чем «Аудиенцию» и «Вернисаж», считая, что она замыкает предшествующий этап его творчества, а эти пьесы 1975 года открывают новый. Возможно, что и так. «Горный отель» демонстрирует крайнюю ситуацию всеобщей шизофрении: тут не просто раздвоение или потеря личности, тут приметы личности с легкостью бродят от персонажа к персонажу, люди обмениваются биографиями, излюбленными фразами, манерой поведения, а время пляшет вокруг именин начальника, которые то будут сегодня, то были вчера, то — в следующем действии — будут завтра и т. д. Театральность этой пьесы несомненна, хотя пока она не поставлена и автор не уверен, будут ли ее когда-нибудь играть.

Александр Ват. МОЙ ВЕК.

Aleksander Wat. Mój wiek. Pamiętnik mówiony

Cz. 1-2. Polonia Book Fund, London, 1977

«Наговоренные воспоминания» — подзаголовок этой книги, и это не просто формальное, даже техническое указание. То, что воспоминания польского поэта Александра Вата были не написаны, а рассказаны — притом рассказаны не бездушному звукозаписывающему устройству, а чуткому, любознательному, стимулирующему на размышления собеседнику, поэту Чеславу Милошу, — определило стиль, тон, невероятный накал этой уникальной книги.

Для любого человека, причастного к польской культуре, книга Вата станет неисчерпаемым источником сведений о поэзии, поэтах, литературных направлениях в междувоенной Польше. Для всякого, кому солженицынский «Архипелаг» не «закрывл» лагерно-тюремную тему, а наоборот — прибавил желания знать об этом всё больше и больше, необыкновенно ценными будут рассказы Вата о скитаниях по советским тюрьмам, о казахстанской ссылке. Но этими «кладами информации» значение книги далеко не исчерпывается.

В романе чешского писателя Йосефа Шкворецкого «Мираклъ» старый поэт, авангардист незапамятных времен, вспоминает: «Иржи-чек Волькер знал «Коммунистический манифест» наизусть. Декламировал его всегда, как только слегка поддадим, сразу после «Пояса» Аполлинера. Это он тоже знал наизусть». Вот эту загадку — загадку одновременной зачарованности Аполлинером и Марксом, подверженности авангардистов и вообще «передовой интеллигенции» коммунистическому соблазну — на собственном горьком жизненном опыте, вспоминая и перевспоминая, мучительно решает Александр Ват.

Поэт никогда не был членом компартии, но многие годы принадлежал к числу наиболее ревностных ее попутчиков и в своей ревностности (будучи редактором криптокоммунистического «Месенчника литерацкого») часто был куда радикальнее самих коммунистов, всегда соображавших свои действия и критические высказывания с тактическими нуждами. Именно на этой почве, как ни парадоксально, начи-

наются первые конфликты между поэтом и коммунистами. Первый взрыв, положивший начало отходу поэта от коммунизма, относится к временам, когда один из вождей польской компартии на страницах «Ин-прекора» (коминтерновского органа в Берлине) приветствовал приход Гитлера к власти (по принципу: Гитлер не удержится, массы взбунтуются, и коммунизм победит). Путь Александра Вата был нетипичен: если многие интеллигенты повернули к коммунизму в 30-е годы, видя в нем единственную альтернативу нацизму, то Вата «именно гитлеризм оттолкнул от коммунизма», ибо он «начал видеть сходства, аналогии». Ко времени «московских процессов», когда одни разочаровывались, а другие говорили «им виднее», Александр Ват уже заработал среди коммунистов репутацию «ренегата».

Сам Ват, прошедший в 40-е годы в советских тюрьмах глубокий душевный перелом и обратившийся к религии, объясняет «коммунистический соблазн» почти мистически, иногда прямо говоря о дьявольских силах. Некоторые польские рецензенты отнесли к такому истолкованию иронически, но, если

подойти к этой проблеме так глубоко, как подошел поэт, и увидеть в дьяволе не просто «чёрта с рогами», а извечное, в Евангелии запечатленное искушение, бесовство, играющее возвышенными словами на самых простых инстинктах, — трудно не признать его глубинной правоты.

Лешек Колаковский в своей рецензии на книгу Александра Вата («Культура», 1977, № 11) подчеркивает, что поэт, рассчитавшись с коммунизмом как с интеллектуальной проблемой, не переставал размышлять о психологических формах его воздействия, о том, как коммунизм (причем не только у власти) превращает людей в трусов и подонков. «Это могло бы показаться мало актуальным, — пишет Колаковский, — ввиду гибели коммунистической идеологии на территории советского господства; однако это остается актуальным и важным по более общим причинам, не связанным со специфическими свойствами этой идеологии, которая как выдающийся пример светского обскурантизма оказалась не только много мрачнее обскурантизма религиозного, но, главное, куда непоправимей».

По страницам журналов

«SVĚDECTVÍ», 1977, No 54:
Josef Sládeček. Nečekání na Godota.

Пражский автор, член КПЧ до 1969 г., подписавшийся псевдонимом Йосеф Сладечек, в статье «Не ожидая Годо», опубликованной в парижском чехословацком журнале «Сведectви», оценивает значение Хартии-77. Он пишет, что уже за первые полгода своего существования движение Хартии показало, что «не является простым отражением власти, ее ежедневной практики, краткосрочных маневров, тактического давления и стратегического наступления», но «живет своей специфической жизнью». Эту специфику автор резюмирует в девяти пунктах:

1. Хартия-77 — это движение граждан, которые поняли, что свобода есть прежде всего забота о свободе и что за нарушения прав человека граждане несут свою долю ответственности. Использовать законные права, добиваться их осуществления — означает действенную полемику с отчаянием и растерянностью перед лицом нарушения прав властями. 2. Не ограничиваясь критикой состояния прав человека в стране, документы Хартии-77 указывают власти возможные выходы и предлагают конструктивное сотрудничество граждан. 3. Хартия-77 — не одноразовая кампания, которая кончится с окончанием какой-либо международной конференции. Подписав Хартию, ее участники обязались принять на себя долгий и утомительный труд, но только выдержка может восстановить сознание общественных ценностей и социальный консенсус. 4. Движение Хартии не ограничивается теми, кто ее подписал, — в него, согласно первому заявлению, входят все, кто согласен с идеями Хартии, участвует в ее работе и поддерживает ее. На первый взгляд, при встрече с могущественным централизованным полицейским аппаратом бой идет не на равных, но оказывается, что «сознатель-

ный отказ от организационных «подпорок», этих вечно неоднозначных рычагов и протезов социального действия, имеет в себе нечто от Ганди: противопоставить силе слабость, по возможности — умную слабость. Сила в такой конфронтации, как правило, «споткнется», растеряется и утратит равновесие». 5. Участники движения представляют все мировоззрения, идеологии, политические взгляды, вероисповедания, поколения, профессиональные группы, существующие в Чехословакии, но, не скрывая своих разногласий, в рамках движения они приняли политическую сдержанность. Автор считает плюрализм Хартии «отражением определенной зрелости политически заинтересованной части общества, которая довольно эффективно излечилась от идеологических иллюзий и самообманов». 6. Автор констатирует единственное исключение в широкой представительности Хартии — незначительное, ограниченное несколькими именами, участие словаков. 7. Хартия есть решительный отказ от давней чешской традиции искать могущественных заступников вне страны. Нельзя не радоваться поддержке, которую получила Хартия за пределами Чехословакии, но обращена она к соотечественникам. 8. Неполитический, т. е. внеидеологический характер движения является в то же время политическим в нормальном смысле слова, так как касается всё более широкого круга проблем жизни всего общества. Тут, впрочем, автор делает оговорку, что «этим Хартия отличается от родственных движений в СССР, Польше, ГДР, которые либо более идеологизированы, либо связаны только с одним или некоторыми (часто преходящими) аспектами социальной жизни». С этим трудно согласиться, но, зная, насколько жестким железным занавесом окружена последние годы Чехословакия, можно поставить эту ошибку в счет недостаточной информированности. 9. Что касается международной сцены, то все движения в защиту прав человека в странах советского блока позволяют придать новые масштабы слову «разрядка»: «либо она будет сосуществованием государств, которые будут поддерживать определенные нормы прав человека, либо — вооруженным перемирием блоков, за ворота-

ми которых может твориться всё, что угодно, вплоть до самого худшего».

Начав с предыстории Хартии (пьеса Гавела «Аудиенция», процесс молодых музыкантов), автор заканчивает свой обзор репрессиями против ее участников. Он подчеркивает, что, если правительственная пропаганда обрушилась прежде всего на бывших коммунистов, то это была попытка изобразить Хартию делом рук всё тех же «вечных революционеров» и тем оттолкнуть от нее широкие и, как хорошо известно властям, антикоммунистически настроенные слои общества. (К этому наблюдению можно прибавить, что аналогичную попытку, хотя и с иными целями и также вопреки намерениям участников Хартии, предприняли многие западные органы печати: приятно вставить широкое общественное движение в удобные рамки еврокоммунизма.) Однако «политическая карта неконформистской части чешского общества сегодня вычерчена — пока еще слегка, начерно — в соответствии с иными позициями, нежели традиционно идеологические, полные скрытых упреков, недоверия и злопамятства».

VIVRE A L'EST

«Les Temps Modernes», Nov.-Déc. 1977, NoNo 376-377

Специальный сдвоенный номер парижского журнала «Тан модерн» называется «Жить на Востоке» и посвящен повседневной реальности в странах Восточной Европы. Если восточноевропейское «диссидентство», вслед за советским, перестало быть для западноевропейцев и, в частности, для французов неведомой областью, то жизнь как таковая, жизнь изо дня в день в социалистическом раю, в «большой зоне» социалистического лагеря всё еще остается terra incognita. Сборник «Жить на Востоке» — пожалуй, первое подробное свидетельство, охватывающее практически все стороны повседневной жизни: власть партийного аппарата, бесправие трудящихся, бессмыслицу централизованного планирования, дискриминацию крестьян, фальшивое равноправие

женщин, подавление национальных меньшинств, молодежную преступность, репрессии против неофициальной молодежной культуры, смертельную ненависть обитателей коммунальных квартир, жизнь социалистических трущоб, всеобщую советизацию образа жизни и — тему уже более известную — положение творческой интеллигенции. Каждый раздел: «Работать», «Быть женщиной», «Быть молодым», «Выжить», «Невзгоды интеллигентов» — составлен из текстов как самиздатских, так и официально изданных в странах Восточной Европы (несколько текстов написаны восточно-европейскими эмигрантами специально для сборника), и каждый заканчивается страничкой, озаглавленной «Уж лучше смеяться», страничкой анекдотов, которые иногда острее любого текста дают понять существо жизни в мире социализма, которая отличается от западной не количественно, как кажется иногда (на Западе — «общество потребления», на Востоке — уровень потребления пониже), но качественно.

Забавно, что под крылышком директора «Тан модерн» Жана-Поля Сартра выпущено свидетельство, которое больше, чем даже свидетельства о ГУЛаге, способно «разочаровать рабочих Бийянкура», — точнее, было бы способно, если бы «рабочие Бийянкура» читали «Тан модерн», этот излюбленный журнал левой интеллигентской элиты. Но, быть может, и для нее это чтение не пройдет даром.

«CAHIERS DU MONDE RUSSE ET SOVIETIQUE»

1976, No 4

Высшая школа общественных наук в Париже издает в течение 17 лет кварталный журнал «Cahiers du Monde Russe et Soviétique», точный перевод названия которого дать весьма затруднительно, ибо оно буквально обозначает «Тетради русского и советского мира», но которое можно было бы вполне передать, как «Журнал русской и советской истории». Среди членов редколлегии журнала мы видим такие имена, как Мишель Окутюрье, Александр Бенигсен, Ален Безансон, Элен Каррер д'Анкосс, Мишель Конфино, Жорж Хопт, Жорж Нива, Элен Замойска, Базиль Керблай и другие.

Журнал публикует статьи как на французском, так и на английском языках и отличается высоким научным уровнем. В последнем номере, вышедшем в декабре 1976 года, мы находим ряд очень интересных публикаций. Статья Мишеля Окутюрье носит название: «Ленинизм» в советской литературной критике». Окутюрье рассматривает вопрос о том, почему советская литературная критика считает Ленина одним из главных своих основателей. Он разбирает сборник «В. Ленин о литературе и искусстве», вышедший в 1969 году в Москве. В этом сборнике 822 страницы. Окутюрье замечает, что, судя по числу его страниц, можно подумать, что Ленин оставил обширное литературно-критическое наследство, сравнимое хотя бы с наследием Плеханова и Луначарского.

Но достаточно пролистать сборник, — говорит Окутюрье, — чтобы убедиться, что подавляющее большинство его материалов не имеет никакого отношения к литературе и искусству. Большей частью это тексты, где упоминаются какие-либо писатели, либо персонажи их произведений, хотя сами тексты являются частью произведений, посвященных политике, философии или экономике.

Вплоть до 1930 года Ленин не считался в СССР авторитетом в области литературы. Один из ведущих критиков того периода Вячеслав Полонский писал в 1927 году, что Ленин оставил только четыре маленьких статьи о Толстом во всем, что касается литературы.

Что же касается известной статьи Ленина «Партийная организация и партийная литература», то она вовсе не имеет в виду художественную литературу, но говорит о литературе политической. Окутюрье настаивает на том, что Ленину была чужда какая-либо теория марксистской эстетики. В то же время вплоть до 1930 года главным советским авторитетом в области литературной критики оставался Плеханов. Но в этом году М. Митин и П. Юдин обвинили А. Деборина в том, что он выделяет Плеханову место, принадлежащее Ленину. Теоретически же оформил утверждение о том, что Ленин является отцом советской литературной критики, в

1932 году Луначарский, у которого были свои мотивы выступить против своего старинного врага — Плеханова, неоднократно его критиковавшего. Окутюрье подробно рассматривает, как происходило замещение роли Плеханова ролью Ленина в литературной критике.

Заслуживает большого интереса статья Ютты Шеррер «Интеллигенция, религия, революция». Ютта Шеррер — автор фундаментального труда о русских религиозно-философских обществах, причем она прослеживает их вплоть до 1916 года. Данная статья рассматривает первые проявления христианского социализма в России в 1905-1907 годах. Она анализирует следующие тенденции: 1) «Братство ревнителей церковного обновления», которое впоследствии отождествлялось с т. н. группой 32 священников. Его органом был журнал «Век» с приложением «Церковное обновление», который выходил в 1906-1907 годах. Главными редакторами этих изданий были архимандрит Михаил (Семенов) и А. Карташев. В журнале сотрудничали свящ. К. Аггеев, философы и публицисты А. Аскольдов, Н. Бердяев, С. Булгаков, В. Эрн, В. Свенцицкий, Д. Философов, В. Розанов, П. Флоренский, Вяч. Иванов и др. Программа братства включала следующие пункты: а) церковь должна быть освобождена от подчинения государству; б) соборность должна быть воплощена на всех уровнях церковной жизни; в) церковь должна испытать внутреннее обновление, причем подлинно экуменическое, и отказаться от всех привилегий; г) церковь должна признать, что наука, искусство, культура, общественная жизнь являются инструментами Царства Божия; д) необходимость созыва Поместного Собора, куда должны быть приглашены не только духовенство, но и миряне; 2) «Христианское братство борьбы», которое было организовано вслед за событиями 9 января 1905 года В. Эрном и В. Свенцицким. Это братство ставило себе задачи борьбы против самодержавия, против пассивности Церкви в отношении власти, а также стремилось таким образом изменить социальные отношения, чтобы принцип христианской любви охватывал и частную собственность. Ютта Шеррер отмечает, что первое

сообщение об этом братстве появилось в большевистском журнале «Вперед» в марте 1905 года. Она подробно рассматривает идеологию Эрна и Свенцицкого, отмечая, что братство вряд ли просуществовало далее 1907 года и никогда не было партией, а лишь небольшой группой. Статья снабжена богатыми комментариями и говорит об авторе как о первоклассном знатоке русской религиозной жизни 20-го века.

У. Брюс-Линкольн публикует статью о министрах Александра II, особо останавливаясь на их происхождении и служебной карьере. С 1855 года, когда Александр II вступил на трон, до его убийства в 1881 году 76 человек занимали пост министра русского правительства. Средний возраст министров этого царствования был 51,05 лет в момент занятия ими министерского кресла, но зато средний возраст основного ядра правительства, которое сделало исключительно быструю карьеру, составил 43,64 года, что, заметим, гораздо моложе, чем средний возраст нынешних советских администраторов правительственного уровня. Автор отмечает также очень высокий образовательный ценз этих министров. Интересен и тот факт, что состав министров был многонационален. 78,9% министров были русские; 10,9% — немцы остзейского происхождения; три министра — поляки; один — серб; один — грузин; один — армянин.

Иоаннис Синаноглу публикует пространную рецензию на воспоминания известного французского ученого Пьера Паскаля о России в Первую Мировую войну, которые охватывают период 1916-1918 года. Пьер Паскаль в тот период служил в качестве офицера Французской военной миссии в Петрограде. Наряду с различными сведениями о войне и революции воспоминания Паскаля исключительно ценны тем, что вводят нас в психологию революции. Дело в том, что Паскаль в тот период относился к большевистской революции с симпатией, ибо, будучи христианским социалистом, полагал, что новая социальная система будет неизбежно основана на христианских принципах социальной справедливости. Укажем, что воспоминания Паскаля основаны на его

тогдашнем дневнике, которому он верен, как бы ни изменились его взгляды позднее. Паскаль воспринимает в тот период большевистскую революцию как начало новой эры. Увлеченный своей симпатией к большевикам, Паскаль даже не отмечает в своем дневнике факта разгона Учредительного Собрания! Паскаль ожидал с нетерпением от Церкви, чтобы она сыграла активную роль в революции. Он думал, что в первые месяцы революции диалог между большевиками и Церковью будет еще возможен. 5 мая 1918 года он записал в своем дневнике, что «народ революционен, потому что он христианский». Воспоминания Паскаля проливают свет на тот загадочный факт, что многие западные христиански настроенные идеалисты могли одно время сочувственно относиться к большевистской революции. Напомним, что в самой России были такие люди, как Александр Блок, Андрей Белый, Максимилиан Волошин, которые видели в революции сокровенный религиозный смысл.

Матей Казаку и Керам Кевонян публикуют новые документы о падении генуэзской колонии в Крыму — Каффы — в 1475 году и взятии ее турками. Это генуэзские, персидские и кипчакские документы, публикуемые частично на латинском, частично в переводе на французский язык.

«ВРЕМЯ И МЫ»

№№ 1—24, 1975-1977

Тель-Авив, гл. ред. В. Перельман

Если принять традиционную, вывезенную третьей эмиграцией точку зрения, что лицо журнала «делает» проза, то два года существования единственного за пределами Советского Союза ежемесячного журнала на русском языке «Время и мы» и блестяще подтверждают эту точку зрения, и опровергают ее.

Проза в условиях ежемесячного журнала не может быть всё время «высочайшего уровня», прозаики не рождаются по заказу, но достаточно хотя бы двух таких имен, как «тамошний» Борис Хазанов и «тутошний» Зиновий Зиник, что-

бы лицо журнала было уже очерчено. Литературный, именно чисто литературный нонконформизм обоих несомненен, хотя Хазанов экспериментирует скорее в рамках традиционной русской прозы, а Зиник — явно вне их. Впрочем, и эти очевидности не совсем точны: «кладбищенский реализм» автора «Глухой, неведомой тайгою...» не исчерпывается своей связанностью даже с лучшими образцами лагерной и вообще русской прозы, а уводит чуть ли не к Камю, автору в России прежде всего самиздатскому и влиявшему на сознание нынешних поколений с начала 60-х годов, когда ходили листочки с Нобелевской речью и переплетенные машинописи «Чумы». Еще заметнее связь Бориса Хазанова с Кафкой — в кафкианском сюжете «Частной и общественной жизни начальника станции», но эта связь, вероятно, не столько в литературе, сколько в атмосфере страны, поставившей целью «Кафку сделать былью». Если же поглядеть, в свою очередь, на насквозь «модернистскую» прозу Зиника, то сквозь ее «поток сознания» и сложные «системы зеркал» проглядывает родство не с Джойсом и не с глубоко рациональным во всех своих ужасах Кафкой, но — из современников, приблизительных ровесников, в первую очередь, с Ерофеевым, из старших — не с Набоковым ли? — и, уходя глубже, к дальним русским корням, с Гоголем. Можно заметить и еще нечто значительное и парадоксальное у этих двух самых интересных прозаиков журнала: в статье «Новая Россия» Борис Хазанов, собственно, выступает не прозаиком, а прожектером, автором неожиданной политической концепции, — и создает блестящий образец прозы; глубоко внутрилитературный Зиновий Зиник, избегающий какой бы то ни было близости к дискурсивному высказыванию, мимоходом подсовывает читателю сжатые концепции — хотя бы позицию героя «Извещения», который укрывается от «картавого языка русских провинций, наводнившего Иерусалим». Словом, развивая русскую прозу как таковую, вливая ей в жилы новую кровь, и Хазанов, и Зиник, сознательно или бессознательно, остаются верны еще и ее традиционной «проблемности».

Свою линию прозы журнал наметил с первого номера, публикуя «Тьму в полдень» Кестлера. В этом романе соединилось многое: и западный писатель, и классический пример самиздата, и не уходящая со страниц журнала тема репрессий, тема исторической памяти, тема осознания, а не одного лишь припоминания происходящего. Эта тема развивается как в чистой прозе (у трагического Бориса Норильского и мрачно-юмористического Михаила Шульмана — оба превратили свой тюремно-лагерный опыт в истинное искусство), так и в многочисленных воспоминаниях.

Упомянув о воспоминаниях, нельзя не расширить понятие о «лице журнала». В подцензурных условиях проза и литературная критика часто бывали и бывают едва ли не единственным способом свободно высказаться. В условиях свободной печати появляются неистощимые возможности прямого, внелитературного высказывания: это и воспоминания о том, о чем на родине говорить заказано, и публицистика во всех ее видах.

Воспоминания, даже написанные как простое, не претендующее на историческую концепцию или на литературность исчисление того, что было, дают слишком много материала для размышлений и становятся чем-то гораздо большим, нежели эта избранная роль скромной регистрации фактов. Прочтите и перечитайте тексты матери и дочери Улановских, Фаины Баазовой, Владимира Гусарова, впервые опубликованные «Сентябрь, 1939» и три главы из «Путешествия в страну Эзка» Юлия Марголина, комментарии Григория Тартаковского к его лагерным рисункам, и вы поймете, сколько еще нераскрытых возможностей в, казалось бы, уже основательно перепаханной сам- и тамиздатом мемуарной прозе.

Что же до публицистики журнала «Время и мы», то в ней, как ни в одном из разделов журнала, ощутимо место его издания. Проза, поэзия, воспоминания — публикуя в этих разделах тексты израильских, европейских, американских и, наконец, российских русских авторов, журнал вовсе не роскошь себе позволяет, но естественно демонстрирует

единую литературу, единый литературный процесс, независимый от места брэнного существования сочинителя. Что же касается публицистики, в ней — и с той же естественностью — преобладает тема судеб русского еврейства на родине и на исторической родине. Как же не продолжать обсуждение проблемы «ехать — не ехать», когда навязанные неслыханной ситуацией раздумья об этом не прекращали и не прекращают присутствовать в жизни «русского интеллигента еврейского происхождения» последнего десятилетия... Как же не расширить эту тему до «Как ехать?», «Куда ехать?», «Какой культурный баланс брать в дорогу?», «Как начать новую, вторую жизнь на исторической, но часто непонятной и неласковой родине?»... Обо всем этом широко пишет журнал, точки зрения публицистов часто сшибаются лбами — тем больше возможностей у читателя выработать свою собственную. В этом отношении очень важную роль играет и постоянное появление на страницах журнала «Время и мы» статей собственно израильских, нерусских авторов, не отягощенных сегодняшним подходом свежего иммигранта и раздвигающих кругозор читателя. Даже проза израильских писателей и пишущих об Израиле писателей западных, не теряя своей литературной значительности (ее гарантируют хотя бы сами имена: Сол Беллоу, Марек Хласко, подаренный журналом русскому читателю Авраам Б. Иошуа), становится, к тому же, источником информации — в силу того, что это проза, особенно лишенным односторонности.

Односторонность счастливо отсутствует и в литературной критике — второй после прозы области, которой привык придавать значение взросший на «Новом мире» читатель. Три основных критика журнала: покойный Илья Рубин, чей талант критика и поэта оборвался в самом начале подлинной зрелости, Наталия Рубинштейн и Майя Каганская — общи в одном, в своем различии, в том, что каждый из них — личность, а не приводной ремень между писателем или литературной проблемой и читателем. Личность со своими личными пристрастиями, которые и порождают

живой подход к живой ткани литературы. Статья Ильи Рубина о прозе Бориса Хазанова начинается словами: «Несколько лет назад я повстречался и связал свою дальнейшую судьбу...» Это же «я» с бесконечной переброской мостиков между Тель-Авивом и Ленинградом постоянно присутствует в статьях Наталии Рубинштейн, из которых хочется отметить одну из недавних — «Билет на панихиду». В ней живой голос критика, субъективность слушателя и читателя стихов, конкретные воспоминания — всё это вскрывает мертвизну, механичность и, в конечном счете, душевный конформизм подвергнутого испытанию материала — стихов Андрея Вознесенского. Что же касается Майи Каганской, то она, наоборот, сохраняет свой статус литературного критика даже тогда, когда выступает как публицист, — в своих «Эссе о времени», в попытке расчета с тремя десятилетиями русско-европейско-интеллигентского сознания. Возможно, потому, что сами эти десятилетия непредставимы без повышенного значения литературы в них — то как глубокого смысла, почти заменяющего философский подход к вечной проблеме смысла жизни, то как знака, символа, нередко своей опустошенностью демонстрирующего тупики массового сознания.

Два года существования журнала «Время и мы» принесли ему заслуженное признание. Дальнейшая судьба журнала зависит не от редакции — редакция показала, что умеет работать, умеет находить и сохранять за собой авторов. Вопрос скорее в том, насколько неисчерпаем запал русскоязычной эмиграции и русской интеллигенции в Израиле продолжать начатый разговор — разговор не в последнюю очередь о судьбах России.

Наша анкета

ИНТЕРВЬЮ С ИРВИНГОМ БРАУНОМ

Вопрос. Г-н Браун, мы знаем вас как главу европейского представительства американского профсоюзного объединения АФТ-КПП. В ноябре 1977 года вы были одним из экспертов на Сахаровских слушаниях в



Риме. Каковы ваши основные впечатления и выводы — в частности, как представителя интересов рабочих? Не думаете ли вы, что Сахаровские слушания стоило бы превратить в постоянно действующий организм?

Ответ. Да, именно это я сказал в своей статье, опубликованной в «Лос-Анжелес таймс» от 19 января 1978 г. И наш председатель Джордж Мини, после моего

отчета об этих слушаниях, тоже согласился с необходимостью превратить их в постоянный комитет.

С нашей стороны, размышляя о прошедших Сахаровских слушаниях, кажется особенно важным подчеркнуть значение рабочей проблемы. Не для того, конечно, чтобы преуменьшить роль, сыгранную интеллигенцией, художниками — я думаю, в частности, о Солженицыне, Максимове, Буковском. Но надо выделять рабочий вопрос, потому что это позволит по-

настоящему достучаться до масс, до народов Западной Европы. У нас дело обстоит иначе, проблема отклика практически решена, поскольку американское профсоюзное движение осознало глубину рабочего вопроса в СССР и с готовностью получает информацию об этом. В Западной же Европе профсоюзные деятели на равных общаются с «представителями» так называемых профсоюзов коммунистических государств.

Потому-то и возникает необходимость не ограничиваться информацией о концлагерях и судебных процессах — надо говорить о рабочей проблеме, рассказывать о повседневной жизни трудящихся в Советском Союзе. Аресты рабочих за попытку создать свободный профсоюз, о чем мы недавно узнали из газет, — это всего лишь вершина, видимая часть айсберга, за которой таятся подводные зоны бесправия на рабочем месте и за воротами завода.

Предсказать будущее, конечно, невозможно. Но есть один очевидный факт: в области экономики система неэффективна. Вся получаемая мною информация говорит о том, что экономика — на краю краха. В условиях настоящей демократии этот режим не устоял бы, он держится только благодаря наличию тоталитарного строя. Но, вы знаете, в этом скрывается и опасность, потому что в один прекрасный день экономическая система может взять да и выйти из строя, а режим тогда, при его военной мощи, способен пойти на что угодно. Ведь в конце-то концов и приход к власти такого сумасшедшего, как Сталин, не был случайностью: даже человек гораздо лучше Сталина, гораздо лучше Ленина — при наличии такой системы и распоряжаясь такими широкими массами, в день всеобщего краха способен пойти на всё. Это моя точка зрения. Конечно, я не могу этого доказать, я просто так думаю. И поэтому мы, со своей стороны, особенно стремимся показать реальность рабочей проблемы в

Советском Союзе — это единственный способ достучаться до здешнего профсоюзного движения.

Когда я был в Копенгагене, на заседании Сахаровского комитета, председатель датского профсоюза, тоже член комитета, выразил полное согласие с моей точкой зрения. Правда, это был первый человек среди европейских профсоюзников, согласившийся со мной, но это уже начало. Думаю, что необходимо действовать именно в этом направлении, и мы готовы поддерживать создание постоянного Комитета, специально занятого этой проблемой. Это отнюдь не значит, что мы пренебрегаем интеллигенцией. Однако до сих пор были только красивые, хорошие речи — Буковский очень хорошо говорил у нас, — а нам теперь требуется более подробная информация для того, чтобы мы на фактах могли показать отсутствие профсоюзных прав в СССР.

Во время моего пребывания в Копенгагене был очень интересный разговор с тем же датским синдикалистом. Он рассказал, что при встречах с деятелями восточноевропейских «профсоюзов» на любую попытку задать хоть какой-то вопрос те немедленно восклицают: а у нас нет безработицы, мы социально обеспечены, у нас управление в руках самих рабочих. Датчанин отвечает в таких случаях просто: «Да, верно, у нас безработица, у нас инфляция, но если бы нам захотелось последовать вашему примеру, это было бы очень легко: увеличить численность армии, устроить концлагеря, подавить свободы — и не будет ни безработицы, ни инфляции. Однако мы предпочитаем нашу свободную систему, в условиях которой мы можем беспрепятственно бороться с безработицей и проводить мероприятия по обеспечению всех работой. А наши безработные, не говоря о наличии свобод, вот уже четыре года получают одиннадцать миллиардов долларов в год, а сколько получает русский трудящийся?..» Вот в чем разница. И мы должны говорить

об этом аспекте, рассказывать, что на самом деле происходит в Советском Союзе и других «социалистических» странах.

Вопрос. Когда говорят о правах человека, то в первую очередь чаще всего имеют в виду проблему уважения или нарушения политических и гражданских свобод. Это нередко создает впечатление, что социально-экономические свободы не входят в область прав человека, а являются монопольным требованием социалистических и коммунистических течений, и что, к тому же, «в странах победившего социализма» в этом отношении нечего желать. Какова ваша точка зрения на соотношение этих двух видов прав человека?

Ответ. Социально-экономические и, в частности, профсоюзные свободы — это не только гуманитарный вопрос, не только вопрос прав человека. Это основа экономического развития. Не может быть передовой экономики, если рабочие — рабы. Не может быть передовой экономики в концлагере или при тоталитарном строе. Свобода профсоюзных объединений, как и вообще объединений, — одна из неотъемлемых гражданских свобод, но, как ни одна другая, она является основой создания высокого жизненного уровня, экономического благополучия.

Говоря об экономических свободах, часто говорят об инициативе, о свободных предприятиях и т. п., но свободная инициатива должна быть правом не только хозяина, а также и рабочих. Любой инженер, любой техник может прийти на завод с выработанной схемой производственного процесса — он всё равно не обойдется без рабочих, а за ними право свободно сказать: нет, так не пойдет. Программы легко выполнять в теории — действительность же бывает совсем иной. Это положение остается действительным и для завода. Из-за отсутствия свобод рабочих хромает вся

российская экономика: и сельское хозяйство, и промышленность. Причем я говорю не об одних профсоюзных свободах, но и о свободе *участвовать* в производстве, а не только стоять у станка. И что касается участия, недостаточно сформулировать законы и постановления — надо выработать определенный дух у рабочих. Для этого нужна свобода. И свободы — в том числе гражданские, прежде всего свобода высказывания. Потому что идеи у рабочих есть.

Вопрос. В связи с этим — что может значить создание в Советском Союзе первого независимого профсоюза?

Ответ. Независимые профсоюзы могут не только усилить борьбу за права человека, но и содействовать развитию экономики, появлению рынка потребления. Потому что сейчас этого рынка как такового нет, товары и продукты в магазинах крайне низкого качества. Еще Хрущев когда-то признался, что пришлось уничтожить товаров на два миллиарда долларов, потому что они были абсолютно негодны к потреблению. И сейчас дело обстоит немногим лучше. А это растрата людей, растрата продукции. Ни одна передовая экономика не может развиваться при одновременном укреплении тоталитаризма, это ее убивает. Не хочу сказать, что нацисты лучше советских вождей, я сам сражался с ними во время войны, но при изучении нацистской экономической системы обнаруживаешь, что они не решались дойти до установления полностью тоталитарной экономики. До последних дней Гитлер и нацисты не осмелились ограничить потребление в своей стране настолько, как это было сделано в Советском Союзе.

И в этом смысле создание независимого профсоюза, борьба за профсоюзные свободы — это, конечно, борьба за права человека, за права и свободы рабочих,

но вместе с тем и за создание передовой, плодотворной экономики, которая сейчас в Советском Союзе катится в пропасть.

Вопрос. Какая поддержка может быть оказана советским рабочим западными профсоюзными организациями?

Ответ. Самое главное — это не признавать представителей так называемых советских профсоюзов. Надо открыто говорить: они никого не представляют. Любыми путями поддерживать рабочих, связываться с ними. И бросить всякие разговоры с деятелями, назначенными государством: был же главою советских профсоюзов Шелепин, а перед этим возглавлял... КГБ!

Признавая такого рода «представителей», мы придаем им респектабельность и способствуем укреплению режима вопреки интересам трудящихся. Я думаю, что в тот день, когда европейское профсоюзное движение примет в этом вопросе позиции АФТ-КПП, может начаться что-то очень серьезное, потому что ведь Советский Союз сейчас ищет респектабельности на мировой сцене, поддержки в виде экономики, технологии, поставок и т. д., признания себя «нормальной» страной, «как все другие».

Не стоит забывать, что подобную победу мы уже одержали после второй мировой войны: тогда наши друзья, европейские синдикалисты, вместе с нами выпустили первые брошюры о принудительном труде, разработали конвенцию о запрете принудительного труда. Теперь же, из-за духа так называемой разрядки (ибо это не настоящая разрядка, а с советской стороны — вообще никакая не разрядка: вспомните, как недавно в Белграде сорвались заседания из-за ухода советских представителей), настроения в Западной Европе несколько изменились.

Что значит этот «хельсинкский дух»? По нашему мнению, хельсинкский дух — это ловушка, которую используют наши московские «друзья». Я их не критикую: им дают все возможности, они этим и пользуются. И преследуют свои цели — в частности, спровоцировать разрыв между Америкой и Европой.

Конференция в Хельсинки была предложена как чисто европейская конференция, без участия американцев. После второй мировой войны Советский Союз, надеясь расшатать западноевропейские режимы, потерпел поражение — и не забыл об этом. После смерти Сталина, отчасти даже раньше, советское руководство ищет иную тактику. Цель Хельсинкской конференции для них была — и до сих пор остается неизменной — сыграть на национализме, существующем в Европе, на ее «независимости», выступающей в виде антиамериканизма. Но, между нами, просуществовала бы Европа после войны без альянса с Америкой? Если бы Америка провела эту линию после первой мировой войны, проблем бы сейчас не было. И я говорю это не потому, что я американец, а потому что это правда.

И если цели Советского Союза остаются неизменными, то профсоюзный аспект сопротивления им фундаментален: он позволяет изобличать обманщиков и лжепрофсоюзников.

Вопрос. Вы говорите — и мы это знаем, об этом писал в «Континенте» Исаак Дон-Левин, — что после войны были опубликованы материалы о принудительном труде в СССР? Как вы объясняете сегодняшнюю «неосведомленность» многих европейских профсоюзов?

Ответ. Это объясняется самоуспокоенностью: сознание военной угрозы отпало, царит всеобщая независимость, сосуществование, экономическое благополучие. Конечно, все жалуются, но нынешнее мно-

жество частных проблем не сравнимо с ситуацией 1945-47 гг., когда стабильность Западной Европы была спасена только американской экономической помощью. Однако прошло 30 лет, и все говорят: «всё в порядке, русские не хотят войны, сейчас мир, мирное сосуществование...»

И Советский Союз заговорил другим языком. Если после войны он надеялся расшатать Западную Европу, помня, что немецкая революция, на которую рассчитывал Ленин, не удалась из-за оказанной Германии помощи в стабилизации экономики, если Сталин запретил тогда Масарику принять помощь по плану Маршалла и, разрушая экономику Восточной Европы, стабилизировал в ней свой режим, — то теперь они говорят о единой Европе, о сосуществовании на всех уровнях: государственном, культурном, профсоюзном. И западные профсоюзы верят этому или хотят верить, а потому на многое закрывают глаза. Но если маленькие европейские страны будут окружены странами, где нет профсоюзных свобод, то они даже не заметят, как попадут в положение, которое Мао Цзэ-дун определил словами «деревня окружила город».

Вопрос. Думаете ли вы, что есть возможность создать международное движение в защиту советского независимого профсоюза?

Ответ. Уверен, что да. В этом и другие профсоюзы согласны с нами — расхождения существуют только относительно тактики. Мало-помалу мы этого добьемся, но вопрос — не будет ли слишком поздно? Нужно развернуть это движение раньше, чем произойдет взрыв — где бы то ни было, на Западе или на Востоке.

Лично я думаю, что если не будет перемен в России, то любые события настоящего времени, будь то еврокоммунизм или то, что происходит в восточно-

европейских странах, ни к чему не приведут. В России сейчас — ключи всего. И, мне кажется, что-то там начинается. Только не надо об этом много разглаживать. У меня впечатление, что это началось уже давно, но еще по-настоящему не прорвалось на поверхность. Я думаю, это таится в душах рабочих, это скрывается в существующем напряжении.

Но от людей, живущих в условиях тоталитарного режима, мы не можем требовать проявлений такой смелости, которой не проявляют и люди в свободном мире — часто за неимением ее. Самых мужественных людей нашего времени мы видим по ту сторону границы. Сахаров — это чудо, это символ, потому-то он и представляет для советской власти настоящую проблему: от него не отделаешься, даже выкинув из страны, потому что и здесь он останется символом. И все-таки важнее всего, чтобы он как можно дольше оставался на родине.

Я повторяю: необходимо сделать всё возможное вокруг Сахаровского комитета, перестроить его, превратить в постоянный организм.

Вопрос. И в заключение — что в этой области могли бы сделать «Континент»?

Ответ. Я думаю, «Континенту» надо отражать и анализировать сегодняшние рабочие настроения. Необходимы серьезные, глубокие статьи о положении трудящихся. Кроме того, мне кажется, что «Континент» способен сыграть — а может быть, и уже играет? — важнейшую роль в осуществлении связи между интеллигенцией и рабочими, в общей победе над страхом. Вы знаете, у нас есть американская журналистка, корреспондент в Москве, Анн Шиплер, — она недавно написала о том, как к ней приходили люди, говоря: «Мы не против советской власти, мы не диссиденты, но у нас есть проблемы... Мы обращались и в

партийные органы, и в профсоюзы, но всё напрасно. Нам остается только одно — обращаться к западным журналистам». И при этом давали свои фамилии. Еще несколько лет тому назад это было бы немыслимым. И это знак: люди перестают бояться. А когда люди, когда народы перестают бояться — всё становится возможным.

И р в и н Б р а у н

С 1933 года — кадровый работник американского профсоюзного движения. В свое время член Исполнительного комитета союза рабочих автомобильной промышленности Американской Федерации Труда. Во время Второй Мировой войны — помощник вице-председателя Совета директоров военной промышленности. Затем, до 1962 года, европейский представитель АФТ-КПП (Американская Федерация Труда — Конгресс Производственных Профсоюзов). С 1962 по 1964 представлял американское рабочее движение в Международной Федерации Труда (МОТ) при ООН, после чего, до 1973 года, возглавлял Африкано-Американский Рабочий Центр АФТ-КПП. В настоящее время вновь представляет американские профсоюзы на европейском континенте.

Специальное приложение

ОТ РЕДАКЦИИ

С пятого по седьмое ноября минувшего года в Западном Берлине состоялась международная конференция редколлегии «Континента». В конференции приняли участие редакторы ряда русских и восточно-европейских журналов, выходящих за рубежом («Вестник РСХД», «Грани», «Время и мы», «Культура», «Будущее»), а также представители западных кругов: председатель комиссии по Правам Человека Европейского парламента, член Швейцарского парламента Вальтер Хоффер, итальянский сенатор, член Европейского парламента, главный редактор газеты «Иль Джорнале» Эяцо Бетица, редактор американского журнала «Ридерс дайджест» Джон Баррон, директор американского «Дома Свободы» Леонард Зусман и другие.

Ниже мы публикуем некоторые материалы конференции.

«Континенту» — три года. Двенадцать книг, на страницах которых мы встретились с авторами СССР и советской эмиграции, Восточной Европы и ряда западных стран. Такой межнациональный характер журнала стал очень важной для советского читателя чертой.

Мне и моим друзьям не всегда всё нравилось в художественной части журнала, не всегда я согласен с публицистическими выступлениями, преувеличенным пафосом, а иногда — с моей точки зрения — и неточностью подхода к национальным и иным проблемам в Колонке редактора. Не всегда мне кажутся справедливыми литературно-критические оценки журнала.

Но главный итог трех лет: «Континент» показал себя самым интересным, самым читаемым в СССР из

всех выходящих за рубежом русских журналов. Выход каждого номера «Континента» — для нас всегда событие, влекущее за собой споры, обсуждения. Такое отношение читателей — лучшее доказательство жизнеспособности и значения журнала.

1 ноября 1977

Андрей Сахаров

ТЕЛЕГРАММА

ВЛАДИМИРУ МАКСИМОВУ

Сожалею, что не могу присутствовать на Вашей исторической конференции по вопросам о правах человека и литературе. Хочу выразить полную солидарность с Вашими целями. Борьба за права человека, ведомая рабочими и интеллигенцией, теперь более важна, чем когда-либо, ввиду все возрастающей в Советском Союзе кампании преследования защитников прав человека и Хельсинкских соглашений. Шлю сердечные пожелания успешного завершения Вашей конференции с тем, чтобы достичь более прочного и действительно постоянного союза между рабочими и интеллигенцией во всем мире с целью защиты, сохранения и расширения прав человека. Считаю защиту профсоюзных прав частью общей борьбы за права человека, являющейся лучшей гарантией для рабочих в их стремлении достичь действительного экономического и социального обеспечения. Мы против «насильственной» литературы, так же, как мы против системы насильственного труда при всех тоталитарных режимах. Мы все сообща должны стремиться более эффективно использовать резолюции о правах — как орудие — везде, особенно в существующих межгосударственных организациях. Все члены свободных профсоюзов должны поддерживать Ваши благородные усилия.

Джордж Мини
Президент АФТ/КПП

Я сожалею, что меня нет между вами. Я хотел бы выразить, до чего я возмущен цинизмом и наглостью Брежнева. В своей речи по случаю 60-летия русской революции он утверждает, осмеливается утверждать, что 60 лет, прошедших после Октябрьской революции, были годами успеха и процветания. Это были — мы это знаем, а тем более знают это советские руководители — 60 лет диктатуры, преступлений, геноцида, цензурных преследований, угнетения и подавления, экономических трудностей.

Мы хорошо знаем, что больше ни один серьезно мыслящий человек в России или в колонизованных ею странах не верит ни в марксизм, ни в коммунизм. Если бы открыть границы, люди из этих стран массами эмигрировали бы на Запад. Коммунизм — не победа, а поражение, величайшее коллективное мошенничество в истории человечества.

Сахаров, Солженицын, Буковский, Максимов — совесть России — знают это и говорят. Благодаря им, Запад с трудом пробуждается от сна. Но так неуверенно, что представителей его мутит, у них кружится голова на международных конференциях — в Хельсинки и сейчас в Белграде. Перед упрямством и прямо-таки бесовской силой советских представителей слабеют возражения: уже забыто, что они в 1939 году были союзниками Гитлера.

Либеральные страны должны бы все-таки понимать, что их общество, во всеми его недостатками, лучше советского. Пора Западу проснуться и избавиться от своего комплекса вины, пора крикнуть советским вождям-уголовникам: «И з ы д и, С а т а н а!»

Нынешняя борьба выходит за рамки политики — идет борьба моральная, духовная, интеллектуальная. И выиграем мы!

Эжен Ионеско

ВЛАДИМИРУ МАКСИМОВУ

Дорогой господин Максимов!

Искренне сожалею, что не смогу присутствовать на Вашей конференции, но прошу Вас уведомлять меня обо всем, что будет на ней происходить.

Сол Беллоу

ВЛАДИМИРУ МАКСИМОВУ И «КОНТИНЕНТУ»

Дорогие друзья!

Не моя вина и не мой позор, что я не присутствую на симпозиуме «Континента» в Берлине. Я приехал бы, несмотря даже на плохое состояние здоровья. Но власти уже несколько лет отказываются дать мне заграничный паспорт — в то самое время, как чиновники самих себя оглушают криками о соблюдении прав человека в их «демократии самоуправления».

Восточная Европа — уже не то, что воображают ее самозванные хозяева: во всем мире, а в Европе — особенно, никакая всеобъемлющая цензура, никакие тюремные стены не могут больше скрыть истину и запугать тех, кто свободно мыслит и борется за человеческое достоинство и национальную самобытность. Потому-то напрасны все преграды, которые воздвигаются бюрократами и вельможами против солидарности и сотрудничества всех, кто самоотверженно добивается свободы личности в неразделенной Европе и незапуганном мире. Так что я с вами — и тем дружественнее, добавлю, что сам осужден на отсутствие и одиночество.

Если бы сейчас возник центр отпора мракобесию светской тоталитарной идеологии, не было бы необходимости в институционализации и функционализации такого центра: уважение к человеческой личности, любовь к человечеству формируются в верности своей идее, своей форме, своему народу. И вот почему еще сотрудничество и солидарность представляются мне столь необходимыми: особенности и различия — это основа и душа неодолимого движения к свободе личности в открытом, демократическом обществе, к равноправию народов в союзе всего человечества. Дух человеческий, новые освободительные идеи — извечно были «центром» всякой деятельности — так должно быть и в будущем. Этот дух будет созывать и вести своих поборников тем надежнее, чем с большей готовностью они будут его воспринимать, чем вернее они будут этому духу и собственному существу.

Так-то вот, не называем по имени ни правительств, ни государств, ни идеологию и идеологов — а вы всё равно знаете, к кому относятся критические слова в моем письме. Не является ли и это доказательством взаимопонимания, терпимости и сотрудничества на нашем тернистом пути к свободе — на пути, где никого никогда не оставляли одиноким или заблудившимся.

От всего сердца желаю вам обогатить запас знаний и открыть новые возможности. И это как раз в те дни, когда идеологически разъединенные спасители человечества съезжаются праздновать событие, возвестившее падение человеческого духа в бездну самых трагических иллюзий, а великого народа — в бездну страданий, которые сделали его судьбу неотделимой от судьбы человечества.

Милован Джилас

Белград, 31 октября 1977

По неожиданным причинам я не смог принять участия в заседании Вашей редколлегии. Но Вы можете быть уверены, что я целиком и полностью поддерживаю цели Вашего журнала. Надеюсь, что настанет день, когда всем будет ясно, что октябрьская революция не только не дала ожидавшихся результатов, но, наоборот, уже в самой своей основе отрицала права человека. Большеизм с самого начала поработил и превратил в подневольных солдат миллионы людей на Востоке, которые теперь просыпаются в стремлении к свободе и к свету.

*Ваш
Николаус Лобковиц,
ректор Мюнхенского университета*

ПИСЬМО ЕФРЕМА ЯНКЕЛЕВИЧА

Большинство советских политэмигрантов полагают, имея на то бесспорные резоны, своей главной задачей — свидетельствовать перед лицом западного общественного мнения. Ценность их свидетельств несомненна. И если думать, что у человека есть какие-либо иные обязанности кроме обязанности перед самим собой, то это и есть их долг. Они — как бы миссионеры от той истины, которой они располагают в силу своего житейского и духовного опыта. Условия их миссионерской деятельности иногда не слишком благоприятны. И, хотя им не грозит опасность быть съеденными «туземцами», их подстерегают опасности непонимания или корыстной заинтересованности различных политических группировок. Однако главная опасность — это абсолютизация своей миссии, нежелание принять во внимание тот простой факт, что за плечами у

«туземцев» — тысячелетняя культурная традиция, прерванная и искаженная тоталитарным вандализмом. Это вступление, которое я отношу и к себе, оправдывает то главное, что я хочу здесь сказать. Выстраданная и отвоеванная иерархия ценностей политэмигранта, разумеется, не должна обязательно служить объектом компромисса, однако жизненно необходим диалог, диалог двух учеников, заинтересованных в решении проблем, которые перед ними зачастую ставит их жестокий Учитель. Диалог между западными писателями и представителями русской интеллигенции в эмиграции и на родине. Этот диалог уже в какой-то мере прозвучал на страницах «Континента» и, я надеюсь, будет продолжен. Именно «Континент» является и должен являться поверхностью соприкосновения двух культур, которые многим обязаны друг другу, чья связь была прервана 60 лет тому назад. Я считаю себя старым читателем «Континента», поскольку первые его одиннадцать номеров прочел в России. И поэтому прошу простить возможную неумеренность моих претензий к журналу, вызванных, впрочем, горячим сочувствием к нему.

Е. Янкелевич

РЕШЕНИЕ

Расширенная конференция редколлегии «Континента» считает работу журнала в целом эффективной и дает следующие рекомендации редакции и издательству:

- 1. Укреплять сложившуюся благоприятную атмосферу для объединения демократических сил России и Восточной Европы вокруг «Континента».*
- 2. Расширить и углубить связи «Континента» с западной общественностью.*
- 3. Найти возможности более тесного творческого и производственного сотрудничества с другими русскими и восточноевропейскими изданиями.*
- 4. Настаивать на том, чтобы западные издания «Континента» выходили более оперативно, чем до сих пор, и отбор материалов для западных изданий происходил в тесном контакте с русской редакцией журнала.*
- 5. Созывать международные конференции «Континента» периодически, по возможности раз в два года, в странах, связанных с изданием журнала.*

Имя Александра Гинзбурга хорошо известно, как у нас в стране, так и за рубежом: основатель одного из первых самиздатовских журналов «Синтаксис», автор «Белой книги» о процессе над А. Синявским и Ю. Даниэлем, председатель Русского общественного Фонда помощи преследуемым и их семьям в СССР — таковы основные вехи его жертвенной судьбы. Позади у него уже два полновесных лагерных срока, впереди, судя по всему, третий. Но мы должны и можем сделать все от нас зависящее, чтобы этого не случилось.

Ниже мы начинаем публикацию писем и материалов в защиту Александра Гинзбурга и призываем всех наших читателей активно включиться в эту кампанию.

Сегодня исполнилось 8 лет, отнятых из жизни Александра Гинзбурга советскими тюрьмами и лагерями.

Я знаю Александра Гинзбурга 14 лет. Мы познакомились в 1964, когда ему было 28 и он уже отсидел 2 года в лагере. Он привлекал своей открытостью, острым вниманием к несправедливости и чужому горю, светлой душой, чётким умом. Вскоре его снова арестовали и дали 5 лет лагерей строгого режима. Александр Гинзбург — из тех редких людей, для кого собственные страдания кажутся ничтожными в сравнении с морем горя вокруг. В лагере его сердце вместило трагические судьбы сотен друзей-заключенных, бедствия их жен и детей. Я была очень дружна с его женой Ириной и хорошо помню, как он писал ей из тюрьмы незадолго до освобождения: пойми и прими — я никогда не смогу забыть тех, кто останется здесь, я должен отдать им все силы. Это значило:

и после освобождения не будет покоя и благополучия. Верная Ирина приняла это.

Когда в 1972 он, после второго срока, тяжело больным вышел из тюрьмы, он познакомился с Александром Солженицыным и вызвал его глубокое уважение неизменной верностью узникам Архипелага и спокойным мужеством, с которым готов был на новые лишения и новый арест. Они стали друзьями. Тогда же у них возникла идея наладить систематическую помощь семьям эзков. Для этой цели А. Солженицын предложил свои литературные гонорары на Западе. Тогда же, в 1973, эта помощь начала осуществляться.

Тотчас после насильственной высылки из СССР в 1974 году, А. Солженицын основал в Швейцарии Русский Общественный Фонд, куда отдал все гонорары от книги «Архипелаг ГУЛag», во всех странах и на всех языках. Главным распределителем средств Фонда на территории СССР стал Александр Гинзбург и оставался им бессменно 3 года, вплоть до ареста. За это время Фонд помог сотням семей заключенных, не делая никаких национальных, политических и религиозных различий. Среди тех, кто получил нашу помощь, — русские, украинцы, литовцы, евреи, немцы, армяне, грузины, эстонцы, татары; православные, мусульмане, иудаисты, баптисты. Единственным критерием при распределении средств Фонда является степень нужды данной семьи. Александр Гинзбург обладал исключительными качествами для этой трудной и опасной работы — доброта, бесстрашие, спокойствие, редкая память: он помнил, сколько у кого детей, какой мальчик болен и какое лекарство ему нужно, у какой девочки нет теплой одежды, чья жена не имеет денег на посылку мужу, кому не под силу купить билет, чтоб поехать в лагерь на свидание. Тяжело больной, он находил время для всех. Он работал в условиях постоянной слежки, подслушивания, перехвата писем, многократных грабительских обысков.

В феврале 1977 Александр Гинзбург был арестован органами Государственной Безопасности. Мне хотелось бы привлечь внимание присутствующих к тому яркому факту, что именно Госбезопасность занимается этим делом: в нашей стране милосердие всегда считалось опасным для государства. Коммунисты ведут войну с милосердием уже 60 лет. Еще в 20-х годах естественное право благотворительности было запрещено и отобрано не только у Церкви, но у любой общественной организации или группы лиц. Был разгромлен Политический Красный Крест, оставшийся по традиции от дореволюционной России, его работники арестованы и уничтожены. При коллективизации (1930) вместе с главой семьи уничтожались все члены ее вплоть до младенцев! — вот тактика коммунистов. Так было уничтожено 15 миллионов душ! Во время 2-й мировой войны Советский Союз был единственным из союзников, кто запретил Международному Красному Кресту помогать своим пленным военным: в лагерях советских военнопленных умирало 90%, а живые варили подметки обуви, ели летучих мышей. В наши дни конвой спускает собак на того, кто осмелится подойти к колонне заключенных, чтоб кинуть голодным кусок хлеба, а может и открыть огонь — «гуманный» советский закон позволяет это. Раньше в России ни одна бедная вдова не садилась за пасхальный стол, не отнеся в городскую тюрьму угощения для неизвестных ей узников, такова была традиция, — сейчас заключенный имеет право на одну 5-килограммовую посылку в год, и то отсидев половину срока.

Наш Фонд — это попытка помочь возрождению глубоко укорененного в нашем народе чувства сострадания. Попытка помочь выжить узникам сегодняшнего Архипелага и их измученным семьям. Показать им, что они не одни перед лицом страшной коммунистической машины уничтожения. Именно поэтому деятельность Фонда вызывает ярость советских властей.

Арестован А. Гинзбург. Расправились с его преемниками: Мальва Ланда сослана в Сибирь, Татьяна Ходорович и Кронид Любарский принуждены к эмиграции. Разыскивают и преследуют семьи заключенных, кто получает помощь Фонда. КГБ перенесло борьбу с Русским Общественным Фондом и на Запад. Сейчас советская разведка пытается добыть в Швейцарии фамилии советских граждан, получавших помощь, и старается опорочить Фонд, рассылая в западную печать анонимные письма. Ни один фонд в мире не работает в столь тяжелых и опасных условиях. И тем не менее — он действует! Его помощь нужна тысячам советских эков. К их скорбному списку теперь добавились мужественные члены Хельсинкских групп, уже сообщалось о попытке КГБ арестовать рабочих, заявивших о своем намерении создать независимый профсоюз, еще многих упрячет в тюрьмы режим людоедов, смеясь над любыми договорами. Сейчас Фондом руководит жена Гинзбурга Ирина вместе с Сергеем Ходоровичем. Подумайте: жена человека, арестованного за милосердие, встает на его место — что может ярче доказать чистоту и праведность его дела?

Людям свободного мира нелегко понять, как можно преследовать за милосердие? Почему так? Потому, что коммунизм по самой сути своей — враг гуманизма, враг любой религии, враг милосердия. Потому что протянутая рука ближнего лишает государство тотальной власти над телами и душами его граждан-рабов. Вот этой протянутой руки власть не простила Александру Гинзбургу. За это — он арестован. За это — его держат год без суда, в полной изоляции. Об этом — допрашивают сотни людей, угрозами принуждая их лжесвидетельствовать. За это — его будут судить. Какие бы вздорные обвинения ни выдвинули власти на суде, какой бы спектакль ни поставили — это будет суд коммунизма над милосердием.

Я призываю всех, кто услышит меня, — помочь отстоять растоптанное коммунизмом человеческое право помогать и принимать помощь, помешать расправе над Александром Гинзбургом.

Я прошу всех верующих молиться за этого человека, истинно положившего «жизнь свою за други своя».

Наталья Солженицына

3.2.1978
Нью-Йорк

Президент
Русского Общественного Фонда
помощи преследуемым и их семьям

П Р И З Ы В

РУССКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Вот уже более 50 лет существует Русское Студенческое Христианское Движение — старейшая организация русского зарубежья. Родившись в 1924 году на знаменитом Пшеровском съезде, Движение объединило кружки христианской молодежи всех стран рассеяния от Прибалтики до Белграда и от Праги до Парижа и Лондона. Создание единого христианского братства как бы продолжало традиции русского духовного ренессанса начала XX в., насильственно прерванного революцией, и не случайно у истоков Движения стали такие люди, как о. С. Булгаков, Н. А. Бердяев, Г. П. Федотов, В. В. Зеньковский, Л. А. Зандер. На Пшеровском же съезде оформилась и организационная структура Движения, и его идеология. Основной целью РСХД ставило воцерковление жизни, понимаемое в самом широком смысле, активное служение Христу в окружающей нас повседневности, реализацию в ней Евангельских заветов. Такая установка обеспечила организации одновременно и укорененность в православной традиции, и открытость к миру, ко всем ищущим богопознания и веры. Эти принципы оставались неизменными на всем полувековом пути РСХД, привлекая к Движению новые поколения молодежи и пробуждая в них стремление к действенному служению.

Из рядов РСХД вышло множество пастырей и крупнейших православных богословов; самое активное участие принимало оно в создании и работе Свято-Сергиевского Богословского института в Париже и Свято-Владимирской духовной семинарии в Америке; Движение выступало непременным участником в международных христианских съездах; вело и ведет постоянную церковно-просветительскую работу в отдаленных православных приходах. Ежегодные съезды Движения собирают множество людей из разных стран Европы.

Кроме церковной работы, РСХД занимается и широкой культурно-просветительской деятельностью, устраивая лекции, выступления поэтов, писателей, ученых. Ежегодно проводятся показы лучших фильмов, театральная группа РСХД готовит постановки русских классических и современных пьес. Женское содружество устраивает благотворительные концерты и организует помощь нуждающимся. С первых же дней существования РСХД приступило и к издательской деятельности, расширявшейся по мере роста организации. С 1925 г. выходит «Вестник РСХД» (на русском, а с 1959 г. и на французском языке) — основной орган Движения, превратившийся за последние десятилетия в один из крупнейших русских журналов. Расширяется и деятельность руководимого Движением издательства «ИМКА-Пресс», ежегодно выпускающего 15-20 книг. Среди названий —

произведения святоотеческой литературы, книги русских религиозных философов, богословов, исторические труды, воспоминания, проза, поэзия.

Одной из главных задач организации является работа с молодежью, воспитание ее в русле православной традиции и русской духовной культуры. Постоянно действует русская школа РСХД. Юношеская дружина Движения устраивает воскресные сборы, поездки за город, экскурсии, лекции, походы в театр и музеи. Ежегодно устраиваются летний и зимний детский и молодежный лагеря, собирающие по 150-180 молодых людей из различных стран Европы и из Америки. Кроме обычных движенческих съездов, где также присутствует молодежь, для нее устраиваются ежегодно и особые «малые» съезды с докладами и широкими дискуссиями. Постоянно работают кружки для молодежи.

Однако, заботясь о православном рассеянии и об укоренении Церкви на Западе, Движение не порывает с Россией, сознавая себя ее частью, хотя и временно отторгнутой от страны. И потому с первых же лет существования одну из главных своих задач организация видела в том, чтобы помогать верующим в Советском Союзе, утолять духовный голод миллионов людей, неся им весь накопленный эмиграцией духовный и культурный опыт. Этой цели служит в большой степени и деятельность издательства, и материалы «Вестника РСХД», большая работа Движения по отправке книг, вещевых и денежных посылок в Советский Союз.

Сегодня такая постоянная работа уже дает всходы: в России ширится процесс духовного раскрепощения, избавления от страха перед режимом, тысячи вчерашних атеистов возвращаются к вере и Церкви. Свидетельством тому — переполненные храмы в Советском Союзе, постоянный рост числа крещений, развитие религиозного самиздата, возникновение религиозно-философских семинаров и журналов. Интерес к религиозным вопросам растет с каждым днем — это видно из десятков писем, разными путями доходящих к нам из России. «Вестник» стал одним из самых популярных журналов в Советском Союзе, его ищут и не только читают по всей стране, но и постоянно шлют в редакцию свои материалы, несмотря на опасность для авторов подобного рода публикаций. За последние 5-10 лет почти половина (а иногда и более) материалов каждого номера (а средний объем журнала составляет 300-350 стр.) написана в Советском Союзе. А большую часть приходящего просто невозможно публиковать из-за недостатка места. Это говорит о популярности идеологии Движения в сегодняшней России, об уважении к нему. Столь же популярно и издательство «ИМКА-Пресс». О его моральном авторитете свидетельствует уже тот факт, что именно ему была доверена публикация самой крупной книги нашего времени —

«Архипелага ГУЛаг» А. И. Солженицына в то время, когда автор еще находился в России. Количество поступающих рукописей растет с каждым годом. Только в 1977 — начале 1978 года среди опубликованных нами книг — 6 пришли из Советского Союза. Это работа Л. Регельсона «Трагедия Русской Церкви», фундаментальное исследование И. Шафаревича о социализме, 1-й том воспоминаний Л. Чуковской об А. Ахматовой, книга стихов Л. Чуковской и два романа — Ю. Домбровского и Александра.

Вся эта деятельность требует упорной ежедневной работы, которая выполняется безвозмездно членами Движения. Единственная оплачиваемая должность в организации — секретарь бюро. Но несмотря на эту жертвенность членов организации, несмотря на членские взносы и самообложение, финансовое положение РСХД становится очень тяжелым. Обусловлено это, прежде всего, тем, что основные виды деятельности Движения убыточны по самой своей природе. Большая часть тиража «Вестника» переправляется в Россию, и поэтому издание журнала дефицитно. Столь же дефицитна и деятельность издательства, поскольку большая часть книг также уходит в Россию, а цены на продаваемые книги «ИМКА-Пресс» старается не поднимать. В связи с недостатком средств издательству приходится отказываться от печатания многих ценных рукописей, как видных деятелей эмиграции, так и рукописей, пришедших из СССР. То же самое относится и к работе по отправке посылок и денег верующим в Советском Союзе, кружка помощи нуждающимся и других видов помощи.

Организация вечеров, концертов, приобретение инвентаря для летнего и зимнего лагерей, работа русской школы и содержание библиотеки РСХД — все эти виды деятельности требуют значительных средств. Кроме того, дом Движения, пришедший в крайне ветхое состояние, требует неотложного ремонта, для чего также необходимы крупные средства, которыми РСХД не располагает, и которые не может получить за счет членских взносов и самообложения.

Такое тяжелое финансовое положение вынуждает нас обратиться ко всей православной общественности.

Мы обращаемся к членам Движения в прошлом и настоящем, где бы они ни проживали!

Мы обращаемся ко всем сочувствующим нашей деятельности и нашим целям!

Мы обращаемся ко всем, кому дорога русская духовная культура!

Мы просим откликнуться на наш призыв о помощи и заранее благодарим за нее. Ваши пожертвования помогут сохранить центр

православной жизни и русской культуры за границей, а главное — дадут возможность Движению продолжать работу, столь необходимую для духовного возрождения России.

Пожертвования можно присылать чеками по адресу: ACER, 91 rue Olivier de Serres, Paris XV, France или переводами на почтовый текущий счет ACER ССР Paris 2441-04.

Председатель РСХД:

Архиепископ Сильвестр

Вице-председатели:

прот. Александр Шмеман

прот. Алексей Князев

Секретарь РСХД во Франции:

Н. А. Струве

Ольга Ивинская



У ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ

Годы
с Борисом Пастернаком

Вспоминая 14 лет, проведенные рядом с Пастернаком, свою полную бедами жизнь, Ольга Ивинская надеется, что выстрадала право рассказать современникам и грядущим поколениям о том Пастернаке, которого она знала.

Гениальный русский ХУДОЖНИК, творения которого мчатся сквозь будущее в вечность, умер, травимый злободневными нуждами, временщиками и бытом, литературными политиками и толпой.

«Я пишу, чтобы уберечь память о поэте от лживых домыслов...» (О. И.)

Франция 1978. 464 стр.

Цена ДМ 32.80

Пересылка за счет заказчика

Требуйте бесплатно наш большой каталог 76/77
и бюллетени №№ 8, 9 и 10



A. Neimanis • Buchvertrieb Gm
b H
8 München 40 • Bauerstr. 28 • Germany



Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На 1 год — 40 н. м.; на 6 месяцев — 20 н. м.

Цена одного номера — 12 н. м.

Пересылка за счет подписчика

Подписка может быть оформлена в генеральном представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb

8000 München 40 · Bauerstrasse 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй странице обложки) или у представителей «Ассоциации друзей «Континента»:

**С Ш А: Вост. побережье — Э. Штейн (E. Sztein),
7 Miles Ave, Woodbridge, Conn. 06525 USA**

**Зап. побережье — В. Соколов (V. Sokolov), University of California, Crown College,
Santa Cruz, Calif. 95064, USA**

Мичиган — О. Политис, 3133 No. Wagner Rd., Ann Arbor, Mich. 48103, USA

**Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»**

**A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany**

депутата британской Палаты Общин, представители всех парламентских партий: лейбористской, консервативной, либеральной, шотландской национальной и объединенной ольстерской — 25 января 1978 года приняли резолюцию **о выдвижении советских Групп-Хельсинки на Нобелевскую Премию Мира.**

«Успехи разрядки, в частности, зависят от того, в какой степени западные страны могут доверять готовности советского правительства осуществлять на практике статьи подписанного им в Хельсинки окончательного меморандума. И вот теперь в Советском Союзе появилась группа людей, которые, серьезно рискуя собой, делают всё от них зависящее, чтобы добиться проведения советским правительством того, что оно обязалось сделать. Успех их начинаний поможет созданию климата, способствующего установлению мира. Я считаю предпринятые ими шаги не только необходимыми, но и мужественными.»

Майкл Стюарт, лейборист, бывший министр иностранных дел

«Как известно, наибольшую огласку получила деятельность московской Группы-Хельсинки во главе с Орловым. Но мы считаем, что при выдвижении на Нобелевскую Премию Мира следует признать усилия всех советских Групп, содействующих выполнению Хельсинкских соглашений, — точно так же, как в последний раз Нобелевская Премия была присуждена организации Эмнесты Интернейшнл, имеющей, как известно, филиалы во многих частях света.»

Джереми Торп, один из лидеров либеральной партии

В резолюции британских парламентариев перечислены все члены Московской, Украинской, Литовской, Грузинской и Армянской групп и Рабочих комиссий по расследованию использования психиатрии в политических целях и по культурным связям — в том числе около двадцати человек, находящихся в следственных тюрьмах, в лагерях или в ссылке.

ВСЛЕД ЗА БРИТАНСКИМИ ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ АНАЛОГИЧНЫЕ РЕЗОЛЮЦИИ ПРИНЯЛИ ЧЛЕНЫ ОБЕИХ ПАЛАТ КОНГРЕССА США, А ТАКЖЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ГРУППЫ НОРВЕГИИ, ГОЛЛАНДИИ И ФРГ.